

ВЛАДИМИР КИСЕЛОВ

ВОПЫ



ДОМЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ

**ВОРЫ
В
ДОМЕ**

●
Роман

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1966

Обложка художника А. Гангалюки

Рисунки художника И. Блиоха

Если увидишь гадину, не раздумывай о том, что отец ее был гадом, а мать — гадиной, что всю жизнь обращались с нею гадко и что вокруг себя она видела преимущественно гадов, а просто раздави ее. Если сможешь...

*С. К. Коваль,
генерал-майор*

Киселев Владимир Леонтьевич

ВОРЫ В ДОМЕ. М., «Молодая гвардия», 1966.
328 с. с илл. Р2

Редактор *С. Митрохина*

Художественный редактор *Г. Позин*

Технический редактор *Л. Коноплева*

А 15015. Подп. к печ. 10/VI 1966 г. Бум. 60×90^{1/16}.
Печ. л. 20,5 (20,5). Уч.-изд. л. 18,2. Тираж 65 000 экз.
Заказ 2311. Цена 69 коп. Т. П. 1966 г., № 233.

Типография издательства «Уральский рабочий»,
Свердловск, проспект Ленина, 49.

Глава первая, которая могла бы служить прологом к этой занимательной книге

Они поилились именем бога — самой
страшной иллатвой, что тот, кто однажды
умер, уже не воскреснет более.

Коран, XVI сура, 40 ст.

За окном падал желтый снег.

«Как акрихин, которым доктор пичкает нас для профилак-
тики», — подумал поручик Дембицкий и оглянулся на полко-
вого врача.

На плохом французском языке доктор говорил графу Глу-
ховскому:

— ...Литва... э... отчизна моя... Адама Мицкевича... Миц-
кевич там родился... Понимаете?

— Так, — отвечал спокойно граф.

— Ты, э... как здоровье. Только тот тебя... э... ценит, кто
тебя потерял... Понимаете? Только тот, кто ее потерял, ее ценит.

Полковой врач окончательно запутался во французском
языке, где в отличие от польского и родина и здоровье жен-
ского рода.

Поручик тихонько хмыкнул: ай да доктор — и внимательно
посмотрел на Глуховского.

Граф невозмутимо разбирал никелированную бензиновую
печку. Ею обогревали палатку. Части он протирал тряпкой и
складывал на газету, расстеленную на койке поверх вер-
блюжьего одеяла.

— Холодно, — сказал доктор. Он мечтательно вздохнул,
подергал себя за усы и продолжал: — Литва, Литва. Я тоже
родом из Литвы.

Снова вздохнул, на этот раз сочувственно, и спросил:

— Ваши предки владели там, кажется, большими имени-
ями?

— Так, — равнодушно ответил граф.

При свете, проникавшем в палатку сквозь желтые целлу-
лоидные окна, лицо его казалось болезненным, утомленным.

Дембицкий снова повернулся к окну. «Только тот тобою
дорожит, кто тебя потерял», — хмыкнул он про себя. Ну и док-
тор! Графу нечего терять. По-польски он знает только «проше
пана». Родился и вырос в Англии. Туда переехали его предки

еще в 1749 году. Поссорились с королем Августом Третьим, продали имения и бежали. Граф служил в английской армии, дослужился до подполковника и вдруг перешел в Войско Польское. Патриот — черт бы его взял. Знаем мы, что за патриот. Просто негласный наблюдатель. Недаром целыми днями сидит в штабе, ничего не делает — ногти чистит.

Палатка стояла недалеко от склада — за окном прошел часовой в короткой английской шинели, в английском плоском, как тарелка, стальном шлеме, с английской винтовкой. «Недаром перешел к нам из английской армии граф Глуховский», — поморщился поручик.

Офицеры старались познакомиться с графом поближе. Но это никому не удавалось — на все вопросы он обыкновенно отвечал: «да», «нет». Только с Дембицким изредка разговаривал — поручик хорошо изъяснялся по-французски. Однажды граф предложил ему прогуляться. Шли не спеша. Граф, на этот раз необыкновенно словоохотливый, рассказывал, что неподалеку от азиатского городка, где стоит сейчас их часть, родился великий завоеватель древности — Тамерлан. Здесь сохранились даже остатки Ак-Сарая — дворца Тамерлана.

— О Тамерлане, как его называют на Западе, — сказал граф Глуховский, — или Тимур Ленге, хромом Тимуре, сохранилась странная легенда. Рассказывают, что этот человек, совершивший столько завоеваний, кровопролитий и зверств, сидел однажды в своем шатре. И вдруг заметил на кошке муравья. Тимур взял в руки палочку и протянул ее муравью так, что тот взобрался на конец. Он дождался, пока муравей достигнет конца палочки, а затем перевернул ее. Муравей снова полез вверх. Снова и снова Тимур переворачивал свою палочку, и снова и снова карабкался по ней муравей. В легенде спрашивается: у кого же было больше терпения — у муравья или у Тимура?

Они направились к развалинам дворца Тамерлана. Голубые, как небо, невиданной красоты изразцы кое-где выпали из облицовки высокой башни. Глуховский извлек из грязного снега обломок изразца и стал обтирать его своим тонким дорогим платком, разглядывая узор.

— Что вы делаете, граф? — удивился Дембицкий.

— Я коллекционер, — ответил Глуховский сухо. И добавил: — Впрочем, сейчас это и в самом деле не нужно. — Он бросил в снег изразец, а за ним и грязный скомканный платок.

За целлулоидным окном проехал всадник на маленьком ослике. В такт шагу животного он размахивал остроносыми

калошами, обутыми на босу ногу. За ним прошел старик в чалме, полосатом халате и удивительных, огромных деревянных калошах на трех каблуках — два спереди и один сзади.

— Скажите, граф, — повернулся Дембицкий к Глуховскому, — а во времена Тамерлана тут тоже носили деревянные калоши?

— Не знаю, — холодно ответил Глуховский. — Как вы, вероятно, могли догадаться, в те времена я тут не бывал.

Поручик стиснул зубы, преодолевая желание спросить: а ослы бывали и в те времена?

— Извините, граф, — сказал он. — Просто вы так занимательно рассказывали об Азии...

Он сел на койку, достал из-под подушки зачитанный томик французского романа. Граф собрал бензиновую печку, разжег ее и протянул руки к невидимому пламени.

За брезентовой двойной стеной шумел ветер. Он донес в палатку мерные, глухие удары барабана. Дембицкий переглянулся с доктором, положил раскрытую книгу на подушку. Далекий военный оркестр играл траурный марш.

— Снова кого-то хоронят, — с тоской сказал поручик. — Почему у нас так много смертей? Почему?

Это было в самом деле совершенно непонятно. Армия Андерса, сплошь состоявшая из здоровых, сытых людей, зимой с 1941 на 1942 год прибыла в Среднюю Азию, готовясь отправиться дальше, в Афганистан, в сторону, прямо противоположную той, откуда наступали немецкие полчища. Польские солдаты были отлично обмундированы, получали прекрасную пищу: рис, консервы, шоколад — все английское или американское, все на доллары или на фунты стерлингов. Зима выдалась холодная, и климат почти не отличался от того, к какому солдаты привыкли у себя на родине.

И все же каждую неделю похоронная процессия. Так было в Шахрисябзе и в соседних городках, где стояли части армии. На шахрисябзском кладбище выделили специальный участок для польских солдат. И количество крестов там все росло и росло. А рядом, там, где хоронило своих покойников местное население, могил почти не прибавлялось. Это была военная зима — люди жили впроголодь, много работали, а одежда — вот: ходят в калошах на босу ногу.

— В чем же дело, доктор?

Доктор молчал. Вчера умерли сразу два солдата. Сегодня утром он присутствовал при вскрытии. У одного — язва желудка. Второй — атлет двухметрового роста — не справился с пневмонией.

— Ностальгия, поручик,— сказал он наконец.— Слышали о такой болезни? Тоска по родине.

— Но ведь это, простите, несерьезно.

— Нет, поручик, очень серьезно,— сумрачно возразил доктор.— Люди оторваны от всего, что им дорого. И лишены возможности сражаться за это. При таком моральном состоянии достаточно гриппа...

И мрачно пошутил:

— Не болейте, поручик. Мне совсем не хочется вас вскрывать.

Поручик вдруг поежился, передернул плечами — бррр... И с удивительно приятной, располагающей улыбкой, сразу придавшей его красивому молодому лицу выражение мальчишки, готовящегося напроказить, спросил:

— Нет ли у вас и сегодня спирта, доктор?

— Спирта нет.

Доктор достал вместительную флягу и самодовольно потряс ею.

— Сегодня — ром. Первого класса! Не выпьете ли вы с нами? — доброжелательно спросил он графа, уткнувшегося носом в подушку.

— Благодарю вас. Но я не пью спиртного,— сухо отказался Глуховский. Он даже не поднял головы.

Когда на следующий день поздно вечером Дембицкий вернулся в палатку, в ярком химическом свете карбидной лампы он увидел, что доктор сидит на своей койке, сложив по-турецки ноги в толстых шерстяных носках, на голове — вязаный колпак с кисточкой, перед ним фляга и закуска на газете, а койка Глуховского пуста.

— Прошу к столу,— обрадовался доктор.— Вернее, на койку. Не умею пить один.

Он уже был пьян, лицо покраснелось, покрылось испариной, шея выпирала из воротника мундира.

— Спасибо,— искренне обрадовался поручик.— А где наш граф?

Полковой врач нахмурился, поднял палец.

— Граф болен. Он в лазарете.

— Что же с ним?

— Грипп.

...— Граф Глуховский умер,— сказал доктор просто.

Это было буквально на второй день. Дембицкий непослушными пальцами снял фуражку.

— Еще вчера... Еще позавчера он был здоров, как мы с вами... И умер...

— Все мы так,— мягко прервал его доктор.— Выпьем, мой друг. И не будем говорить об этом.

— Но скажите — почему? Чем он был болен?

— Ностальгия, поручик!

— Какая ностальгия? По какой родине он мог тосковать? Ведь он никогда не был в Польше. Даже родился в Англии.

— Значит, по Англии.

На похороны графа Глуховского приехал сам генерал Витецкий — длинный, тощий, злой, в очках с толстой золотой оправой, с неизменной сигарой в зубах, одетый в непомерно короткую шинель, из-под которой выглядывали штаны с широчайшими — в полштанины — генеральскими лампасами.

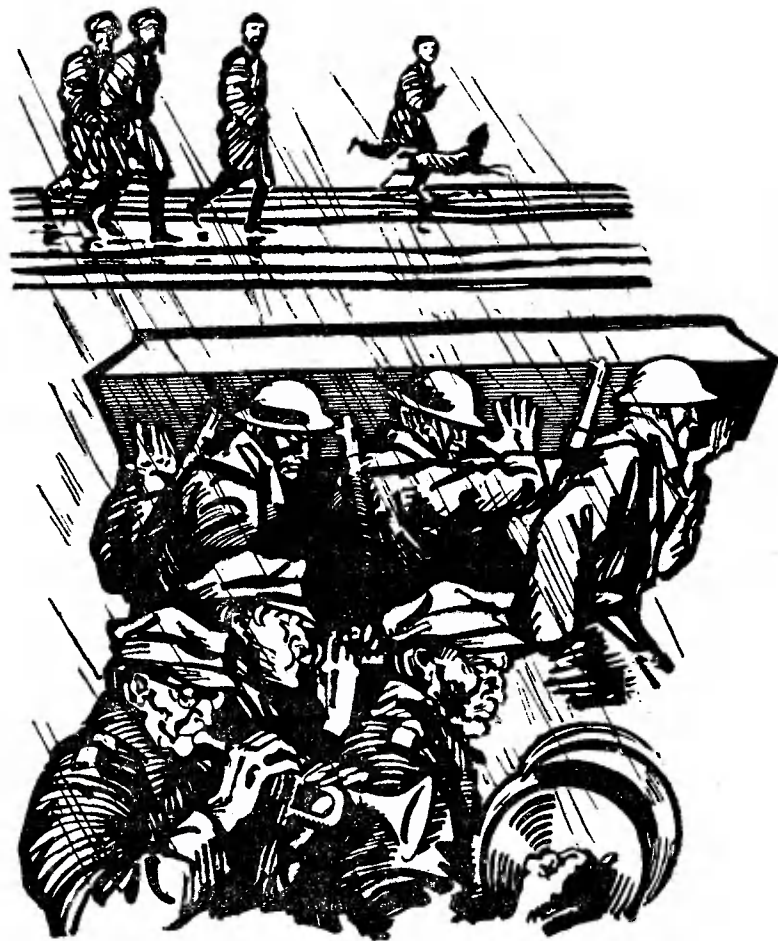
До начала похорон генерал сумел привести офицеров в соответствующее настроение: за час он нашел столько недостатков, что на исправление их потребовался бы по крайней мере десяток лет; объявил командирам рот, что их место в обозе, интендантским офицерам — что их давно пора судить, штабных офицеров обругал за отсутствие выправки, и все это скрипучим, отвратительным голосом. Наконец, он отправил под арест обоих часовых у штаба: один не вовремя отдал ему честь, второй был одет не по форме.

Как назло, к началу похорон снег сменился холодным мелким дождем, гроб вынесли закрытый, офицеры шли за ним мокрые, продрогшие и усталые.

Полковой ксендз, укрыв свои фиолетовые петлички с тремя звездочками кружевным белым облачением, шел впереди. В руках он держал раскрытый молитвенник в синем кожаном переплете и, не глядя в него, читал по-латыни молитву.

Эскорт вооруженных солдат старался идти в ногу, но по такой грязи это было трудно: солдаты скользили, сбивались, а один даже упал, сразу нарушив чинность процессии.

И все же, несмотря на отвратительную погоду, среди местного населения нашлось немало охотников посмотреть на похороны. Меся грязь ногами в остроносых калошах, шли какие-то древние старухи с черными сетками на лицах, мужчины в чалмах и ватных халатах, обутые в желтые сапоги на высоких каблуках. Какой-то седобородый старик ехал навстречу верхом на осле. Он остановился, чтобы пропустить похоронную процессию, перекинулся несколькими словами с кем-то из знакомых и тоже поехал следом.



Молодой человек в тюбетейке, небрежно обвязанной желтым грязным платком, надвинутым на самые брови, в черном поношенном халате, подпоясанном таким же, как на голове, желтым платком, в начищенных сапогах, шел сбоку, тщательно выбирая место, куда бы поставить ногу, чтобы не запачкать обуви.

На кладбище солдаты плотным каре выстроились вокруг места погребения. Зрители толпились за ними, выбирая места повыше.

— Прочь, прочь! — кричали на зрителей капралы, но люди не уходили. Они внимательно наблюдали за церемонией. Только когда гроб опустили в могилу, засыпали землей и, к восторгу мальчишек и ужасу старух, дали трехкратный залп, когда генерал Витгецкий четким движением поднял очки на лоб и поднес сперва к одному, а потом к другому глазу сложенный платок, зрители стали группками расходиться.

Молодой таджик в черном халате, все так же медленно переступая, оберегая сапоги от грязи, пошел прочь от кладбища. Но как только он поравнялся с высоким глинобитным забором, отделявшим большой персиковый сад от улицы, ведущей к окраине города, походка его изменилась. Он оглянулся по сторонам и бодро зашлепал по грязи, словно забыв о начищенных сапогах.

Путь его лежал по окраинной узенькой улочке, извилистой и неровной, уводящей местами в неожиданные проулки и тупички. Вся она состояла из глинобитного серого забора и серых слепых стен редких домов. Это были дома старой постройки — окнами внутрь дворов.

Серый, дождливый день мгновенно, без всякого перехода, как это бывает в местностях, окруженных горами, переступил в ночь.

Молодой человек оглянулся и открыл старую деревянную калитку в заборе. По вымощенной кирпичом дорожке он прошел к небольшому одноэтажному зданию, сложенному из красного кирпича.

За дверью в широком коридоре сидел у столика с телефоном дежурный — пожилой, хмурый солдат. Когда вошел молодой человек, он встал.

— Майор Коваль у себя? — спросил вошедший.

— Так точно. — Солдат понимающе усмехнулся. — Вас ждет.

Человек в халате стал тщательно вытирать ноги о резиновый половичок, затем, убедившись, что только размазывает грязь, нетерпеливо махнул рукой и вошел в кабинет.

За широким столом сидел майор Коваль — мрачный человек с некрасивым, незначительным лицом, обыденность которого подчеркивалась взглядом маленьких, невыразительных глаз свинцового, неясного цвета. Скромную обстановку кабинета составляли два стола, стулья, приземистый сейф, у стены — широкий шкаф, обитый железом, окрашенный почему-то в красный, как на пожарных автомобилях, цвет.

— Товарищ майор, — сказал молодой человек, — все правильно. В гроб положили другого человека. Туда положили солдата. Подполковник остался живой.

Он плохо говорил по-русски и особенно старательно выговаривал каждое слово.

— Где же он? — сипло откашливаясь, спросил майор.

— Он в школе. В госпитале, где была школа. Где я учился. Я там знаю все. Я залез под крышу, а потом вниз и все видел. Потом ходил на кладбище и делал фото. Только было темно — не знаю, как вышло... На похороны приехал польский генерал. Я его тоже снял — возле гроба. Я думаю, это он начальник «двуйки». А у госпиталя остался Садыков.

Мрачное лицо майора немного посветлело.

— Хорошо, очень хорошо! — Коваль помолчал и уже сдержанней добавил: — А сейчас, товарищ младший лейтенант, проявите пленку, сделайте отпечатки и составьте подробное донесение. Вам поможет лейтенант Ведин.

— Слушаюсь!

Шарипов повернулся так, что разлетелись полы халата и во все стороны брызнула грязь с сапог.

Лейтенант Ведин, непосредственный начальник младшего лейтенанта Шарипова, был на два года старше подчиненного, на полголовы выше ростом и казался Шарипову тем идеальным человеком, которому можно подражать, но совершенства которого для человечества на его современном уровне недосягаемы.

Смущенно улыбаясь, Давлят Шарипов сказал своему начальнику, что майор просил помочь составить донесение. Давлят стеснялся, что из-за плохого знания языка он доставляет Василию Ведину много лишних хлопот.

Они вошли в лабораторию — маленькую комнатку без окон — и взялись за проявление пленки. Снимки получились плохие — Шарипов не дал необходимой выдержки, и им пришлось порядочно повозиться, пока были получены первые отпечатки.

Майор Коваль долго рассматривал снимки. Шарипову показалось, что ему не хотелось выпускать их из цепких

сильных пальцев с кривыми, уродливыми, коротко остриженными ногтями.

— Теперь не уйдет,— сказал он Ведину.— Что ж, положите туда же, в дело.

Ведин открыл дверцу красного шкафа, выдвинул один из ящиков и извлек оттуда толстую папку с бумагами, а также стеклянный сосуд, где лежал скомканный грязный платок и обломок голубого изразца.

Четыре дня и четыре ночи оперативные работники отдела вели наблюдение за госпиталем. Но подполковник Глуховский словно сквозь землю провалился. В госпиталь приходили и уходили разные люди, но никого похожего на графа среди них не было.

«Он ушел в первый день»,— решил Коваль и вызвал Ведина, Шарипова и Садыкова. Лейтенант Садыков — новый сотрудник отдела — только недавно прибыл из специальной школы.

— Так вы говорите, что в ваше первое дежурство из госпиталя не вышел ни один человек? — спросил у него Коваль.

— Так. Только военный врач. И еще старик, один из тех, что привозят в госпиталь дрова. Из местных людей.

— Вы его знаете?

— Нет, но это местный человек.

— Откуда это вам известно?

— Он подошел к ишаку, на котором приехал, и выругался по-таджикски.

— Вы видели, как он приехал?

— Нет.

Майор долго молчал. А затем сказал тихо, спокойно:

— Вы разведчик... Какое дело испоганили...

Скуластое, худощавое лицо Садыкова приняло то мучительное выражение, какое бывает у людей только в минуту большого несчастья.

— Не может быть, товарищ майор! — сказал он.

— Что «не может быть»? Что вы понимаете? Вы знаете, сколько времени придется потратить, пока опять нащупаем? — Коваль помолчал, улыбнулся. — А вам советую подать рапорт о переводе в другую часть. Ну, в интендантство.

Шарипову казалось, что каждое слово майора Ковалья направлено против него. Он-то знал, кто действительно виновен в том, что граф Глуховский смог скрыться.

«Нужно сказать,— подумал Шарипов.— Нет. Не смогу...»

Он взглянул на пришибленного Садыкова и, плотно сжав свои маленькие, бантиком губы, отвернулся к окну.

За окном падал белый пушистый снег.

Глава вторая, в которой коня нашли за километр от таинственного всадника

И не погибнет от обиды обиженный,
И не вечная жизнь суждена обидчику.

Аль-Мутанабби

3 марта 1961 года все эти люди собрались на маленькой станции Кипчак. Женщины в сырых, тяжелых брезентовых плащах, с бидонами и корзинами. Таджики в намокших ватных халатах.

Светало.

Тусклые лампочки под плоскими эмалированными абажурами светили серо, мутно. Дверь время от времени хлопала, взвизгивая растянутой, намученной пружиной, и тогда в помещение доносился сырой шепот дождя.

На станции пахло мокрой одеждой. Было сыро, душно и холодно.

«Шарипов,— думал Аксенов.— Майор Шарипов. С его маленькими, бантиком губками. С неестественно правильной русской речью. Такой, как у дикторов московского радио. Всегда в гражданском костюме. С золотой звездочкой над карманом. И с ним Ольга. А я здесь».

Аксенов поехал, вынул влажные папиросы, размял табак пальцами и закурил.

«Но почему так бывает? — думал он.— Ведь все всегда знали, что я и Оля... Что я и Оля не можем друг без друга. Еще в шестом, да нет, в пятом или в четвертом классе, когда этот дурак Севка всегда писал на доске Боря+Оля. Пока я ему не набил морду. И в восьмом, и в девятом, и в десятом. И учителя и родители — все. Ведь она меня любила... А потом приходит такой Шарипов, которого она никогда не знала и не знает, какой он человек, и они знакомятся, и все. И Ольга с ним. А я здесь».

Все было плохо: и этот дождь, и эта станция с густо покрытым дорожной грязью деревянным полом, и это задание, бесполезное и безнадежное...

Уехать бы! Так жить нельзя. Нельзя работать в одном управлении с Шариповым. И видеть каждый день его маленькие, бантиком губы. И жить в городе, где живет Оля, и останавливаться у киоска, где они всегда пили с ней воду, и проходить мимо ворот парка, куда они всегда вместе ходили,

и проезжать в автобусе мимо парадного, в котором он ее впервые поцеловал...

Он хотел уехать. Он подавал в академню. И провалился на экзамене.

Было холодно, и хотелось спать.

Он ее уговорил, этот майор Шарипов. С его бархатным голосом и правильным, как у артистов московских театров, языком, с его звездочкой Героя. Где уж с ним тягаться лейтенанту Аксенову? Но неужели она не понимает, что никто не полюбит ее так, как он, лейтенант Аксенов?

Когда он получил это задание, ему казалось, что вот он уедет хоть на эти несколько дней и ему станет легче. Легче не стало. Он все время думал об Ольге. И о Шарипове.

Может быть, он меньше думал бы о них, если б задание не было таким бессмысленным. В горах, возле Савсора, какой-то таджик вздумал переехать вброд горную речушку Мухр, что по-таджикски обозначало «печать». Летом через нее мог легко перейти ребенок. Но сейчас непрерывно шли дожди. Мухр разлилась и расвиrepела. На берегу все время были слышны гулкие удары, словно кто-то бил под водой чем-то большим и тяжелым. Это стучали друг о друга валуны, которые Мухр катила под водой.

Ударил ли такой валун, поскользнулся ли конь, закружилась ли голова у всадника... Но и всадника и коня потащила густая коричневая весенняя вода, разбила о камни и выбросила, может быть, в ста метрах, а может, и в сорока километрах от того места, где они так неудачно пытались ее преодолеть. Коня нашли более чем за километр от человека. Его прибило к берегу на излучине, и он застрял между скал.

Обычный случай, которым по всем статьям должна была бы заниматься местная милиция. У покойника не оказалось документов, по которым можно было бы установить его личность, и в этом тоже не было ничего необычного. Но когда местных колхозников стали опрашивать, не знают ли они этого человека и не видали ли, как он переправлялся через речку, кто-то сказал, что человек этот афганец, так как такие халаты с цветными кисточками на полах и воротнике делают только в кишлаке Чахарбаги.

Больше ничего установить не удалось. Но так как начальник их управления генерал-майор Коваль в эти дни почему-то с особенным вниманием относился ко всем случаям, выходящим из ряда обычных, лейтенант Аксенов был направлен на

место происшествия в помощь тамошнему отделению милиции.

Нет, он, Аксенов, не был плохим или недобросовестным работником. Он сделал все необходимое. Он присутствовал при вскрытии, которое не оставило никаких сомнений в том, что человек этот лет тридцати пяти — сорока, перенесший туберкулез легких, левша, земледelec, действительно погиб оттого, что сначала захлебнулся, а затем разбился о камни.

Опрос местного населения показал, что такие халаты действительно шьют только в афганском кишлаке Чахарбаги. Но могло случиться и так, что халат этот куплен на каком-нибудь из базаров по нашу сторону границы. Что еще можно было узнать? Оставалось только дожидаться, пока из какого-либо колхоза не сообщат о том, что у них пропал человек, и затем по вещам покойника установить его личность.

Это не первое задание такого рода у Аксенова. И не последнее. Когда-то он, выезжая в командировку, каждый раз представлял себе, что при осмотре одежды в стельке поношенного сапога он найдет крошечную ампулу с микроснимками или после вскрытия человека, умершего от инфаркта, в желудке обнаружат яд. Сейчас он уже не фантазировал и не ожидал от своих командировок никаких неожиданностей. Как всегда. Служба как служба.

Серый, мутный рассвет неохотно вошел сквозь серые, мутные окна в помещение станции. Недалеко от Аксенова на жесткой и тяжелой станционной скамье сидели седобородый таджик в белом нарядном шерстяном чекмене поверх ватного халата и молодой человек в ватнике и черной с белым узором шелковой ферганской тюбетейке, обмотанной расшитым платком. Они негромко разговаривали.

— Скажи, мулло,— говорил молодой человек,— почему так получается?.. Ведь я любил ее... Ведь она знала и все знала, что я без нее не могу. А она ушла к Кариму, который старше ее и у которого уже была жена и были дети, и который оставил их и, быть может, точно так же оставит и ее...

Аксенов взглянул на соседей и снова прикрыл глаза. Они не обращали на него внимания. Они говорили по-таджикски, а он, Аксенов, с русым чубом, выглядывавшим из-под фуражки, и в сером военном плаще без погон мало походил на человека, знающего таджикский язык.

— Вот ты старый человек,— продолжал парень в тюбетейке,— много знаешь и много видел. Скажи, как мне быть? Что мне делать?

«Значит, это мулла», — подумал Аксенов. Он слегка наклонился вперед, ожидая ответа старика.

— Обыкновенно мужчина любит сперва одну, потом другую, а потом третью женщину, и за жизнь человеку случается любить много раз, — медленно и тихо сказал мулло. — И каждый раз ему кажется, что женщина, какую он любит сейчас, это и есть та единственная, та неповторимая, без которой нельзя ни жить, ни дышать. Правда, бывают, очень редко, но бывают случаи, когда человек полюбил навсегда. Как это было с Фархадом и Ширин. Но это большое несчастье. Это огромная радость, но и огромное горе, и случается оно в жизни не часто. И ин ша алла — если аллах соизволит — ты не окажешься несчастным Фархадом, а полюбишь другую девушку, с которой будешь счастлив.

— Но почему она полюбила Карима? Разве он лучше меня? Разве я хуже его?

— Любят не потому, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Любят потому, что любят. И нет этому никаких объяснений и никаких оправданий, как нет никакого объяснения, почему зерна в гранате красивы и прозрачны, как драгоценные камни, и имеют такую искусную форму, словно сделаны рукой лучшего в мире гранильщика. Так устроены зерна, так устроены люди, так устроен мир.

— Ты мудрый человек, мулло. Но правда, которой так много в твоих словах, не утешает. Я понимаю, спрашивать об этом бессмысленно... Но посоветуй, что делать мне? Как быть? Я ни о чем, кроме нее, не могу думать. Как мне жить дальше?

— Горек человеческий опыт, и трудными путями приходит он к людям. И мудрый человек отличается от глупого только тем, что мудрый учится на чужих ошибках, а глупый не способен исправить даже собственную. Людям известно только одно лекарство от любви. Работа. Нужно работать. Много работать. А ты совсем забросил свою бригаду и не готовишься к севу, а едешь взад и вперед и проводишь без цели и без пользы свое время...

Люди на станции задвигались, кто-то отворил двери, донося шум приближающегося поезда, седобородый таджик и его молодой собеседник направились к выходу, а за ними и Аксенов.

«Неужели это мулла? — думал он. — Очевидно, мне послышалось. Очевидно, он сказал «домулло», а так иногда по старинке называют уважаемого и ученого человека».

Усаживаясь на скамейке в вагоне душного рабочего поез-

да, Аксенов думал: «Хорошо ему говорить — работать. Может быть, и я, если бы взял в руки кетмень да помахал бы им как следует, смог бы не думать об Ольге. Но когда ведешь безнадежное расследование и понимаешь, что оно не даст никаких результатов и что это дело точно так же, а может быть, лучше, сделали бы без тебя, — такая работа не поможет».

За окном медленно плыли коричневые размокшие поля с серыми и мокрыми стеблями прошлогоднего хлопка.

Глава третья, в которой герои огражаются в присутствии дам своего сердца

Никакие силы не могут разорвать или раздробить цепь причин, и природа побеждается только подчинением ей. Итак, два человеческих стремления — к знанию и могуществу — поистине совпадают в одном и том же, и неудача в практике более всего происходит от незнания причин.

Ф. Бэкон

Кремовый полированный шар с серой двузначной цифрой медленно, нехотя подкатился к углу и сполз в лузу, и лишь после этого задвигались замершие, затаившие дыхание люди вокруг большого зеленого стола. Шарипов перешел к короткому борту, отыскал глазами Ольгу и отыграл «свой» шар к дальнему углу, а Ведин обошел стол и начал тщательно мелить наклейку на конце своего кия.

По воскресеньям в два часа дня в этой бильярдной Дома офицеров настоящие знатоки бильярдной игры оставляли свои кии новичкам и «пижонам» и собирались у крайнего стола, где в это время обыкновенно играли мастера экстра-класса — майоры Шарипов и Ведин.

Сегодня Шарипов впервые пригласил в бильярдную Ольгу, а Ведин пришел со своей женой Зиной, и не в этом ли, безотчетно отметил про себя Шарипов, крылась причина того, что игра на этот раз «приняла особенно острый и напряженный характер», как выражались в таких случаях футбольные комментаторы. Он улыбнулся и снова оглянулся на Ольгу, которой что-то горячо объяснял неизвестный Шарипову высокий худой подполковник с невероятно длинными, чуть ли не до колен руками и тонким строгим лицом, и сейчас же повернулся к столу и, не целясь, отыграл «свой» шар к ближнему короткому борту.

Ольге была непонятна и эта игра, и почему все вокруг нее так заинтересованы в ней, и почему незнакомый подполковник, приятно картавя, требует от нее:

— Вы только вдумайтесь, какой удар! Какой удар!

Почти все, кто стоял у стен вокруг бильярдного стола, были в военной форме, и Ольга неожиданно для себя спросила у подполковника:

— Люди, которые играют в бильярд, должно быть, хорошо стреляют?

— Не знаю, — удивился подполковник. — Я никогда не думал с этой точки зрения об игроках на бильярде... Нет, эта игра интересна скорее своим психологическим характером.

— То есть как? — не поняла Ольга.

— А вот вы присмотритесь к тому, как играют эти два человека. У майора Шарипова, у того, который сейчас сделал удар, шар едва катится по сукну. Он как бы подкрадывается к лузе. У Ведина удары сильные, четкие, когда шар, как ядро, летит над сукном и врывается в лузу с грохотом. Шарипов почти совсем не целится и предпочитает шары на близкой дистанции. Ведин целится долго, старательно и особенно охотно бьет дальние шары. Шарипов, как все стратеги бильярдной игры, особенно хорошо владеет «своим» шаром, а Ведин скорее тактик. Он меньше следит за «своим» и точнее отыгрывает «чужие».

— Но кто же из них играет лучше? — не утерпела Ольга.

— Трудно сказать, — улыбнулся подполковник. — Оба они игроки, каких мало. Но выигрывает чаще Шарипов.

— Но ведь шары... — сказала Ольга. — Они ведь катятся... И может шар случайно остановиться в каком-нибудь месте или скатиться в этот мешочек?

— Нет, — искренне рассмеялся подполковник. — В этом деле случайностей не бывает.

«Случайностей не бывает», — повторила про себя Ольга и посмотрела на Шарипова. Невысокий, стройный, темноволосый, с завернутыми рукавами пиджака из светло-серой шерсти, с темным галстуком, туго стягивающим белый крахмальный воротничок сорочки, он был сейчас в центре внимания всех людей, собравшихся в этом большом зале.

Какое счастье все-таки, что жизнь полна прекрасных случайностей!

Ольга вспомнила, как три года назад в театре, в антракте ее познакомили с Шариповым, как он говорил о спектакле и она приняла его за артиста, как необыкновенно серьезно он сказал, что очень рад познакомиться, и с неясным сожалением неожиданно сообщил, что утром уезжает. Надолго. Затем она еще увидела его у выхода из театра, но ее подхватили подруги, она оглянулась и негромко сказала: «Счастливого пути!» И вот неделю, нет, восемь дней назад, в субботу, в автобусе она увидела Шарипова. Он стоял рядом с ней, но не замечал ее, а она не решалась к нему обратиться, хотя ей очень хотелось. Нужно было выходить, и она пошла к выходу.



И вдруг решилась на отчаянный шаг. Она выпустила из рук свою сумочку, сумочка упала, выкатилось круглое зеркальце, но сумочку и зеркальце поднял не Шарипов, а какой-то пожилой, толстый, но расторопный человек, автобус остановился, и Ольга, не оглядываясь, вышла. А затем вечером этот случай, который мог привести к такому несчастью и завершился так удачно.

— «Пятерку» дуплет в середину, — негромко объявил Шарипов и извинился перед Зиной — она стояла так близко к столу, что мешала размахнуться. Он не сильно, но резко ударил так, что «свой» шар остался на месте, а пятый, оттолкнувшись от противоположного бортика, возвратился почти туда же, где стоял прежде.

— Промазал, — сказала Зина. — Уж хоть бы скорей кончали.

Он снова подумал о том, что Зина совсем не пара Ведину, что она вульгарна и некрасива, что слишком громко разговаривает, покрикивает на Ведину и что, если бы он не знал так хорошо своего друга и начальника, то подумал бы, что в жизни Ведина имелись какие-то обстоятельства, не известные всем, но известные Зине, и что обстоятельства эти настолько компрометирующие, что Ведин вынужден во всем потакать Зине и все терпеть, лишь бы она молчала. И снова порадовал-



ся тому, что с ним Оля. Первый раз в жизни он воспользовался своим профессиональным умением с личной целью. И как хорошо, что он это сделал!

— «Седьмого» в левый угол, — сказал он с той особенной интонацией, какая бывает лишь тогда, когда чувствуешь, что положишь шар, вынул «седьмого» из лузы и прижал «свой» шар к короткому борту.

Очень хорошо! Он не знал ее фамилии. Не знал, где живет. И вдруг встретил в автобусе. Она уронила сумку, но он не успел поднять. И не решился выйти за ней из автобуса. Он вышел на следующей остановке. Вскочил в такси. Догнал. Пошел вслед за ней. Дежурил у медицинского института до тех пор, пока она снова не вышла. Затем добрых три часа стоял у ее дома — он не знал еще тогда, что это ее дом, и не хотел уходить до тех пор, пока не убедится. Затем пошел вслед за ней к центру. Он уже догонял ее. Как ему хотелось заговорить с ней! Но не решился. И вдруг, когда она сошла с тротуара на мостовую, он увидел, что из-за автобуса, подъехавшего к краю тротуара, выскочил «Москвич», который может задеть ее. Он бросился вслед и оттолкнул Ольгу. Взвизгнули тормоза, и из «Москвича» послышались весьма нелестные соображения об умственных способностях Ольги, а заодно и Шарипова.

— Какая неожиданная встреча! — сказал он Ольге. Они ходили по городу до позднего вечера. В ту субботу весь день у него во рту не было и крошки. Затем они встретились в воскресенье, в понедельник, во вторник и среду. Все было хорошо. Вот только Аксенов...

Пушечным ударом Ведин направил в угол «четырнадцатого». Вокруг заплодировали. Теперь партия будет решаться в последнем шаре.

Да, придется поговорить с Аксеновым. Прямо и честно. Ольга сделала выбор.

«Шестерка», которая решала партию, после его удара медленно подкатилась почти к центру стола. Он прищурился. Если Ведин забьет, Шарипов проиграл.

Все затаили дыхание. Ведин намелил наклейку, положил левую руку на борт и указательным пальцем — «кольчиком» обхватил конец кия.

— Товарищ майор, — раздался за его спиной голос служителя, — вас к телефону. Срочно.

Ведин положил кий поперек бильярда, пробормотал: «Извините, удар за мной» — и поспешил вслед за служителем на второй этаж, где был телефон. По привычке, оставшейся еще с времен войны, он подул в трубку.

— Майор Ведин? — спросила трубка в ответ.

— Я вас слушаю.

— С кем вы говорите? — снова спросила трубка.

— Степан Кириллович, — сказал Ведин.

— Хорошо. Приезжайте немедленно. С Шариповым.

И после короткой паузы, тише: — Вору в доме.

Ведин быстро спустился вниз, подошел к Шарипову, шепнул:

— Вору в доме. Поехали. Зина, я тебе позвоню, — сказал он, обращаясь к жене, и направился к выходу.

— Извините, Оля, — сказал Шарипов, — но так сложились обстоятельства, что я вынужден вас покинуть... И даже не смогу проводить. Не сердитесь на меня. Я вас постараюсь вскоре увидеть.

Он быстро пошел вслед за Вединым, но, когда проходил мимо стола, поднял положенный поперек кий, не целясь, ударил и продолжал путь. Когда он уже открыл дверь, кремовый полированный шар медленно, нехотя подкатился к углу и сполз в лузу.

Глава четвертая, в которой за окнами раздается леденящий душу крик

Видите, читатель, как я предупредителен: от меня одного зависело стегнуть лошадей, тащивших задрапированную черным колымагу...

Д. Дидро

Профессор Ноздрин сложил письмо и посмотрел на Володю с любопытством и удивлением.

— Очень рад, — повторил он, на этот раз значительно сердечнее. — Никогда бы не подумал, что у Владимира Никитича такой рослый сын. — Он подошел почти вплотную к Володе и, чтобы видеть его лицо, отбросил голову назад. — Вы ужинали?

— Да, — нерешительно ответил Володя. — То есть скорее нет. Я пил чай. В поезде...

— Мы сейчас поужинаем, затем поедем в гостиницу и заберем ваши пожитки. Жить вы будете у нас. Это категорически... — И, не давая возразить, перебил сам себя: — Неужели вы подумали, что я могу оставить в гостинице сына моего старого друга — академика Неслюдова.

Как всегда в минуты нерешительности, Володя поправил очки и надул щеки.

Сын академика Неслюдова. Сын академика Неслюдова. Это имя преследовало его всю жизнь: в школе, в университете, а может быть, еще и в детском саду. Когда-то, на первом курсе университета, он очень слабо ответил на экзамене по античной литературе, и ему все-таки поставили четверку. «Еще бы, сын академика Неслюдова», — сказал кто-то из товарищей. Он был готов тогда переменить фамилию. Он никогда не пользовался машиной отца. Никогда не брал у него денег. Никто не одевался так плохо и бедно на их курсе, как он. Вот и сейчас он аспирант, без пяти минут кандидат наук, а старенький синий шевютовский костюм на нем лоснится, а руки далеко выглядывают из рукавов. И снова ему предстоит жить здесь в роли «сына».

— Сын Владимира Никитича Неслюдова — Владимир Владимирович, — представил Володю Николай Иванович своей жене.

— Анна Тимофеевна, — назвала она себя.

Затем он познакомился с дочками — Татьяной и Ольгой, подумав при этом, что здесь, как и во многих других русских семьях, не обошлось без «Евгения Онегина», и с внучкой Машенькой — маленькой девчушкой со смешливым и, как показалось Володе, даже чересчур ироническим выражением лица.

Руки ему не предложили помыть, а сам он почему-то постеснялся попросить об этом, и сел за стол с немытыми руками и принялся за чай и бутерброды.

Николай Иванович развернул письмо и заглянул в него.

— Владимир Никитич, — сказал он, — пишет, что вы владеете персидским языком.

— Да, — ответил Володя.

— Хорошо?

— Не очень хорошо, конечно. Но читаю и говорю, да и написать могу.

— А с таджиком объясниться вы сможете? — Николай Иванович перешел на таджикский язык.

— Смогу, — ответил Володя по-таджикски. — Со мной на курсе учились таджики, и в общем они меня понимали.

— А как у вас с турецким? — спросил Николай Иванович, снова заглядывая в письмо.

— Читаю. Говорю плохо. Да и читаю со словарем.

— А с арабским?

— Арабский знаю.

— Говорите свободно?

— В общем свободно.

— Очень хорошо, — заключил Николай Иванович с такой гордостью за Володю, словно это он научил его всем этим языкам. — А какие это «несколько европейских языков»?

— Английский, немецкий, французский. Немного итальянский и испанский. Латынь. — Володя искоса посмотрел на синеглазую, редкостно красивую Ольгу, которая сидела против него, и снова опустил глаза на бутерброды.

— Что ж, это весьма основательная подготовка, — решил Николай Иванович. — Весьма основательная. Ну, а судя по тому, что пишет Владимир Никитич, вы хорошо знакомы и с особенностями жизни Хорасана и вообще Востока в средние века... Но сознаюсь, никогда бы не подумал, что такой убежденный естественник, как академик Неслюдов, вручит своего сына госпоже Клио — грустной и переменчивой музе истории.

Володя вздрогнул и беспокойно оглянулся. Где-то на улице раздался продолжительный и странный крик — громкий,

натурный, мучительный. Он быстро обвел взглядом присутствующих. Николай Иванович как ни в чем не бывало маленькими глотками пил чай из высокого стакана в серебряном подстаканнике, Анна Тимофеевна положила прозрачное абрикосовое варенье в стеклянное блюдо.

— Что это? — спросил Володя.

— О чем вы? — не понял Николай Иванович.

— Вот этот крик.

Он увидел, как потупилась Таня, как широко открыла глаза Машенька, как с ложки, которую держала Анна Тимофеевна, варенье закапало на скатерть.

— А, это осел, — спокойно сказал Николай Иванович. — Химар по-арабски.

Машенька фыркнула.

— Маша, — предостерегающе сказала Анна Тимофеевна. — Ты уже поужинала? Можешь встать из-за стола.

Маша еще раз посмотрела с удивлением и насмешкой на огромного, толстого и, несмотря на это, похожего на школьника человека в круглых очках на большом круглом лице, который не знал, как кричит ишак, и ел так много бутербродов, сказала «спасибо» и отправилась на веранду.

Поздно вечером, осторожно устранившись на легкой койке, сразу подавшись под его стокилограммовым телом, Володя перебирал в памяти впечатления этого первого дня в чужом доме.

«В общем все устроилось не так уж плохо», — думал он, разглядывая висевшие на стене огромные рога горного барана — архара. Вот если бы только Николай Иванович не предоставил ему свой кабинет — угловую комнату, отличавшуюся обилием полок, заполненных книгами, непонятными приборами из стекла и металла, ящиками со стеклянными крышками, за которыми виднелись наколотые на булавки бабочки и жуки, столов, уставленных такими же, как на полках, приборами, и почти полным отсутствием мебели, на которой можно было бы сидеть, — только два простых жестких стула. Для Володи поставили раскладную койку из алюминиевых трубок и очистили один из этих столов — на нем остался только микроскоп с двумя окулярами. Очень неловко все-таки, что он лишился старого профессора его кабинета. Но с другой стороны, хорошо, что Николай Иванович, который так ему понравился своим интересом к восточной литературе и знанием персидского, всегда будет рядом, что можно будет с ним посоветоваться.

Володя сам себе не хотел сознаться, что особенно радова-

ла его и возбуждала неясные надежды мысль о том, что он будет жить в одном доме с Ольгой и каждый день на протяжении почти трех месяцев будет ее видеть, а может быть, и разговаривать. И вообще ему, постоянно отчужденно и настороженно жившему в собственной семье — за девять лет, минувших со дня смерти матери, у Володи появилось четыре, каждый раз все более молодых, мачехи; последняя из них — Алиса Петровна была всего на год старше Володи, — очень понравилось в этом доме. В доме профессора Ноздрина, где все так дружелюбно и мягко относились друг к другу, где во всем чувствовалось то, что называлось в книгах «семейным счастьем». Понравилась Анна Тимофеевна с ее обаятельным, сохранившим красоту лицом и стройной фигурой, молчаливая, попушкински сдержанная Татьяна, насмешница Машенька. И Ольга. Синеглазая Ольга, такая красивая и грациозная, что, по выражению одного восточного поэта, ее трудно было себе представить, как других женщин, спящей в постели: казалось, что она спит на ветке.

Днем, когда Володя работал — разбирал свои заметки, за дверью раздался негромкий скрип, затем дверь открылась, и в комнату въехала Машенька на трехколесном велосипеде.

— Дедушка позволял мне приезжать в его комнату, — сказала она, не глядя на Володю. — Посмотреть на жуков.

— Пожалуйста, и я позволяю, — ответил Володя.

— А вы не скажете, как дедушка, что я мешаю?

— Нет, не скажу.

Маша задумчиво покачивала педали, и велосипед медленно, нерешительно передвигался то назад, то вперед. Затем она оставила свой велосипед и уселась на стуле, который стоял перед столом.

— А вы песню знаете? — спросила она у Володи.

— Какую?

— Военную. «По долинам и по взгорьям».

— Знаю.

— И я знаю.

Володя не очень уверенно чувствовал себя с незнакомыми взрослыми и уж совершенно не знал, как себя вести с незнакомым ребенком.

— А где твоя мама? — спросил он.

— Мама в театре. На репетиции.

Володе хотелось спросить: «А где папа?» — его не познакомили с мужем Татьяны, но он сдержался и вместо этого спросил:

— Ты в школу ходишь?

— Нет. Я еще маленькая. Я еще не умею читать. А вы сказки знаете?

— Знаю, — неуверенно ответил Володя.

— Это хорошо, — одобрила его Машенька. — А вы много сказок знаете?

— Нет, не очень много.

— Расскажите, — предложила Машенька, подумала и добавила: — Пожалуйста.

Володя попытался припомнить сказку об Иванушке-дурачке, но вспомнил только эпизод, когда Иванушка говорил на свадьбе «канун да ладан», и нерешительно предложил: — Лучше я тебе почитаю.

— Почитайте, — не слишком охотно согласилась Машенька.

Он еще прежде заметил среди книг бейрутское издание «Тысячи и одной ночи». Он выискал в оглавлении сказки о Синдбаде-мореходе и стал переводить их Машеньке, на ходу адаптируя эти полузабытые и удивительные истории.

— Тебе интересно? — спросил он у Машеньки.

— Интересно, — успокоила его девочка. — Только не нужно все время спрашивать у меня — «понятно?».

— Хорошо, — покраснел Володя.

В двери постучали.

— Войдите, — сказал Володя, а Машенька как-то напряглась и слезла со стула.

Вошел Николай Иванович.

— Машенька, — сказал он укоризненно. — Ты уже успела приняться за Владимира Владимировича?

— Нет, нет, — возразил Володя. — Она мне ничуть не помешала.

Николай Иванович взял со стола книгу.

— Синдбад-мореход, — улыбнулся он. — Что ж, вы сегодня сами встали на путь, чреватый многими опасностями... Ну хорошо, Машенька... Ступай к бабушке. Она ждет тебя — гулять.

И когда Маша вышла, забыв свой велосипед, он сказал задумчиво:

— А ведь знаете — странно... Маша — дикарка и трудно привыкает к новым людям. А к вам она сразу почувствовала такое удивительное доверие.

Володя смутился, пробормотал: «Очень польщен», и они углубились в вопрос о маршруте, по которому двигался Марко Поло.

— Я не специалист в этой области,— сказал Володя,— но помнится мне, что об *ovis Poli*, открытом Марко Поло в 1256 году, сам он писал примерно так: «В этих местах водится дикий баран больших размеров, и рога его имеют более чем шесть пядей в длину».

— Не следует считать это преувеличением,— ответил Николай Иванович.— Я сам видел рога почти в полтора метра, да и в этих,— он показал на стенку,— сантиметров восемьдесят, то есть четыре пяди.

Глава пятая, в которой хирург решает жениться в компенсацию за причиненный ущерб

Но почему же так оно выходит,
И так печально жизнь ее идет,
Что ничего на свете не выходит?..
И женщина по улице идет.

Ю. Панкратов

Из всей системы Станиславского она часто прибегала только к этому упражнению — расслаблению мышц. Не было лучшего способа поскорее заснуть.

Нужно было лечь в кровати плашмя, на спину, расслабить мышцы и выпустить «контролера», которого Таня представляла себе в виде блестящего шарика, путешествующего по телу. Вот «контролер» остановился в ступнях ног. Здесь «зажим», как выражался Станиславский. Напряжена мышца. Расслабить! «Контролер» полез дальше, к ногам, к животу, расслабил его, скользнул по груди, по шее, по лицу, затем покатился в руки... И назад. У него много дел. То одна, то другая мышца напряжется. Вот так — пока расслабишь да проверишь, незаметно уснешь.

Она лежала с закрытыми глазами и бесцельно гоняла «контролера». Ощущение невесомости, которое в таких случаях предшествовало сну, не наступало.

Говорят, что бедуины — проводники караванов, — думала Таня, ложатся на песок, расслабив все мышцы. И десяти минут такого отдыха достаточно для того, чтобы затем сутками не покидать седла. Но, очевидно, усталость вызывается не тем, что напряжено тело. Дело не в этом. Или не только в этом. Ученые установили, как устают мышцы. Там скопляется какое-то вещество. А как устают нервы? Что в них скопляется? Но ведь больше всего и скорее всего, наверно, устают именно они. Сама по себе усталость, наверно, нервное ощущение.

Все делают вид, что ничего особенного не произошло. И я тоже. Нет ничего странного в том, что приехал Евгений Ильич Волынский — ее муж, отец ее ребенка. Тактичность, деликатность. Все в ее семье исключительно тактичны, бесконечно деликатны. Но было бы лучше, если бы проще, жестче относились они друг к другу. Если бы отец прямо и строго спро-

сил у Волынского, зачем он приехал. Если бы мать поменьше разговаривала с ним о Прокофьеве и Шостаковиче, а прямо и строго спросила, почему он не живет с женой и ребенком. Если бы она сама встретила его не поцелуем щека о щеку и вопросом «как твоё здоровье?», а словами — «зачем ты приехал?».

Когда она была маленькой, в их дворе жил мальчик без обеих ног. Она с ним дружила. Затем они расстались и встретились уже взрослыми. Он ходил на протезах, и было совсем незаметно, что он калека.

— Никому я в детстве не был так благодарен, так признателен, как вам, — сказал он. — Вы были единственным человеком, который у меня ни разу не спросил, почему у меня нет ног.

Когда она вернулась с Машенькой из Москвы, никто в доме не спросил ее, почему же она рассталась с мужем, почему ушла из МХАТа. В их доме это было не принято. Обо всем, что называется «личной жизнью», вопросов не задавали.

Евгений Ильич понравился маме. Да, это человек в ее вкусе. В меру красив. Хорошо воспитан. Все, что говорит, всегда окрашено легкой иронией: мы-то с вами понимаем, что все происходящее в этом мире не заслуживает серьезного отношения. И от этого собеседник всегда чувствует, что его выделяют из массы людей, что понимают его право свысока относиться к окружающему. Боже мой, а кто не считает себя вправе при случае свысока поговорить об окружающем?

И Ольга от него без ума. В рот ему заглядывает. Еще бы — знаменитый хирург. Кудесник. С каким восторгом рассказывала Ольга, что при своем первом появлении в их доме Волынский открыл дверь ногой! Ах, ах, ах. Евгений Ильич в костюме «выпонимаетескемимеетедело», с задом сухим и поджарым, как у балетного артиста, похожий на Жана Жираду — с такими же белыми, крупными и ровными зубами, высоким лбом, гладкой прической и шеей в два раза уже головы, — и вдруг открыл дверь ногой.

«Это потому, — ахала Оля, — что он в операционной привык избегать прикасаться к чему-нибудь руками...»

Когда в Олином институте узнали о его приезде, явилась целая делегация с просьбой прочесть несколько лекций. Он дал согласие, но не преминул заметить Ольге, что это только для нее.

Машенька похожа на него. Те же вдумчивые, спокойные глаза и нервные, подвижные ноздри и губы. Этот контраст

между спокойным выражением глаз и нервным ртом особенно удивил ее при первом знакомстве. Она обратила на это внимание. Хотя очень волновалась.

Как же все-таки это было?

Она училась тогда на третьем курсе театрального института. Они ставили сцену из «Отелло», и ей была поручена роль Дездемоны. Но Дездемона охромела. У нее разболелась нога — начался какой-то нарыв. На следующий день поднялась температура, а боль сделалась просто невыносимой. В общежитие вызвали врача. Приняв крайне озабоченный вид, он сказал, что подозревает флегмону стопы, и Таню отправили в больницу.

В тот же день во время обхода она впервые увидела Волынского. За ним толпа врачей и студентов, а он, стремительный, легкий, — впереди. Белый накрахмаленный халат распахнут так, что виден костюм из очень дорогой, но похожей на мешковину заграничной ткани, необычно короткий узкий темно-синий галстук не достает верхней пуговицы пиджака, а сверкающие манжеты выглядывают из рукавов халата.

— Подготовить, — сказал он, осмотрев Танину ногу. — Немедленно. Я сам прооперирую.

Лишь впоследствии она узнала, как удивили его слова врачей — обычно такие операции он поручал ассистентам. Не сразу она узнала и то, что ежедневные посещения Волынским палаты, в которой она лежала, стали предметом самых оживленных разговоров не только среди персонала больницы, но и среди больных.

И предложение он ей сделал неожиданно, в странной иронической форме. Почти через месяц после болезни, когда Таня уже стала забывать об операции, он приехал в общежитие, пригласил ее прогуляться и, едва они вышли на улицу, сказал:

— Я хочу предложить вам компенсацию за боль, которую я причинил вам своим скальпелем. Выходите за меня замуж.

— А как вы компенсируете всех остальных женщин, которых делаете операцией? — не сразу нашлась Таня.

С первых дней их совместной жизни — да что там говорить! — в первый день их совместной жизни отношения между ними приобрели странный характер. Он вел себя так, будто одна из стен в комнате отсутствовала, будто из-за этой стены, из темного ущелья зала глядят глаза тысяч зрителей. Она втянулась в эту игру. Жизнь все больше и больше напоминала сцену.

По окончании института ей необыкновенно повезло. Она попала во МХАТ. На репетициях ее хвалили, работала она

над ролью правильно, вдумчиво, а зрители оставались равнодушны. Считалось, что ей не хватает темперамента. Она тогда тоже так думала. Лишь позже, когда она уже ушла из МХАТа, когда уехала, а правильное сказать — бежала из Москвы в Душанбе к родителям, она поняла, чего ей не хватало в самом деле. Душевных сил. Они полностью расходывались в этих странных и нелепых отношениях с мужем.

Он говорил, что любит ее. Что не смог бы жить без нее и без ребенка. Может быть, он в самом деле любил их и не мог без них? Но вместе с тем она видела, что знаком он был только с теми людьми, которые могли быть ему полезны. Она слышала, как на протяжении одного дня разным людям он высказывал прямо противоположные взгляды. Она чувствовала, что горячность, с какой он защищал свою точку зрения, напускная — он был холоден как лед. Каким он был в самом деле? К чему стремился? Чего добивался?

Она тогда вела дневник. Она была тогда еще настолько наивной и аккуратной, что вела дневник. Интересно бы перечитать. В институте их научили, как из отдельных высказываний героев пьесы составить сплошную линию поведения человека. Это называлось установить «задачу» и «сверхзадачу» героя.

Из отрывочных высказываний Евгения Ильича она составила целую статью. Вот что у нее тогда получилось:

«Во времена Екатерины Второй в Воронежской губернии в Острогжском уезде был укушен бешеной собакой один крестьянин. Спустя некоторое время он поехал на свадьбу к своему знакомому, и тут впервые на глазах у собравшихся гостей у него обнаружили признаки водобоязни. Вид этой ужасной болезни так сильно повлиял на присутствующих, что у многих — у 58 мужчин и 41 женщины — обнаружили те же припадки. Все вдруг почувствовали глубокую тоску, сильную головную боль, неопределенный страх, непреодолимое стремление бегать, у всех появилось слюнотечение, бессонница, затем полная потеря рассудка — словом, развилась типичная картина бешенства. Заинтересованная этим фактом, Екатерина потребовала подробного донесения. В нем, между прочим, значилось, что у всех заболевших, так же как и у укушенного собакой, появилось под языком по восемь и меньше синих пузырей величиной с ячменное зерно. Все заболевшие, за исключением действительно укушенного, вскоре выздоровели.

Случай этот долго казался необъяснимым: как могли заболеть бешенством люди, которые даже не прикасались к

больному животному... Но с того времени прошло много лет, много раз повторялись аналогичные случаи, много подобных явлений пришлось наблюдать врачам. Но и до сих пор многим представляется странным, как может заболеть человек, глядя на другого человека, — заболеть без ран, без отравления, без микробов. Между тем ничего странного в этом нет. Это просто психическая зараза. Если один человек перенимает поступки и мысли другого, не входя в критический анализ своих действий, значит он подвержен психической заразе.

Наиболее ярко проявляется психическая зараза в бессознательном подражании. Все люди подражают друг другу. Но один подражает сознательно, умышленно, а другой бессознательно, неумышленно. Считают, что бессознательное подражание наиболее свойственно животным. Но это неверно. Хотя действительно подражание мы встречаем у очень многих животных: всем известна способность к подражанию обезьян, попугаев, сорок, ворон, скворцов и других животных и птиц, но нигде оно не достигает такой силы и мастерства, как именно у человека. Животные подражают человеку только манерами и голосом, человек же подражает человеку всем, чем только может: и манерами, и голосом, и одеждой, и квартирой, и пищей.

Если спросить у алкоголиков, что привело их к пьянству, то один ответит, что он пьет с горя, от тяжелого нравственного потрясения, другой скажет, что пьет из-за материальных затруднений, третий оттого, что его отец или дед был пьяницей, четвертого уронила нянька в детстве, но ни один не откроет настоящей правды, ни один не скажет, что он пьет потому, что пьют другие. Ему совестно сознаться в этом, это унижает его человеческое достоинство. А между тем факт, что большинство пьет именно из подражания. И среди целого ряда условий, способствующих развитию алкоголизма, есть одно очень важное и существенное, которое почему-то упускается из виду: это бессознательное, безотчетное подражание.

Существуют еще более удивительные примеры психической заразы. Известны случаи, когда люди окончили жизнь самоубийством потому, что их знакомые кончали жизнь самоубийством. Оказывается, что человек может пожертвовать даже жизнью только потому, что другой ею пожертвовал. Таковы, например, случаи самосожжения членов некоторых сект; этим была вызвана волна самоубийств после смерти Есенина. Профессор Корсаков приводил случаи, когда из 12 человек одного выпуска школы пятеро окончили жизнь самоубийством, и трудно было, говорит он, найти иную при-

чину этого события, как заразительное влияние примера одного наиболее талантливого из всех.

Но и в проявлениях общественной жизни, которые считаются нормальными, постоянно наблюдается психическое явление, некогда носившее название стадности. Под этим словом подразумевалось такое явление, когда целая толпа или группа людей, сплотившись вместе, действуют как один человек: это и есть не что иное, как стадо, составленное из высших представителей животного царства — людей.

Какую бы сторону жизни мы ни взяли, всюду мы встретим явление стадности. Человек по самой природе своей существо в высшей степени стадное, гораздо более стадное, чем многие животные. У животных стадность проявляется всегда в каких-нибудь определенных повторяющихся действиях: у птиц — в весеннем и осеннем перелете, у пчел и муравьев — в коллективной работе над постройкой жилищ, у домашних животных — в хождении на пастбище, у человека же она принимает самые причудливые и сложные формы.

Стадностью объясняются моды, например. Что может быть глупее, чем обычай женщин носить зимой короткую юбку и тонкие чулки? Сколько женщин тяжело заболело из-за этого обычая! Зачем на мужских брюках нужна складка, поддерживать которую так сложно, когда без нее было бы удобнее и красивее? К чему на рубашках совершенно бесполезные воротники? А галстуки? Сколько средств тратится на поддержку бессмысленных мод! А в области питания? Как много вредного или бесполезного едят и пьют люди из подражания!

Стадность, по существу, является эпидемической формой психической заразы. Одна из острых, но постоянно повторяющихся форм стадности — футбольные болельщики. На футбольные матчи ходят люди самого разного возраста, профессий и взглядов. Они объединены между собой только местом и временем. Казалось бы, что может быть между ними общего? А между тем десятки тысяч людей переживают игру как один человек.

Сама по себе игра в футбол противоречит здравому смыслу. Известно, что кошки всегда падают на четыре ноги. Но если бы они устраивали между собой спортивные соревнования, возможно, это были бы соревнования в падении с наибольшей высоты на одну лапу. То же самое и в футболе. Ведь для человека было бы естественней хватать и бросать мяч прежде всего руками, а не ногами. Но об этом никто не думает. И нигде, пожалуй, стадность не проявляется в такой яркой, такой отчетливой форме, как у болельщиков. Зависит

это от того, что люди, посещающие футбол, не объединены никакими общими принципами, за исключением принципа праздности и желания дать свободную волю своим чувствам после утомления от дневных забот.

Таким образом нетрудно убедиться, что культура наложила лишь некоторую печать на стадные чувства, но совсем не ослабила их, большинство современных людей так же подвержены стадности, как и их предки; разница лишь в том, что современный человек находит больше случаев становиться стадным элементом, чем его предки, потому что его жизнь разнообразнее и богаче своим содержанием. Этим и объясняется, почему человек вообще более склонен к бессознательному подражанию или к психической заразе, чем животное. Чувства человека интенсивнее и разнообразнее, чем чувства животного, а раз это так, то у него и больше данных для психического заражения.

Но раз существует стадо, существует и пастух. Поэтому, говоря о стадности, всегда следует помнить о том, что лучше быть пастухом, чем рядовым членом стада...

Она показала ему эти странички дневника. Она никогда не предполагала, что запись эта может произвести на него такое впечатление.

— Я не говорил, что стаду нужен пастух, — сказал он резко.

— Не говорил, — согласилась Таня. — Тут много такого, чего ты не говорил. Но это вытекает из всех остальных твоих слов. И даже поступков, — неожиданно для самой себя добавила она.

— Что ж, — значительно сдержанней ответил Евгений Ильич, — очень жаль, что мои слова могут быть так нелепо и наивно истолкованы. Я очень огорчен этим. Это еще раз свидетельствует о том, как мало ты меня понимаешь. Но я не пожалею труда для того, чтобы научить тебя пониманию.

Да, он не пожалел для этого труда. Она чувствовала, как изо дня в день он ее переламинает... Нет, не то слово: переваривает, именно переваривает.

«Когда же это отец занимался жуками-плавунцами?» — попыталась вспомнить Таня. Она была тогда еще школьницей. Уже большой. Училась не то в шестом, не то в седьмом классе. Николай Иванович дома в аквариуме разводил жука-плавунца. Он разрабатывал методы борьбы с этим жуком, который губит в прудах мальков рыбы.

В аквариуме плавали длинные личинки с раздвоенным волосатым хвостом, с шестью волосатыми лапами, с треуголь-

ной головой, вооруженной двумя огромными серповидными челюстями. Каждый день отец пускал в аквариум рыбок — если бы он не делал этого, уцелела бы лишь одна самая сильная личинка, она сожрала бы остальных.

Отец показал ей однажды, как личинка жука-плавунца счищала передними ногами остатки рыбки, лохмотьями висевшие на ее челюстях-серпах.

— Как же она ест? — спросила Таня, с гадливостью разглядывая личинку. — Ведь у нее нет даже рта.

— У нее внекишечное пищеварение, — ответил Николай Иванович. — Вонзив челюсти, личинка отрыгивает ядовитую жидкость, а она по канальцам в этих челюстях попадает в добычу и парализует ее. После этого личинка отрыгивает жидкость, обладающую сильными пищеварительными свойствами. Жидкость эта разжижает тело рыбешки, переваривает его, а личинка втягивает через каналы челюсти разжиженную массу. Кончается это тем, что она высасывает все, что поддается действию ее пищеварительного сока.

Отца не было дома, когда она попыталась перенести в другой аквариум крохотную, золотистую, полупрозрачную рыбешку. До сих пор она помнила отвратительное ощущение, когда острые челюсти личинки вонзились ей в палец.

«Внекишечное пищеварение», — привычно-устало подумала Таня.

Она не спала и слышала, как за тонкой стенкой в кабинете отца скрипит под тяжелым телом Володи Неслюдова койка, составленная из алюминиевых трубок.

Глава шестая, о том, почему старший сержант Кинько включил сигнал тревоги

Не спавшему — чести
подавшему весть,
что воры в дому, —
честь стражу тому!

И. Перец

Началось все это так.

Старший сержант Гриша Кинько сидел перед пультом. Он внимательно следил за приборами — сегодня все время появлялись неожиданные помехи, — а мысли его были сосредоточены на одном и том же.

Сила тяжести является результатом действия гравитационного поля. Один из теоретически возможных способов защиты от баллистических ракет состоит в создании антигравитационного поля, которое будет отбрасывать в космос все тела, поступающие из атмосферы.

Он, Гриша Кинько, уже убедился в том, что антигравитационное поле — вещь вовсе не такая сложная, как это представляется сейчас ученым. Испытывая магнитронный генератор, он неожиданно для себя нашел частоты, которые способны, пока еще, правда, очень небольшим телам, придать обратную инерцию такой силы, что они возвратятся на то же место, откуда были отправлены.

О своем открытии Гриша Кинько хотел сообщить непосредственно командующему военным округом. Но его не допустили к маршалу.

— Я по важнейшему государственному делу, товарищ полковник, — сильно волнуясь, но став по стойке «смирно», как полагается говорить со старшим в звании, сказал он адъютанту командующего.

— Доложите сначала мне, — строго предложил полковник.

— Я не могу, — решительно ответил Гриша, — это дело я имею право доложить только лично товарищу маршалу.

Хотя командующий округом и согласился принять Гришу, но он не поверил его словам.

— Не может быть, — сказал маршал, — чтобы вам удалось то, чего никак не могут добиться величайшие ученые мира.

— Позвольте мне продемонстрировать вам результаты, —

скромно ответил Гриша.— Мне нужен только магнитронный генератор и радиотехническое оборудование. Ну и приборы, конечно. И даю честное комсомольское слово, что через три, максимум четыре часа вы убедитесь собственными глазами.

Командующий округом с плохо скрытым недоверием наблюдал за тем, как подброшенные Гришей горошины взлетали к потолку, отталкиваемые чудесным лучом.

— А если бросить спичку? — с интересом спросил маршал.— Получится?

— Попробуйте, товарищ маршал,— предложил Гриша.

Маршал высыпал в горсть весь коробок спичек и бросил их в сторону генератора. И все спички удивительным образом возвратились назад в руку маршала.

— Замечательно! — воскликнул маршал.— Спасибо, старший сержант Кинько! Ваше открытие принесет огромную пользу нашей любимой Родине.

— Служу Советскому Союзу! — ответил Гриша Кинько.

Гришу откомандировали в Москву. Его принял министр обороны.

Он пожал Грише руку и сказал:

— Мы решили поручить вам ответственнейшее задание — руководство институтом, который в кратчайшие сроки должен не просто внедрить ваше открытие в производство, а обеспечить с помощью этого изобретения несокрушимую оборону страны.

— Я комсомолец и готов выполнить любое дело, которое мне доверит партия,— ответил Гриша.— Но как же я, старший сержант, буду руководить институтом?

— А вы уже не старший сержант,— рассмеялся министр обороны.— Вам присваивается звание генерал-майора. Ваше открытие дает вам право и на большое звание.

Институт. Огромное здание с массой лабораторий и мастерских. В нем трудятся знаменитые ученые, большие специалисты в области радиотехники, электроники, атомной энергии. Гриша чувствует себя неуверенно и смущенно: как он будет руководить такими людьми? Но к нему относятся хорошо, с уважением — всем нравится, что он прост, что ничуть не зазнался оттого, что сделал такое важное открытие, что не стесняется расспросить обо всем, чего не понимает.

Институт работает днем и ночью. Никогда не гаснет свет в его окнах. Гриша спит на койке прямо в лаборатории и, чтоб взбодриться, бегаёт в устроенный тут же при лаборатории душ.

Институту придали целый завод. На нем работает около тридцати тысяч человек. Здесь готовятся новые мощные антигравитационные установки.

Одновременно проводятся первые испытания. Запущенную специально с этой целью космическую ракету антигравитационное поле отбросило в космос — больше уже никогда не возвратится она на Землю.

Страна обеспечена надежной и несокрушимой обороной. На заседание Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, посвященное решению важнейшего вопроса международной политики, пригласили и Гришу Кинько. Был зачитан проект письма, которое должно быть направлено руководителям главных капиталистических стран и прежде всего Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции:

«Советский Союз неоднократно вносил деловые и вполне конкретные предложения о всеобщем и полном разоружении. Не говоря уже о том, что гонка вооружений представляет собой огромную опасность для человечества, что атомные и водородные бомбы, если они будут введены в действие, могут вообще привести человечество к гибели, советские люди считают, что расходование огромных денежных средств и огромного количества труда на изготовление оружия — дело постыдное и бессмысленное.

Нам хорошо известно, что стоимость затрат, необходимых для разработки американского противотанкового снаряда «найк-зевс», составляет около семи миллиардов долларов. На эти деньги можно было бы построить два города по миллиону населения в каждом. Стоимость межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас», которая столько раз падала у вас вниз, вместо того чтобы лететь вверх, равна четырем миллионам долларов, а это тоже хорошие деньги. И так далее.

Огромные суммы на оборону приходится затрачивать и нашему социалистическому государству, потому что вооружение капиталистических стран представляет собою серьезную угрозу делу мира.

Нашим ученым удалось создать антигравитационную оборону страны, которая надежно обеспечивает наше государство от малейшего посягательства со стороны агрессоров.

Мы предлагаем и, если вам угодно, можете считать это ультиматумом.

1. С завтрашнего дня, с 18 часов по московскому времени по послезавтрашний день 18 часов московского времени, всем капиталистическим государствам разрешается направлять в

сторону Советского Союза любые баллистические снаряды, самолеты, управляемые автопилотами, и т. д. Не рекомендуется только посылать снаряды, управляемые людьми, так как все вышеупомянутые снаряды будут отброшены в космос нашей антигравитационной системой.

2. После этого Советский Союз мог бы, применяя силу своего оружия и опыт своих прославленных Вооруженных Сил, поставить вас на колени, но Советский Союз — государство ленинское, государство миролюбивое, и ему чужды агрессивные цели. Мы хотим только покончить с вооружением, а там уж пусть каждый народ изберет такую систему правления, какая ему нравится.

3. Поэтому с 18 часов московского времени послезавтрашнего дня вы обязуетесь провести полное разоружение под контролем наших представителей, а мы — под контролем ваших представителей. Оружие можно оставить только огнестрельное, неавтоматическое и в таком количестве, в каком оно требуется милиции или полиции для охраны порядка.

4. Все армии с 18 часов московского времени должны быть распущены».

Верховный Совет Союза ССР на своем заседании единодушно утвердил проект письма, и все радиостанции Советского Союза на всех языках мира передали в эфир важнейшее правительственное сообщение — письмо руководителям правительств капиталистических стран.

Какая же там поднялась паника! Перепуганные руководители Пентагона не знали, что делать — испытывать или не испытывать антигравитационную систему обороны СССР. Ведь они хорошо понимали, что Советский Союз шутить не любит и раз его правительство заявляет, что имеется такая система, значит она есть в самом деле. Ведь точно так было и с атомной бомбой, когда некоторые зарубежные деятели сомневались в том, что она имеется у Советского Союза, и с баллистическими ракетами. Однако на всякий случай они запустили одну ракету «Атлас», но не с атомной, а с холостой боевой головкой. Ее отбросило в космос, и все обсерватории земного шара следили за ее полетом.

Капиталистам ничего не оставалось делать. Тут уж им волей-неволей пришлось вступить в эпоху полного разоружения. Но как только капиталистические государства лишились главного своего козыря — вооруженных сил, — оказалось, что они больше не могут существовать в прежнем виде. Народ больше не хотел работать на капиталистов и банкиров, не

хотел мириться с тем, что средства производства принадлежат эксплуататорам.

Первыми подняли этот вопрос трудящиеся Бельгии и посадили в тюрьму своего короля. Но Советский Союз порекомендовал не применять никаких репрессий — просто перестроить систему управления государством, а королю, если ему угодно, предоставить, как любому гражданину, работу в соответствии с его способностями. Бельгийский король был вынужден пойти точильщиком коньков на центральный каток — ничего другого делать он не умел.

На путь социализма встали и трудящиеся Америки. За ними трудящиеся всех других стран. Просто замечательной стала жизнь на земле. Ведь социалистическим странам не из-за чего воевать друг с другом, и все силы людей теперь были направлены только на то, чтобы люди жили счастливо, чтоб всего было вдоволь. Рабочий день сократился до...

Старшему сержанту Грише Кинько не удалось домечтать о том, насколько сократился рабочий день. Приборы показывали, что где-то на расстоянии не более чем в двести километров в сторону юго-востока работала на странных — не принятых у нас частотах — какая-то незарегистрированная станция.

Гриша Кинько включил сигнал тревоги.

Глава седьмая, из которой можно узнать, сколько ног у насекомых

Кто хочет что-нибудь живое изучить,
Сперва его всегда он убивает,
Потом на части разнимает...
Но связи жизненной — увы! — так не
открыты!

В. Гёте

Он пытался добраться до спины правой рукой, заламывая ее за затылок. Затем левой рукой со стороны поясницы. Он так крутился на своей составленной из алюминиевых трубок койке, что та разъехалась, и он преболно стукнулся затылком о ножку стула.

В комнату заглянул Николай Иванович, смущенный грохотом, произведенным падением койки.

— Что с вами? — спросил он у Володи.

— Извините, пожалуйста, — ответил растерянный и встревоженный Володя. — Но у меня что-то такое странное... Может быть, болезнь какая-то. Вся спина в волдырях, они чешутся и зудят. Кажется, поднялась температура, и в общем все как-то непонятно. Главное, я никогда не слышал о такой болезни. В «Каноне» Абу Али ибн Сино упоминаются симптомы большинства, если не всех болезней, какими болеют люди и по сей час. Но о таких симптомах даже там нет упоминания.

— Поднимите рубашку, — предложил Николай Иванович. — Сейчас мы все наладим...

Он поспешно вышел, и Володя сейчас же услышал за дверью его громкий голос:

— Оля, где у нас пинцет? Да захвати с собой одеколон. Нужно оказать первую помощь Владимиру Владимировичу.

Володя торопливо натянул штаны.

— С вами действительно произошло событие, не очень часто встречающееся в жизни, — сказал Николай Иванович, возвращаясь с Ольгой, которая держала в руках пинцет, скальпель, банку с зеленкой, пакет ваты и бутылку одеколона «Кремль». — Вам за ворот попала гусеница. Обыкновенная гусеница бабочки-златогузки. Вы, наверное, не раз ее видели — это белая пушистая ночная бабочка, конец брюшка у нее как бы срезан и в ярких золотистых или даже рыжих волосках. А гусеница у нее волосатая, с двумя рядами белых

пятен и двумя рядами красных бородавок. И на каждой бородавке пучок волос. Волоски эти — а они ядовиты — вонзились вам в кожу и вызвали раздражение. — Он не улыбался. — Сейчас Оля пинцетом — она это очень ловко делает как будущий хирург — повыдергает волоски гусеницы из вашей спины, а потом смажет волдыри одеколоном. И все пройдет.

— Стоит ли? — надул щеки и поправил очки Володя. — Я просто не знал, что это гусеница. Мне показалось, что это какая-то болезнь.

— Очень стоит, — возразил Николай Иванович. — А для того, чтобы почесать спину, как показывает опыт предыдущих поколений, лучше всего пользоваться линейкой.

Володя заметил, как Ольга переглянулась с Николаем Ивановичем, поехал и снова принялся извиняться. Ольга попросила, чтобы он повернулся к ней спиной, подняла рубашку и принялась пинцетом выщипывать из него волоски этой проклятой гусеницы. Делала она это долго, усердно, слегка посапывая, как показалось Володе, не без удовольствия, хоть и ворчала, что гусенице не мешало бы быть менее волосатой.

Несколько раз ему хотелось сказать, что она выдергивает его собственные волоски, но он так и не решился это сделать. Он стеснялся Ольги. Вообще он всегда чувствовал себя скованно и неловко с девушками-медичками. Ему думалось, что они знают о нем слишком много такого, чего девушкам не следует знать, чего и сам он толком не знает, а их там, в медицинском институте, учат всему этому. Всякой анатомии и физиологии...

Он еще раз поблагодарил Ольгу за оказанную ему помощь. В ответ она улыбнулась проказливо и ушла. Володя, как это иногда с ним бывало, с запозданием, когда уже закрылась дверь, улыбнулся в ответ и вспомнил об иной ее улыбке — едва заметной, произвольной и светлой, когда говорил Шарипов.

«Кем им приходится этот Давлят Шарипов? — думал он. — И почему с ним так напряженно держится Евгений Ильич?»

Володя вспомнил, как вчера вечером Шарипов взял с крышки пианино книгу в мятом переплете — детективный роман — и стал перелистывать страницы.

— Люблю читать шпионские истории, — сказала Анна Тимофеевна. — Это очень отвлекает и успокаивает.

— Да, — ответил Шарипов негромко и значительно, — шпионские истории — это очень занятно. Но мне кажется, что,

читая романы вроде этого, мы почти никогда не задумываемся, чему же они посвящены в действительности.

— Развлечению читателей,— вставил Евгений Ильич.

— У меня есть товарищ, большой знаток автоматического оружия,— продолжал Шарипов, словно не замечая его слов.— Он говорит, что конструкторам всех стран многие годы представлялась совершенно невыполнимой задача — создать бесшумный пистолет. Но вот сравнительно недавно такой пистолет, наконец, был создан. Это одно из высочайших достижений техники в этой области. Но для кого оно было совершено? Для шпионов! Радиотехники говорят, что транзисторы, или, как их иначе называют, полупроводники, произвели переворот в их деле. Но для кого были впервые созданы эти транзисторы? Для шпионов! Для того чтобы их можно было снабдить самыми миниатюрными, самыми надежными передатчиками и радиоприемниками.

Шарипов торопливо закурил и продолжал:

— Первые электронно-счетные машины были сконструированы для того, чтобы зашифровывать и расшифровывать донесения шпионов. Совершеннейшие в мире самолеты были сконструированы и изготовлены для шпионов. На спутник — бесспорно высшее достижение человеческого гения — американцы поставили аппаратуру для шпионажа. Если всему этому уделяется такое внимание, значит они, эти шпионы, существуют не только в детективных романах... И вот когда задумываешься над этим, вдруг понимаешь, что детективные романы, написанные на первый взгляд лишь для того, чтобы развлечь читателя, являются пусть неверным, пусть нелепым, пусть смешным, но очень тревожным сигналом о том, что шпионы существуют.

Евгений Ильич, чуть щурясь, стал возражать, утверждая, что такой взгляд на развлекательные «шпионские» романы может привести к шпиономании. Шарипов не стал спорить, согласился: «Да, возможно».

Володя разговорился с Шариповым и очень обрадовался, когда узнал, что тот родом из кишлака Митта.

— Я как раз сейчас занимаюсь этим кишлаком,— сказал он.— Имеются данные, что там в девятом веке был один из центров движения хуррамитов. Я собираюсь в нем обязательно побывать. А вы не скажете: там сохранилась старая мечеть?

— Только развалины,— ответил Шарипов.

— А четыре чинары у мечети? Они еще в начале девятого века считались священными деревьями.

— Осталась только одна — огромная, самая большая в районе чинара. Признаюсь, я не знал, что их там было четыре.

— Четыре. Сохранилось даже предание о том, что однажды эта мечеть сгорела. Имам мечети направился к шаху за помощью.

«А чинары сохранились?» — спросил встревоженный шах.

«Сохранились,— ответил имам.— Но сгорел дом аллаха».

«Это не страшно,— решил шах.— Дом аллаха я могу построить заново. Чинары же не восстановить и самому аллаху».

— Любопытно,— сказал Шарипов.— Ну что ж, раз сохранилась чинара, возможно, действительно сохранились и устные предания. Я сам этим никогда не интересовался, но если вы поговорите со стариками... Скажем, с моим дедом. Я вам дам к нему письмо.

Он слегка усмехнулся своим мыслям.

— В этом году деду моему Шаймардону исполнится семьдесят лет. Это мудрый человек и большой оптимист. Он говорит, что в этом мире все очень хорошо устроено. Вот, например, есть аллах — очень хороший аллах. Он ни во что не вмешивается. И в их кишлаке есть мулла. Тоже очень хороший мулла. Потому, что ни во что не вмешивается. И даже председатель колхоза почти ни во что не вмешивается.

Татьяна заинтересовалась тем, насколько можно в исторических работах пользоваться устными преданиями и можно ли им доверять. Володя ответил, что в Азии, как, впрочем, и в Европе, большинство сведений о древней истории построены на устных преданиях, которые, если даже и были записаны, не стали от этого достовернее. Поэтому приходится их сопоставлять, сравнивать с данными археологических раскопок и всякими иными. Но тем не менее устные предания имеют исключительную ценность...

— И не только для истории,— вмешался Николай Иванович.— Многие науки, и в частности Олина медицина, черпают из этого источника. Для энтомологов это сложнее... Но и энтомологи имеют свои устные предания.

— О саранче, которую отшельники называли акридами и ели с медом? — улыбнулась Таня.

— Нет, не только. Вот, например, сохранилась легенда о том, что один из самых жестоких завоевателей, Тамерлан, проделал однажды любопытный энтомологический опыт. Он посадил на нижний конец поставленной вертикально палочки муравья, дождался, пока муравей под действием геотропизма взберется на верхний конец, и снова перевернул палочку. Так

он некоторое время наблюдал за действиями муравья. Если бы Тамерлан продолжил свой эксперимент, возможно, он прославил бы этим свое имя больше, чем своими завоеваниями, потому что именно на экспериментах такого рода поκειται наука, до сих пор известная нам только в своих зачатках: теория поведения.

От теории поведения беседа снова повернула к Тамерлану. Володя назвал несколько кишлаков, которые Тамерлан и последующие завоеватели снесли с лица земли, но они восстанавливались снова и снова.

— А о таком кишлаке — Чахарбаги вы не слышали? — неожиданно спросил у Володи Шарипов.

— Слышал — это афганский кишлак.

— А что за народ там живет? Что он собой представляет?

— Там живут джемшиды, — ответил Володя. — Главные их центры — Кушк и Ягдарахт. Это небольшая народность — в Афганистане их примерно тысяч шестьдесят. Живут они в основном в северо-западном Афганистане по берегам реки Кушка и по северным склонам Парапамиза, вплоть до границы СССР. Я не специалист в этой области, но, сколько мне известно, вопрос о происхождении джемшидов изучен недостаточно. Некоторые авторы считают их народом тюркского или тюрко-монгольского происхождения, а другие — иранского происхождения. В персидской рукописи джемшида Ага-хана, составленной, по-видимому, на основе устных преданий, в частности, говорится, что они происходят от уроженцев области Гур и что они покинули свою первоначальную родину Иран после падения династии Сасанидов. До сих пор джемшиды разделяются на родо-племенные группы. Таких групп чуть ли не пятьдесят. Я не могу вспомнить всех, но крупнейшие из них кокчи, соузаки, муртузаи, халифати. Ведут они полукочевой образ жизни, занимаются скотоводством и земледелием, а говорят на языке фарси-кабули, называемом также «дари». Это, по сути, один из диалектов таджикского языка.

— Эти самые джемшиды — тема вашей диссертации? — спросила Таня.

— Нет, что вы... Диссертация моя посвящена идеологии народных и религиозных движений восьмого-девятого веков в странах Халифата.

— Такая древность? — удивилась Таня. — А каких именно движений?

Володя поправил очки, помолчал минутку, а затем медленно ответил:

— Трудно в двух словах рассказать о диссертации. Но, во всяком случае, прежде всего в ней идет речь о Бабеке — главе народного восстания в Хорасане в девятом веке. Бабек руководил им около тридцати лет. Это история человека, который создал новое государство, но думал, что людьми можно руководить, только обманывая их, только превратившись для них в непогрешимого бога. Однако оказалось, что если даже обманывать людей во имя их блага, все равно это в конце концов принесет страшный вред.

— Фюйть, — совсем по-мальчишески засвистел Волинский. — А вы уверены, что эта ваша диссертация именно о девятом веке? Не кажется ли вам, что в таком изложении, во всяком случае, она слишком напоминает историю другого человека, о культе личности которого так много говорят в наши дни. И поэтому, как сказал один поэт, «боюсь, что публика сквозь прелесть этой сказки совсем другое будет видеть тут».

Он быстро, искоса взглянул на Шарипова. Давлят вынул из мундштука окурочку сигареты и раздавил его в пепельнице.

— Не знаю, — медленно и серьезно сказал Володя. — Я не вижу здесь исторической параллели. — И со свойственной ему добросовестностью добавил: — Впрочем, быть может, потому, что мне известно так много подробностей о деятельности Бабека, что всякая параллель кажется мне несостоятельной.

— Но вот нашему дорогому хозяину, Николаю Ивановичу, — едва усмехнулся Волинский, — такая параллель, должно быть, кажется более обоснованной, чем вам.

— Почему же? — спросил Николай Иванович.

— Хотя бы потому, что вы, должно быть, больше, чем другие, ощутили на себе, к чему приводит положение в государстве, когда его руководитель превращается в бога.

— Нет, — сказал Николай Иванович. — Я не думаю, что ощутил больше, чем другие. Даже тогда, когда в период кампании против морганистов-вейсманистов я был арестован. Несмотря на то, что не был ни морганистом, ни вейсманистом и до сих пор убежден, что нельзя применять репрессии за те или иные научные взгляды.

— А чем же тогда поддерживать авторитет? — с нарочито преувеличенным ужасом поднял брови Волинский. — Чем прикажете его поддерживать?

— Авторитет не штаны. Его не нужно поддерживать. Ему не нужно и доверять. Уж на что авторитетным ученым и философом был Аристотель. Но он утверждал, что насекомые имеют восемь ног. Средневековые ученые-схоласты не решались

возражать авторитету великого учителя, да они попросту и не пытались проверить его слова. И вот понадобилась почти тысяча лет, чтобы кому-то пришло в голову посмотреть живое насекомое и убедиться, что у него шесть, а не восемь ног.

— Вам предъявили тогда какое-нибудь обвинение? — спросил Волинский. — Или к вам в дом пришел человек, который носит на службе военную форму, а в гости надевает штатское платье, — Волинский довольно выразительно посмотрел на Шарипова, — и предложил вам следовать за ним?

— Нет, я был арестован в Москве. Я приехал по вызову Академии наук — я тогда баллотировался в члены-корреспонденты. Но голосование, как вы понимаете, не состоялось. И обвинения в общем, конечно, тоже были выдвинуты, — с величайшим благодушием улыбнулся Николай Иванович. — Прежде всего мне припомнили, что я выступал против учения Павлова. Я действительно говорил и писал, что собаки, над которыми производил свои эксперименты Павлов, были поставлены в необычные условия, то есть что в нормальных условиях собаку никогда не затаскивают в специальный станок, не делают им сложных операций с фистулами, не заключают их в «башни молчания», и что поэтому поведение собак, очевидно, отличалось от того, каким бы оно было в условиях нормальных. Я и теперь убежден в этом. Далее, мне предъявили мою работу, в которой я утверждал, что теория Дарвина применима далеко не во всех случаях и кое в чем ошибочна. В обвинительном заключении указывалось, что своими работами я ниспровергаю основы социалистической науки, а следовательно, подрываю основы социалистического государства...

— А сознайтесь, судя по вашей статье в юбилейном сборнике, — сказал Волинский, — теперь вы и сами думаете, что критиковать Павлова было неосмотрительно.

— Нет, — резко ответил Николай Иванович. — Слишком много и так было у нас осмотрительных людей, которые писали осмотрительные романы, ставили осмотрительные кинофильмы и делали осмотрительные открытия... Имена их ты же, господи, веши!..

— Надо думать, — обратился Волинский к Володе, — что ваш «превратившийся в бога Бабек» тоже считал, что люди, утверждающие, будто у насекомого шесть, а не восемь ног, подрывают основы его государства?

— Нет, — терпеливо ответил Володя, — история не сохранила названий научных доктрин, которые он защищал или против которых боролся.

Глава восьмая, в которой пристально рассматриваются судьбы истории

Зашей себе глаза: пусть сердце будет глазом.

Руми

Он промолчал. Просто промолчал. Но почему? Ведь прежде ему и в голову не приходило, что с этим можно примириться.

Шарипов вспомнил, как 1 мая 1953 года они стояли перед управлением. Майор Кобызов, пожилой, неряшливый человек с апатичным выражением лица и глубокими складками на втором подбородке, ворчливо заметил:

— Для чего это они тащат портреты отца и учителя? — Мимо проходила колонна демонстрантов. — Со Сталиным покончено, и портреты эти годятся только на то, чтобы пугать детей.

Шарипов обернулся и изо всей силы наотмашь ладонью ударил Кобызова по щеке. Кобызов бросился на него. Их растащили.

Через день он получил строгое взыскание. Но не его, а Кобызова перевели в другой город.

А вот теперь он промолчал. Хотя всем в жизни и самой жизнью был обязан Сталину.

И он и его начальник Ведин рвались в действующую армию, подавали рапорт за рапортом. В конце концов их просьбу удовлетворили. Но Ведин стал чекистом, его направили в СМЕРШ, а Шарипова направили в специальное, краткосрочное по военному времени училище. Ему повезло — попасть в такое училище было совсем не просто: туда отбирали особенно проверенных людей. В нем готовили командиров гвардейских минометов — «катюш».

По обе стороны фронта о «катюшах» ходили легенды. Они появлялись на мгновение, обычно ночью, обстреливали расположение противника залпами термитных, все испепеляющих снарядов и снова исчезали.

Шарипов недолго пробыл командиром батареи — ему присвоили звание старшего лейтенанта и назначили командиром дивизиона гвардейских минометов.

Село Тополевка дважды переходило из рук в руки. Немцы

ввели в действие танки, и пехотный полк, основательно порастерявший свои силы при штурме Тополевки, отступил без приказа. Едва ли от полка остался батальон.

Шарипов получил приказ обстрелять Тополевку. Разведчики (дивизион имел свою разведку) сообщили, что после пяти залпов немцы бежали из села. И тогда Шарипов вопреки инструкции, по которой после обстрела дивизион был обязан возвратиться в тыл, в укрытие, бросил свой дивизион вперед. Он занял Тополевку. Под утро немцы перешли в контратаку. Из разведчиков, из заряжающих, из писарей Шарипов составил группу, вооруженную автоматами, карабинами, ручными пулеметами и гранатами, и принял бой. Он удерживал село свыше четырех часов, пока ему на помощь не подоспела пехотная часть.

Когда дивизион возвратился в тыл, Шарипов был арестован и предан суду военного трибунала.

Разбирательство было недолгим. Все было ясно. Его приговорили к расстрелу. За преступное нарушение приказа, в результате чего в руки противника могли попасть реактивные установки, снаряды или люди, обслуживающие гвардейские минометы.

Случилось так, что обо всем этом узнал приехавший в штаб армии корреспондент газеты «Красная звезда», писатель Евгений Петров. Приговор трибунала в отношении Шарипова показался ему несправедливым. Он связался со своей газетой, но редакция предупредила его, что такое выступление она опубликовать не сможет. И тогда Петров послал телеграмму Верховному главнокомандующему — Сталину.

По указанию Сталина Шарипову было присвоено звание Героя Советского Союза. В инструкцию о действиях гвардейских минометов были внесены изменения. Генерал Черняховский, который вызвал к себе Шарипова, взволнованно и увлеченно говорил ему, что сам присутствовал, когда на заседании Военного Совета Сталин вспомнил о Шарипове. Сталин сказал, что необходимо не осуждать, а всячески поддерживать таких людей, как Шарипов, поддерживать людей, которые ищут новых тактических приемов, проявляют инициативу.

— Чтобы победить,— сказал Сталин,— мы должны максимально использовать все наши средства. Уставами и инструкциями не предусмотреть всего, что может случиться в бою. Они должны изменяться по мере накопления военного опыта. Вы понимаете, сколько солдатских жизней спас этот Шарипов своей неожиданной атакой? А мы осудили этого человека.

На смерть. Этим самым мы связали инициативу и у других. Нельзя рабски подчиняться авторитету устава, его букве, а не духу.

— За Родину, за Сталина! — сорвавшимся хриплым голосом кричал Шарипов, командуя огнем своих гвардейских минометов.

«Сталин» — было первое слово, которое он произнес, когда пришел в сознание после ранения.

— За Сталина! — поднял он первый тост в День Победы.

И вот со дня смерти Сталина — как он плакал в тот день, как не мог примириться с тем, что не имеет возможности поехать в Москву на похороны, — с этого дня прошло восемь лет. И он молчит, когда о Сталине говорят с кривой презрительной ухмылочкой и сравнивают его с каким-то Бабеком.

В чем же дело?

«Дело в том, — думал Шарипов, — что прошло восемь лет. Восемь лет, за которые мы много узнали, многое поняли и многому научились».

Он вспомнил, как рассказывал Николай Иванович о своей первой встрече со следователем — молодым, исключительно интеллигентного вида человеком в пенсне.

— Павлов, — сказал Николай Иванович, — я был с ним знаком — сошел бы с ума, повесился бы на первом же дереве, если бы узнал, каким образом защищают его учение.

— Разрешите это занести в протокол? — вежливо спросил следователь.

— Заносите.

— И вы его подпишите?

— Подпишу.

— Вы не знаете, чем шутите, — сказал следователь, подавая Николаю Ивановичу протокол, куда он быстро успел записать эти слова.

— А я и не шучу, товарищ следователь, — заметил Николай Иванович, ставя свою подпись.

— Шутите, — улыбнулся следователь. — Называя меня товарищем. Я вам не товарищ, а гражданин следователь. Но это не самая смешная шутка. Самая смешная в том, что вы сейчас сами подтвердили свое намерение подорвать основы социалистического государства.

— Вы мне действительно не товарищ, — сказал Николай Иванович. — Ни вы, ни ваши начальники — можете это тоже занести в протокол. И вы и они плохо думаете о нашем государстве, если считаете, что его основы так легко подорвать,

Нет, у нас действительно самый прочный и самый перспективный строй, если его не могут поколебать даже такие люди, как вы. Я до сих пор был беспартийным. Но когда меня освободят,— а меня еще освободят,— я вступлю в партию. Потому что будущее за этим строем.

— И вы вступили? — спросил Шарипов.

— Да, вступил.

Глава девятая, в которой заходящее солнце бросает свои прощальные лучи

Насчет личной осведомленности автора этих заметок читатель может быть покоен.

Записки герцога Сен-Симона

Грише очень хотелось отправиться в космос. Но это вовсе не значило, что ему не нравилась жизнь здесь, на Земле. Нет, наоборот, он находил ее замечательной.

Правда, имелись отдельные недостатки, или, как говорил старший лейтенант Федоров, руководивший у них строевой подготовкой, недоработки. В частности, в Африке. Грише не нравилось, что империалисты протянули туда свою руку и не дают расправиться плечам угнетаемых колонизаторами африканских народов.

Не нравилось Грише и то, что, как об этом правильно писала «Комсомольская правда», разлагающееся искусство Запада оказывает тлетворное влияние на отдельных несознательных советских людей. Гриша имел в виду неприличный, по его мнению, танец рок-н-ролл, которым, как это выяснилось на заседании комсомольского бюро, увлекался даже один из комсомольцев, солдат их подразделения, а также абстракционистские картины, фотографии с которых публиковали журналы «Огонек» и «Крокодил».

Но в остальном все было очень хорошо. А если говорить лично о нем, о Грише Кинько, то можно даже сказать — замечательно. За отличное несение службы и бдительность, в результате которой была выявлена незарегистрированная радиостанция, старший сержант Кинько получил благодарность командования и внеочередное увольнение в город.

Он вошел в кафе — малолюдное и какое-то сумрачное в этот ранний час, — было занято только два столика. За одним сидела толстая усатая старуха с ребенком, а за другим — лысый толстяк в таджикском халате, надетом поверх обыкновенного костюма, — и сел за свободный столик.

Несмотря на то, что в кафе было так мало людей, он знал, что если это произойдет, то именно здесь. И знал, как это произойдет.

Он попросил официантку дать ему мороженого. Две порции. В одно блюдо. Смеси — сливочного и шоколадного.

А клубничного не класть. И два стакана сельтерской воды. С сиропом.

Это будет так. Она студентка первого курса с золотистыми волосами, заплетенными в две тяжелые косы — одна сзади, а другая нечаянно перебросилась вперед через плечо, — войдет в кафе и сядет за соседний столик. Он очень захочет с ней познакомиться, но не будет знать, как это сделать. И вместо того чтобы говорить всякие глупости, к которым, по их рассказам, прибегали его товарищи — вроде «извините, но я вас где-то видел», или: «простите, не вы уронили этот платочек», — он просто скажет:

— Вы не рассердитесь, если я сяду за ваш столик? У меня сегодня особенное настроение, я получил благодарность командования и увольнительную вне очереди, и мне бы хотелось начать этот счастливый день с разговора с вами.

— Что ж, садитесь, — скажет она, перебрасывая назад за плечо свою золотую косу.

Ему принесли мороженое, и, чуть отодвинувшись и наклонившись над столом, так, чтобы не капнуть на штаны, он принялся за него, зачерпывая ложечкой поочередно то сливочное, то шоколадное.

— Не правда ли, вы учитесь? — спросит он.

— Да, — ответит она.

— Скажите, пожалуйста, — в каком учебном заведении?

— В педагогическом институте, на литературном отделении.

— Это мечта моей жизни, — скажет он, — поступить в вуз. Только мне хочется поступить на радиофакультет, потому что это мое любимое дело. А литературу я тоже очень люблю и много читаю. Я недавно прочел книгу одного иностранного писателя Генриха Манна. Она называется «Доктор Фаустус». Мне ее дали в нашей библиотеке. Библиотекарь говорил, что книга очень сложная и я, может быть, не все пойму. Но я все понял. А вы читали эту книжку?

— Да, — ответит она, — читала. Но книжка эта в самом деле очень трудная, и я не поняла, какую же музыку все-таки писал ее главный герой.

— На этот вопрос очень трудно ответить. Но я думаю, что эта музыка была похожа на музыку великого немецкого композитора Людвиг ван Бетховена.

— А вы вообще музыку любите? — спросит она.

— Я очень люблю музыку, — ответит он. — И симфонии таких великих композиторов, как Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, и народные песни. Я не люблю только вся-

кие рок-н-роллы и буги-вуги, потому что в них, по-моему, нет никакой музыки, а только кошачьи завывания.

— Мы с вами одинаково смотрим на этот вопрос, — скажет она.

Затем они вместе выйдут из кафе, и окажется, что у нее сегодня свободный день и она согласна показать ему город и его исторические памятники. И они пойдут по городу, а затем в кино. И после кино он ее проводит к дому и задержит при прощании ее руку в своей. И спросит:

— Если я вам напишу письмо, вы мне ответите?

— Я обязательно вам отвечу, — скажет она.

— Семьдесят три, — скажет Гриша на прощание.

— Что это значит? — заинтересуется она.

— Это международный радиокод. А что это значит, я вам расскажу при следующей встрече.

И они расстанутся. В следующую увольнительную он снова обязательно с ней встретится. Затем она придет в их клуб по его приглашению, как раз, когда он будет выступать на вечере самодеятельности. Читать стихи Маяковского о советском паспорте. Они еще больше подружатся, полюбят друг друга, и она даст слово ждать его, пока он не вернется из армии.

Но может быть, и вообще не стоит увольняться из армии? Он поступит в училище и станет офицером, а она поедет с ним. Он будет служить в радиолокационной части, расположенной далеко, у самой границы, а она будет учить детей в местной школе. Он будет помогать ей в хозяйстве. Он никогда не будет стесняться помочь ей помыть полы или посуду или приготовить обед. Офицерской чести он этим не уронит. Наоборот, офицерскую честь роняет тот, кто не помогает своей жене и ссорится с ней на людях. А когда заходящее солнце бросит на землю свои прощальные лучи, они будут вместе садиться за стол и учить английский язык.

Гриша доел мороженое. Она не приходила. Он расплатился и вышел на улицу.

Грише очень нравилось отдавать честь встречным военным. Он считал это замечательным обычаем. И, поднося руку к козырьку, он каждый раз невольно улыбался, и улыбались ему в ответ встреченные им прохожие, и хмурились лейтенанты — улыбка при приветствии не предусмотрена уставом.

Его остановил молодой человек в синем суконном пиджаке, клетчатой рубашке и новенькой кепке с маленьким козырьком, которая очень не шла его усталому, озабоченному лицу.

— Скажите, товарищ старший сержант,— спросил человек,— чи не знаете вы, в каком месте расположена военная часть почтовый ящик 5763?

Это был номер части, в которой служил Гриша.

— Я не могу вам этого сказать,— поколебавшись, ответил старший сержант.— Тут близко военный комендант— зайдите в комендатуру, и вам там точно укажут.

Гришу не раз удивляло, почему перед отпуском в город солдат постоянно предупреждали, чтоб они никому не говорили, в какой части служат и где она находится, хотя любой мальчишка в городе знал, где их часть. Но приказ есть приказ, как говорил старший лейтенант Федоров.

— Сын у меня заболел,— сказал человек в суконном пиджаке.— Первый год служит, и что-то такое у него с ногами. Не писал, не писал, а потом на тебе — болен. И жинка в одну душу — поезжай да поезжай. Так я самолетом — за пять часов с Москвы. Как с нашего села в область автобусом.

— А вы откуда?

— С Украины. С Полтавщины.

— Пойдемте, я покажу вам, где комендант,— предложил Гриша, переходя на украинский язык.

— А вы откуда?

— С Винничины. Из села Чернятка — может, слышали?

— Земляк, значит... Нет, не слышал. Украина большая.

— Это верно,— подтвердил Гриша.— А какая фамилия вашего сына?

— Такая же, как моя. Коваленко. Григорий Коваленко.

Нет, Гриша не встречал такого солдата. Их часть тоже была большой.

Они медленно шагали по улице; Гриша не забывал подносить руку к козырьку при встрече со всяким военным старше его в звании и с удовольствием разговаривал на своем родном, плавном и мягком, певучем украинском языке.

— Это вы напрасно так беспокоитесь,— говорил он.— Не стоило и приезжать. У нас тут замечательная военная медицина, и с сыном вашим будет все вполне благополучно.

— Мать волнуется,— отвечал Коваленко.— Жена моя, значит. Один он у нас. Один сын как один глаз.

Он не говорил о том, как встревожен он сам, как любит сына, как ждет с ним встречи и страшится ее, но Гриша все это понял по тому, как дрожал голос Коваленко, когда говорил он о сыне, как хмурились брови и дергались губы. И хоть сын Коваленко был солдатом-первогодком и заболел чем-то таким, а Грише Кинько было присвоено звание старшего

сержанта и он получил благодарность командования, а он, Гриша, поменялся бы с этим сыном и званием и благодарностью, лишь бы иметь такого отца.

Гриша не помнил своего отца. Погиб на фронте. И мать умерла, когда он ходил в седьмой класс. А человеку нужен отец, думал Гриша. Нужен отец, чтоб он вот так волновался и скрывал это, если с тобой что-либо случилось, и мать, что бы послать отца к сыну за тысячу километров.

Вспомнились Грише его Украина и степи Украины. Ровная, широкая, благодатная земля — такая любимая, что горло сжимает, когда вспомнишь, как по созревающим хлебам прокатит волны ветер, как обдаст лицо горячим воздухом, насыщенный медвяным, чуть горьковатым запахом цветущей желтой сурепы, розовой повители и перистой полыни... Вдоль Буга — цепочкой курганы — могилы казахи, а вот и скрытая в густых вишневых садах Чернятка с белыми — самыми белыми в мире! — стенами хат. Из далеких и близких сел приезжают сюда за белой глиной, которую копают здесь в глубоких колодцах, — в Китае называют эту сверкающую снежной белизной глину каолином, а на Винничине — «черняткой», по имени села. Четыре раза на год мать белила хату.

Он вспомнил свою мать — колхозную доярку, у которой постоянно болели пальцы, тихую, молчаливую, по хате она всегда ходила на цыпочках и только иной раз подойдет к Грише, когда сидит он за уроками, проведет жесткой, натруженной рукой по волосам и щеке и скажет: «Учись, учись, сынку... А я йисты зготую. И повечеряемо вдвох...» Она всегда говорила: позавтракаем вдвоем, пообедаем вдвоем, поужинаем вдвоем. Видно, когда ждала отца с войны, мечтала, что втроем с мужем и сыном будет это делать. И никогда не забывала, что остались они вдвоем.

— Я вас подожду,— предложил Гриша Коваленко,— и покажу вам дорогу, когда вы узнаете адрес части.

— Спасибо за ласку, товарищ старший сержант,— с достоинством поблагодарил Коваленко.

Спустя некоторое время он вышел из комендатуры, повеселевший и потный.

— Все узнал,— сказал он, утирая лицо платком.— А вышел я, чтоб вы не беспокоились. Комендант позвонил по телефону на этот самый почтовый ящик, и сказали, что сыну уже лучше. Уже ходит,— сказал он так, как, вероятно, говорил, когда его Гриша делал свои первые шаги в отцовской хате.— И провожать меня не нужно — комендант сказал, что даст машину.

Старший сержант Гриша Кинько попрощался с земляком и, искренне радуясь, что неизвестному ему солдату Григорию Коваленко стало лучше, отправился в телевизионное ателье. Ему очень хотелось выслушать мнение опытного радиотехника Александра Александровича о возникшей у него радиотехнической идее.

— Не будете ли вы так добры,— сказал он миловидной девушке—приемщице заказов на ремонт телевизоров,— не скажете ли, где сейчас Александр Александрович?

— Он ушел, но предупредил, что вернется через час. А час уже почти прошел. Посидите, почитайте вот журнал. Он, наверное, скоро вернется.

Гриша сел в глубокое мягкое кресло перед круглым полированным столиком с журналами и газетами, выбрал «Огонек», открыл последнюю страничку и погрузился в необыкновенно интересную статью о том, как на огороде при посадке картофеля нашли клад царских золотых монет.

С Александром Александровичем Ибрагимовым Гриша познакомился совсем недавно. Гриша стоял в довольно большой очереди к кассе кинотеатра. Человека, который остановился за ним, Гриша сначала принял за иностранца— туриста или даже дипломата. На нем был пиджак, который, если посмотреть под одним углом, казался красноватым, а под другим— синеватым; в руке он держал плащ— на внутренней стороне воротника виднелась яркая марка: «Made in USA» — «Сделано в США»; обут он был в невиданные Гришей туфли— черные, остроносые, на шипах из какого-то белого синтетического материала; и разговаривал он со своей спутницей под стать ему— во всем заграничном, с выкрашенными позаграничному волосами в неестественно светлый цвет— на английском языке; Гриша учил в школе этот язык и хотя не мог понять ни одного слова из того, что они говорили, но знал точно, что это английский язык.

И вдруг иностранец по-русски— правда, с акцентом, но совсем небольшим— спросил, не может ли Гриша взять два билета для него и для его спутницы: они должны ненадолго уйти, он оставит Грише деньги. Гриша охотно согласился— и не пожалел об этом. Александр Александрович Ибрагимов не был никаким иностранцем. А с акцентом он говорил потому, что был азербайджанцем по национальности. Не был он и директором телевизионного ателье, как решил Гриша, когда узнал, что он работает в этом учреждении. Он был просто мастером по ремонту телевизоров.

Познакомил он Гришу и со своей спутницей. Она препода-

вала английский язык на курсах иностранных языков, и Александр Александрович преувеличенно торжественно сказал Грише: «Это моя учительница».

Он был необыкновенно веселым, добрым и приятным человеком, этот Александр Александрович, а как узнал Гриша впоследствии— и необыкновенным специалистом в своем деле. Лучшим специалистом в телеателье по ремонту телевизоров. Только год тому назад он уволился из армии, где работал тоже по радиоспециальности— ремонтировал радиолокационные установки, и эта военная специальность, как понял Гриша, очень ему пригодилась на гражданке.

Когда Гриша перед началом сеанса в фойе кинотеатра рассказал Ибрагимову, что мечтает стать инженером-радиостом, Ибрагимов пригласил Гришу в свободное время заходить в телеателье— познакомиться с новыми марками телевизоров, новыми приборами.

— Это очень вам пригодится,— сказал Ибрагимов.— Вы— военный связист, значит, некоторую подготовку уже имеете. Если вы за время службы в армии изучите еще и ремонт телевизоров, вы потом, когда демобилизуетесь, будете иметь хорошую гражданскую специальность. Дело это перспективное, телевизоров у людей все больше, портятся они, слава богу, все чаще,— он весело подмигнул своей спутнице,— и специалистов по ремонту требуется очень много... А учиться в институте можно и даже нужно— заочно.

В дверях ателье показался Александр Александрович. Гриша поднялся ему навстречу.

— А-а, старший сержант Григорий Осипович,— обрадовался Ибрагимов. Он был первым и пока единственным человеком, который звал Гришу по имени и отчеству.— Что это с вами случилось? Как это вы попали в город в будний день?

— Я получил благодарность командования и увольнительную вне очереди,— похвастался Гриша.

— За что же благодарность?

— Вы не сердитесь,— покраснел Гриша,— но я не могу ответить на ваш вопрос. Это военная тайна.

— Это нехорошо,— строго сказал Ибрагимов.— Нехорошо вы ответили. Я служил в армии побольше, чем вы, и дам вам совет— никогда не отвечайте «военная тайна». Это всегда обращает на себя внимание, вызывает любопытство. Лучше проявить военную хитрость и сказать: «За отличную стрельбу», или: «За ремонт материальной части». Понятно?

— Понятно,— ответил Гриша, досадуя на себя, что так невежливо, непродуманно ответил Александру Александровичу.



— Значит, будем считать инцидент исчерпанным. А теперь сдадим этой красивой девушке выполненные наряды и пойдем завтракать. Шашлык-бастурму любите?

— Я уже завтракал,— нерешительно отказался Гриша.

— Так разве из этого вытекает, что нельзя позавтракать второй раз, когда вас приглашает хороший знакомый? Как говорит пословица: «Палка на палку плохо, а завтрак на завтрак — одно удовольствие».

— Я пришел по делу,— сказал Гриша.—Я хотел с вами посоветоваться...

— За завтраком и посоветуемся.

В шашлычной Александра Александровича встретили как старого знакомого.

— Сейчас, сейчас,— засуетился официант.— Шашлык, конечно?

— Бастурму. И понятно, водки — триста для начала... И может, пива? — спросил он у Гриши.

— Я не пью ни водки, ни пива,— виновато ответил Гриша.

— Никогда?

— Никогда.

— А вино?

— И вина тоже не пью.

— Вот так штука,— удивился Александр Александрович.— Тогда принесите для Григория Осиповича минеральной воды. Нужно же хоть так отметить благодарность командования. А пока нам будут жарить шашлык, можно и посоветоваться. Так в чем дело?

— Я даже не знаю, как сказать... Понимаете...

— Все понимаю,— улыбнулся Александр Александрович.— Деньги нужны. В долг...

— Да нет, что вы...

— Не стесняйтесь, старший сержант,— перебил его Ибрагимов.— Я вас с удовольствием выручу. Хоть сию минуту. Много вам нужно?..

Он полез в карман.

— Да нет, Александр Александрович... Спасибо большое. Но деньги мне не нужны,— сказал тронутый его добротой Гриша.— Тут дело в одной идее... Так сказать, военно-технической...

— Что ж, можно рассмотреть и идею... А деньги в самом деле не нужны?

— Спасибо, совсем не нужны. К чему военному деньги?

— Особенно не пьющему и не курящему,— поддержал его Ибрагимов.— Так какая же это у вас идея?

— Я вот думал,— сказал Гриша,— можно создать такие ракеты... Понимаете, такие ракеты, чтобы они были самоуправляемые. Чтобы они сами летели туда, где работает радиолокационная станция. По ее лучу. Ведь радиолокаторы защищают самые важные объекты, кроме того, и сами ракеты управляются локаторами. И если создать такие ракеты, они сами точно попадут на ракетные базы и так далее... Это, конечно, только замысел. Чтобы его выполнить, нужны специалисты...

— Молодец! — удивленно покачал головой Ибрагимов.— Просто молодец. Замечательный замысел. И по-моему, его вполне можно выполнить. Я вам советую, дорогой товарищ старший сержант Григорий Осипович, сообщить об этом в военный радионститут... А сейчас давайте займемся шашлыком и выпьем за ваш замысел. Налить немножко?

— Нет,— ответил Гриша.— Я нарзан выпью. Вы только не обижайтесь.

— За что же тут можно обижаться?

Такого вкусного шашлыка Гриша не ел никогда в жизни.

Глава десятая, которая называется „Что они думали“, как, впрочем, следовало бы назвать всю эту книгу

Не все ли равно, что я делаю. Спросите,
что я думаю.

Ж. Ренар

— ...стоит ли за это ложить жизнь,— закончила свою длинную и путаную мысль Зина.

Шарипова передернуло. «Ложить». Особенно его раздражало в Зине то, как она калечила русский язык. Это было странное, ревнивое чувство. Ему самому знание русского языка стоило большого труда. И когда другие выражались неправильно, небрежно, не заботясь о слове, у него было такое чувство, какое было бы, наверное, у художника, если бы на его глазах превосходную любимую картину кто-то мазал грязью или плевал бы на нее.

«Вначале было слово...» Он не мог бы найти лучшего выражения для того, чтобы объяснить самому себе свой жизненный путь.

Зимой с 1942 на 1943 год после тяжелого ранения в грудь — осколок перебил ребро и застрял в легком — он попал в госпиталь, в Уфу. В палате, куда его положили, на соседней койке лежал пожилой человек с круглой лысой головой, маленькими, щеточкой усами над большим ртом и таким лицом, что, посмотрев на него, Шарипов подумал: доброта, как и злость, оставляет свои следы на лице. Максим Автономович Барышев до войны работал директором сельской школы, а в военное время стал комиссаром батальона.

Максим Автономович часто поправлял Шарипова, который к этому времени — шутка сказать, командир дивизиона гвардейских минометов, Герой Советского Союза! — чувствовал себя уверенней и меньше стеснялся того, что плохо говорит по-русски.

— Нужно говорить не «два человек», а «два человека», — в очередной раз перебил он Давлята.

— Ви меня понял? — вспыхнул Шарипов. — Это главное!..

— Этого недостаточно, — возразил Максим Автономович. Спустя некоторое время он спросил у Шарипова:

— Вот скажите, вы замечали, как все, о чем вы думаете,

любая ваша мысль, даже не произнесенная вслух, все равно состоит из слов, что думаете вы словами?

— Не знаю... — сказал Шарипов. — Почему словами? Когда я думаю, я вижу... Горы вижу, всадника вижу, или танк вижу, или речку.

— Но при этом вы знаете название всего того, что воображаете. А если вы подумаете, что, к примеру, «социалистическая революция освободила народы, которые угнетались царским правительством», вы уж тут никаких картинок не увидите, а будете думать только словами. Слова неотделимы от мыслей. И вот что главное: чем больше у человека в запасе слов, тем больше у него в запасе мыслей, тем более умным, более знающим будет такой человек.

На следующий день Давлят нерешительно спросил у Максима Автономовича:

— Не смогли бы вы учиться со мной русскому языку... в свободное время?

— Не учиться, а учить, — хитро прищурился Максим Автономович. — Можно. Но язык — это как здоровье. Немного зависит от врача и все — от больного.

Это было время, когда Давлят учился по двадцать четыре часа в сутки. Даже во сне. Даже сны его состояли из русских слов во всех их падежах, склонениях и спряжениях.

Прославленный диктор московского радио — Левитан едва ли представлял себе, какую роль сыграл он в жизни Давлята Шарипова. Слушая последние известия, Шарипов потом повторял каждое слово, осваивая произношение, ударения и даже интонацию Левитана. Он заучивал на память целые страницы Гоголя, Чехова, Шолохова. Любимым его занятием стала придуманная Максимом Автономовичем игра в «очко». Максим Автономович брал в руки добытый для этой цели в библиотеке госпиталя Толковый словарь русского языка или словарь иностранных слов и, открыв книгу на первой попавшейся страничке, прочитывал подряд двадцать одно слово. Давлят их записывал, а затем должен был растолковать каждое из них. Потом они менялись. У Максима Автономовича были все основания удивляться успехам своего ученика — месяца через три Давлят, случалось, обыгрывал в «очко» старого учителя, хотя он и перестал поддаваться, как часто поступал вначале.

Русский язык! Великий русский язык, которым многие так пренебрегают только потому, что слышат его и говорят на нем со дня рождения. На многие годы он стал для Шарипова предметом самой большой его заботы, источником чис-

той радости и надежным подспорьем в решении важнейших вопросов, связанных с его жизнью и работой.

Он понимал, что Зина, пожалуй, не была бы ему симпатичней, если бы она даже не калечила языка. Но эта ее черта особенно раздражала Давлята.

«Как мало все-таки мы знаем о людях, которые нас окружают,— думал Шарипов.— Вот Ведин. Я его знаю много лет. Я знаю о нем все, что можно знать о близком товарище. И все-таки никогда не пойму, как он может так бережно, так нежно разговаривать с Зиной. Это непонятно. Или он совсем по-другому, чем я, смотрит на Зину, а следовательно, и на всех других людей, или постоянно притворяется. А как относится к Зине Ольга? Надо будет как-нибудь осторожно расспросить. Но, во всяком случае, когда Зина разговаривает, Ольга не смотрит ей в лицо, как бывает в тех случаях, когда стыдно за человека».

— Стоит ли за это ложить жизнь? — сказала Зина.

«Почему она всегда так разговаривает, словно все вокруг нее в чем-то перед ней виноваты?» — подумала Ольга.

Ольга вспомнила, как Зина резко и неожиданно спросила у нее: «А вам не страшно в вашем институте резать трупы?»

Ольга ответила, что они уже теперь не режут трупов, но когда резали, ей это вначале действительно было страшно.

«Вот это правда», — сказала Зина так, словно все, что говорила Ольга перед тем, было неправдой. И стала рассказывать, что она не боялась трупов, что пронесла на себе три километра раненого, который по дороге умер, но все равно донесла его.

Как это часто бывает с людьми, не привыкшими вслух излагать свои мысли, она говорила о прошедших событиях в настоящем времени: «Тащу я, значит, на спине труп...»

Ведин осторожно попытался перевести разговор на другую тему.

— Ты меня не перебивай,— раздраженно прервала его Зина.— Я на фронте была не меньше, чем ты или Давлят. И орден Красного Знамени я получала в то время, когда заработать его было не так легко, как теперь. Тогда не давали Красное Знамя за выслугу лет.

Это была странная женщина. Она странно вела себя. Непонятно. Взять хотя бы то, что, когда они поднимались в

Доме офицеров по лестнице, она останавливалась на каждой площадке и оборачивалась вокруг себя. А когда они вместе пошли в театр, в антракте при своем муже и Шарипове она предложила: «Ну, вы, мужчины, оставайтесь здесь, а мы пойдем в женскую уборную. Или вам не нужно?» Ольга не знала, что сказать, покраснела, растерялась. «Вы не стесняйтесь,— сказала Зина,— это дело обычное, естественное».

«Интересно,— думала Ольга,— как относится к этой Зине Давлят? Мне кажется, что его подчеркнутая почтительность вызвана именно тем, что он хочет скрыть свою неприязнь к жене Ведина. А как сам Ведин? Очевидно, они прожили вместе много лет, привыкли друг к другу, и то, что мне кажется странным и необычным в Зине, для Ведина привычно и знакомо, а может быть, и приятно?»

— Стоит ли за это ложить жизнь? — спросила Зина.

«Не знаю,— подумал Ведин.— Не знаю».

Тогда ему казалось, что он не сможет жить. Что всему конец. Он тогда приехал на следствие в маленький районный центр на станцию Чептура. Днем много и напряженно работал, а вечером со своим знакомым — следователем районной прокуратуры ходил в местный клуб. Там танцевали под радиолу. Ведин не танцевал, в клубе ему было скучно.

Однажды, в конце рабочего дня, когда ему понадобилось посмотреть в связи со следствием, которое он вел, подшивку республиканской газеты за прошлый год, он зашел в районную библиотеку. И за деревянной некрашеной стойкой, отделявшей половину комнаты, предназначенную для посетителей, от другой половины, где стояли полки с книгами, он увидел девушку, прекраснее которой он не встречал ни до этого дня, ни после него. Он даже не знал, какая она. Он и сейчас не помнил ее лица и, может быть, не узнал бы ее. Он знал только, что она прекрасна, что она прекраснее всех на свете.

Он до сих пор не понимал, как у него хватило решимости заговорить с ней, познакомиться и проводить ее от библиотеки к дому, на другой конец городка.

Ее звали Саррой. Из эвакуированных. Она жила с родителями, училась в десятом классе вечерней школы и работала библиотекарем. Оказалось, что она бывала в клубе и заметила там Василия. А он недоумевал, как мог не обратиться на нее внимания. Только при мысли о ней, только при взгляде ее двух черных солнц, бьющих из-под ресниц, у него сдавли-

вало сердце. Краски в те дни казались ему ярче, запах сильнее, и мир, и земля, и деревья, и цветы казались ему лишь вчера сотворенными.

Никто и никогда в жизни не относился к нему с таким безграничным, с таким всеобъемлющим доверием и доверчивостью, как Сарра. Родители чуть не запирали ее за то, что она «гуляет» с военным. И все равно они встречались каждый вечер, и Сарра возвращалась домой глубокой ночью.

Он скрыл от нее, что был женат и имел ребенка. Он не мог этого ей сказать. Если бы он сказал это, Сарра не осталась бы с ним ни минуты. Она любила в первый раз и могла любить только такого человека, который любит впервые. Он знал, что женится на ней, потому что жить без нее больше не сможет.

Во всю свою жизнь он не целовался так много, как в эти дни с Саррой. Он никогда не представлял себе, что в поцелуях может крыться такое глубокое, такое бесконечное наслаждение, такая любовь и такое счастье. Он рассказывал о себе, и, наверное, за всю жизнь ему не случилось говорить о себе так много. Он никогда не знал, что в рассказах о себе, в воспоминаниях о детстве, о школьных днях может быть такой интерес для близкого тебе человека, такое бесконечное понимание.

Она была очень нежной, его Сарра, безмерно нежной с ним, бесконечно нежной и ласковой. Он знал, что в любой из этих вечеров мог бы сделать ее и совсем своей, но оберегал ее доверчивость от слишком грубой ласки, от неосторожного движения.

Он закончил следствие. Он должен был возвратиться в Душанбе, чтобы передать дело военной прокуратуре, а затем собирался снова приехать за Саррой.

В Душанбе, в своей маленькой холостяцкой комнатухе, он застал Зину. Он ничего не слышал о ней с начала войны и считал ее погибшей.

Он сделал все необходимое для того, чтобы не показать Зине, как он растерялся. Он понимал, что не может, что не имеет права в первый же день ее приезда сказать, что собирается жениться на другой. Она вернулась из госпиталя. Но он знал, что через несколько дней обязательно скажет о своем решении.

Уже к вечеру он твердо понял, что никогда не расстанется с Зиной. Она показала ему выписку из истории болезни. Инвалид второй группы. С психическим заболеванием. Он не мог оставить больную жену.

На следующий день он послал Сарре телеграмму. В телеграмме легче лгать, чем в письме. Он сообщил: «Уезжаю далеко длительную командировку. Возможно, навсегда. Прости, если сможешь».

Он очень много работал в те дни. И много пил. Зине и в голову не приходило, что до ее приезда он вообще не пил и не курил. Он очень заботился о Зине. Чем больше он думал наедине с собой, страшась этих мыслей, о том, как плохо, что она вернулась, тем заботливее, тем внимательнее он был.

Но однажды он не выдержал. Это было больше, чем через месяц после того, как он послал телеграмму. В тот день он понял, что больше не может. Будь что будет.

Он взял в гараже большую открытую машину — «додж 3/4». Сам уселся за руль. Стрелка спидометра не сходила с цифры «80 миль». Он выехал в девять часов вечера, а к десяти уже был в Чептуре. С визгом затормозил у ее дома. Взлетел на крыльцо.

— Опоздали,— ответила на его вопрос какая-то женщина.— Сегодня утром уехали. В одиннадцать тридцать.

— Куда?

— К себе на родину. На Донбасс.

Это было удивительно — как он сумел вывести машину за районный центр. Там он остановился прямо в поле. И всю ночь просидел на пружинном высоком сиденье, куря папиросу за папиросой.

Сарра. Любовь. Жизнь.

Во всем, что он думал после этого, черное было черным, белое — белым; а жизнь получалась серой, как дорожная пыль...

Нет!.. Все это не так!.. Он не считал себя несчастным. У него был долг. Перед Родиной. И он платил его своей работой. У него был долг. Перед больной женой. И он платил его своим к ней отношением. Он был исправным должником. Но в конце концов не так ли живут многие другие люди на этом свете?

— Стоит ли за это ложить жизнь? — глядя в пол, произнесла Зина.

Она много раз пыталась отдать свою жизнь. Может быть, во всем этом вестибюле театра, заполненном в антракте людьми, не было ни одного человека, который бы так мало дорожил жизнью, как она.

Перед самой войной она поехала на лето с сыном — годо-

валым Сашкой — к своим родителям на станцию Котельниково. Она рвалась уехать назад, к мужу, но Ведин собирался в действующую армию и написал ей, что лучше остаться пока с родителями.

Это случилось 11 июня 1942 года. С утра она пошла на почту. В это время начался воздушный налет на станцию. Она побежала домой, а вокруг нее загорались и взлетали в воздух дома, отвратительно, выворачивая душу, были бомбы, воздух был заполнен тревожными гудками паровозов на станции, зловещим гулом немецких самолетов и слабыми криками людей.

Она бежала по улице, где горел один дом, второй, третий. Их дом остался цел. Все было в порядке. Задыхаясь, она вошла в сени, зачерпнула воды из ведра и открыла двери в комнату. В доме было пусто. Ни души.

Тогда она выскочила через заднюю дверь в огород, где в конце, под самым забором, отец ее выкопал глубокую и узкую щель на случай бомбежки. Возле забора что-то дымилось. На тряпичных, слабых ногах она побежала по огороду.

Небольшая бомба угодила прямо в щель. Погибли все. Все до одного. Ее сын Сашка. Ее отец Антон Иванович. Ее мать Мария Петровна. Младшая сестра Дуня. Племянник — восьмилетний Павлуша — сын старшего брата, который был на фронте. Дальняя родственница старуха Василина. Все.

Были бомбы. Хлопали зенитки. Гудели самолеты. А она бегала по огороду и приговаривала: «Их всех убило, а я жива... Их всех убило, а я жива...» Потом она побежала на станцию, хватала за руки солдат и все приговаривала: «Их всех убило, а я жива...»

Ее подобрал фельдшер из полевого госпиталя. Она осталась при госпитале. Санитаркой. А имела среднее медицинское образование. Затем через месяц, через два, когда немного пришла в себя, попросилась в действующую часть. Не было в их полку человека, который так мало дорожил бы жизнью, как она. Лазила в самый огонь. Никогда не ложилась при свисте пуль, при визге мин, при взрывах снарядов. Невысокая, кряжистая, выносила на себе раненых из самого ада. И пуля ее не брала.

Дважды ее контузило во время бомбежек. После второго раза она помешалась. Ей все казалось, что голова ее прочными и тонкими прозрачными лентами связана с небом. Запоминала, сколько раз за день обернулась вокруг себя, а вечером перед сном столько же раз оборачивалась в обратном направлении, чтобы ленты не скрутились.

Трудно и медленно шло выздоровление. А привычка подсчитывать обороты и раскручивать ленты осталась до сих пор, хоть была здорова и понимала, что никаких лент нет.

Пока была в армии, даже не узнавала о муже, гнала все мысли о нем: не могла сообщить, что Сашка погиб. А когда вышла из госпиталя — больная, бесконечно одинокая, — поехала к мужу.

Никогда не спрашивала его о том, был ли у него кто-то, кроме нее. Но чувствовала, что-то такое было. Знала, что разбила что-то своим приездом, что помешала чему-то своим присутствием. И не могла с собой справиться. Чем внимательней, чем бережней относился к ней муж, тем больше грубила, тем становилась раздражительней и резче. Так, словно испытывала его терпение. Так, словно добивалась, чтоб он не выдержал, чтоб оставил ее. Так, словно мстила ему за то, что больше не может иметь детей, — а ему очень хотелось ребенка.

— А я вам говорю, — упрямо повторила Зина, — что много таких случаев, когда у людей дети были хорошими детьми, а выросли такой дрянью, что и смотреть противно. Так стоит ли за это ложить жизнь?

Глава одиннадцатая, из которой следует, что человек в афганском халате вовсе не утонул, а был убит

Следует предпочитать невозможное вероятное возможному, но маловероятному.

Аристотель

Баю, милый, баю,
Песню начинаю
О коне высоком,
Что воды не хочет.
Черной, черной, черной
Меж ветвей склоненных
Та вода казалась.
Кто нам скажет, мальчик,
Что в воде той было?..

Шарипов вспомнил, как много лет назад он впервые увидел на столе у своего начальника Степана Кирилловича Ковалева, тогда еще майора, раскрытый томик со странным текстом, напечатанным на неизвестном Шарипову языке. Короткие, столбцом, строки начинались перевернутыми вниз головой восклицательными или вопросительными знаками и заканчивались такими же знаками, но поставленными правильно.

— Гарсиа Лорка,— сказал Степан Кириллович.— Испанский поэт. Расстрелян фашистами.— И, закрыв томик, добавил: — Я был с ним знаком.

Он снова открыл томик и прочел нараспев несколько ритмичных, загадочно звучащих строк.

— О чем это? — спросил Шарипов.

— О высоком коне, который не хочет пить воду. Потому что в воде этой — кровь.

Так Шарипов узнал, что Степан Кириллович был в Испании, и впервые услышал о Гарсиа Лорке.

Он достал все, что было издано Гарсиа Лоркой на русском языке. Стихи этого испанского поэта были первыми русскими стихами, которые он знал на память.

Усни, мой сыночек,
Конь воды не хочет,—

вспомнил Шарипов, заметив на столе Степана Кирилловича раскрытый томик Гарсиа Лорки, и сказал без улыбки:

— Кто нам скажет, мальчик, что в воде той было.

— Никто не скажет... Садитесь,— предложил генерал Шарипову и Ведину.

Лицо Степана Кирилловича с распухшим носом, с синеватыми мешками под глазами, с седыми неровными бровями казалось сегодня особенно внушительным и привлекательным.

— Никто не скажет,— повторил Степан Кириллович строго.— Нужно выяснить самим. Во всяком случае, мальчик, которому я это поручил, плохо справился со своим делом. И вам, товарищи начальники, не мешает знать, чем объясняет этот мальчик свой промах. Тем, что, когда выполнял поручение, был расстроен «личными обстоятельствами».

Он посмотрел на Шарипова, и Шарипов отвел взгляд.

«Как все связано в этом мире,— подумал Шарипов.— Олин отец, Николай Иванович, рассказывал, что рой пчел представляет собой организм, где каждая пчела составляет как бы клеточку этого единого существа — пчелиного роя. Но, может быть, жителю другой планеты все наше человеческое общество тоже представилось бы в виде огромного сложного организма, состоящего из отдельных клеток-людей... А впрочем, все это чепуха. Если бы уж я в чем-то промазал, то не стал бы объяснять это «личными обстоятельствами». Особенно такими». После отъезда Аксенова, которого посылали разобратся в том, кто такой таджик, утонувший в Мухре, дежурный районного отделения милиции, рассматривая принадлежавшие покойному добротные мукки — высокие сапоги местного изготовления из коричневой сыромятной кожи, с острыми, загнутыми вверх носами и узкими высокими каблуками,— совершенно случайно повернул один из каблуков и убедился, что он свинчивается. В каблуке находилась небольшая алюминиевая камора — совершенно пустая.

В Савсор вертолетом были доставлены следователи и эксперты. Они произвели эксгумацию трупа. В области затылочного бугра черепа покойника была обнаружена трещина, в которой застрял обломившийся кусочек заостренной стали, похожий на крошечный обломок лезвия большого ножа или тесака. Эксперты засвидетельствовали, что, если бы, скажем, острый стальной предмет с таким краем даже находился среди камней в реке, покойник не смог бы так удариться о него затылком. Следовательно, перед тем как человек этот попал в Мухр, ему был нанесен удар сзади.

Следователи и эксперты проверили каждый миллиметр одежды покойного, но больше ничего подозрительного обнаружить не удалось. Между тем Коваль считал, что незарегист-

рированный передатчик необходимо искать прежде всего где-то в местности, близкой от места гибели человека в афганском халате.

«Когда вор приходит в дом, он не берет с собой колокольчика», — часто повторял Коваль старую английскую поговорку. Его, Коваль, профессия и состояла в том, чтобы незаметно подвесить такой колокольчик. И у них уже был «колокольчик» — агент иностранной разведки — человек странный и легкомысленный.

— Так вот, товарищи, познакомьтесь с этими письмами, — предложил Коваль.

Он вынул из папки, лежавшей на столе, три листика бумаги и протянул один из них Ведину, другой — Шарипову, а третий оставил себе.

На разлинованном в фиолетовую клетку листе, вырванном из школьной тетради, Шарипов прочел:

«Мне известно, какой беспорядок имеется в штабах, и поэтому я посылаю письмо трем адресатам.

1. Начальнику генерального штаба Советской Армии.
2. Начальнику управления связи Министерства обороны Советского Союза.
3. Начальнику отдела радарной службы генерального штаба.

Мне известно, что одно из государств — предполагаемых противников Советского Союза в будущей войне обладает самонаводящимися ракетами, которые ориентируются по волнам радарных станций противника. Если эти ракеты будут применены в войне, то такая акция полностью дезорганизует оборону. Ракеты сами выберут своей целью любой из действующих радаров. Без службы радаров станет невозможным перехват баллистических ракет и сверхскоростных самолетов.

Надеюсь, что сообщенный мной факт станет известен соответствующим специалистам в этой области, которые смогут с целью контробороны создать снаряды такого же характера».

Подписи под письмом не было.

— Что вы об этом думаете? — обратился Коваль к Ведину.

Ведин помолчал, а затем спросил:

— Откуда были отправлены эти письма?

— Из Душанбе. Одновременно. Их бросили в почтовый ящик на вокзале. Все три совпадают слово в слово.

Шарипов взял в руки конверт. Он был самодельный, из той же самой бумаги в фиолетовую клеточку, на какой было написано письмо.

— Это не открытие, — сказал Ведин. — О ракетах, которые наводятся таким образом, как пишут в этих письмах, я слышал уже давно. Это, по-моему, ни для кого не секрет.

— Верно, — согласился Коваль. — О снарядах, самонаводящихся по частотам радиолокационных станций, в Америке, например, открыто сообщалось еще в 1957 году. — Он вынул из папки лист бумаги, надел очки и прочел: — «Американский управляемый снаряд воздух — земля «баллпан» фирмы «Мартин» имеет согласно сообщениям чрезвычайно простую систему самонаведения по сигналам неприятельских радиолокаторов, что позволяет его эффективно использовать для поражения разнообразных сухопутных и морских целей». Это выписка из американского журнала за 1957 год номер двадцать два, страница двадцать три.

Он вынул из папки еще один лист.

— А вот выписка из журнала за 1960 год номер одиннадцать. «Фирма «Авиацион уик», являющаяся главным подрядчиком военно-морского флота США, размещает заказы на изготовление управляемых снарядов «корвус» класса воздух — поверхность на 25 миллионов долларов. Система наведения включает в себя радиолокационный приемник на снаряде, самонаводящийся на частоты радиолокационных станций противника. Фирма «Дженераль электрон» разрабатывает вычислительную машину для определения ошибки системы наведения».

— Письмо написано на листках из школьной тетради, — продолжал Ведин, — и пером № 86 или похожим. Быть может, это проделка какого-нибудь школьника?..

— Хм. — Коваль вынул из папки еще один лист. — Вот выводы графической экспертизы. Перо не автоматическое, типа школьного № 86. Писал пожилой человек в возрасте за шестьдесят лет.

— Возможно, — неохотно согласился Ведин. — Но если даже это и пожилой человек, то скорее всего он шизофреник с манией преследования. Если бы это был человек, который самостоятельно пришел к открытию, сделанному задолго до него, если бы это был очередной «изобретатель велосипеда», то он не скрывал бы своего имени. Он бы обязательно указал фамилию и адрес. А главное, сообщил бы хоть несколько слов о том, как он пришел к этим мыслям.

— Едва ли это шизофреник, — возразил Шарипов. — При психическом расстройстве, и особенно при мании преследования, человек, который написал письмо, объяснил бы в нем, почему он не подписался. Было бы хоть несколько слов о том, что

его преследует американская или даже люксембургская разведка, или что его мысли подслушивают по радио, или еще что-нибудь в этом роде.

— Вот заключение эксперта-психиатра,— вынул Коваль еще один лист из своей папки.— Оно совпадает с мнением Давлята Шариповича. Эксперт считает, что письмо написано человеком психически здоровым.

— Я пока не вижу особенного психического здоровья в этом сочинении,— возразил Ведин.— А чего стоят выводы экспертов-психиатров, да еще сделанные на основании одного письма, мы знаем... Единственное, что мне показалось здесь странным,— как-то непривычно в таком тексте звучит слово «акция». И еще — «радар». У нас обычно говорят «радиолокатор».

— Не знаю,— задумался Коваль.— Пожалуй, в этом отношении большего внимания заслуживают первые слова письма: «Мне известно, какой беспорядок имеется в штабах». Это очень перекликается с распространенным английским выражением: «Там, где кончается порядок,— там начинается штаб».

Коваль вышел из-за стола, тяжело шагая, прошелся по кабинету, посмотрел в окно, заслоненное высокими тополями, и снова вернулся на место.

— Так вот,— обратился он к Ведину,— иной версии, кроме того, что это написал шизофреник, у вас нет?

— Пока нет.

— А у вас? — спросил Коваль у Шарипова.

— Есть. Будем считать,— сказал Шарипов,— что письма действительно написал пожилой человек. Возможно, интеллигент, возможно, иностранного происхождения. Мне кажется, что этот человек косвенно связан с агентами, организовавшими радиопередачу. Краем уха он слышал о том, как может быть использовано знание частот радиолокаторов. Но вместе с тем человек этот сам не связан с радиолокационной службой, мало разбирается в этих вопросах. Совесть, или чувство патриотизма, или, возможно, обида, нанесенная ему агентурой или людьми, связанными с агентурой, заставили его написать письма. Но сообщить о том, кто он такой, он не может, так как каким-то образом сам замешан в этом деле. Это пока все.

— Так,— сказал Коваль.— У вас есть какие-нибудь возражения? — спросил он у Ведина.

— Нет,— ответил Ведин.— Это одна из тысячи возможных версий. Или даже из десяти тысяч. Но я не вижу в этих письмах достаточных фактов, которые бы ее подтверждали.

— Хм,— нахмурился Коваль.— А у меня сложилась несколько иная версия. Мне думалось, что письма эти, возможно, написаны иностранным агентом с какой-то провокационной целью. Чтобы отвлечь от чего-то внимание. Но от чего именно, я пока не знаю...— он едва заметно усмехнулся.— Что ж, существует очень простой и надежный способ проверить наши версии. Для этого достаточно выяснить, кто же все-таки написал эти письма.— Он помолчал.— Так вот, дорогие товарищи, за этим я вас и вызвал. Задача не из легких. Так сказать, не по арифметике, а по алгебре. Как говорят контрразведчики в шпионских фильмах,— со многими неизвестными. Но решить ее нужно.

«Кто нам скажет, мальчик,
Что в воде той было?» —

подумал Шарипов, выходя из кабинета генерала Ковалья.

Глава двенадцатая, в которой Шарипов построили сапоги

Более высокое положение! Пусть мухи и мыльные пузыри летят вверх и занимают более высокое положение. Если бы на земле было побольше умных сапожников и портных, свет бы стоял чуть покрепче, чем теперь.

Г. Бергштедт

Шарипов избегал встреч с Садыковым. И, как всегда бывает в таких случаях, встречался с ним чаще, чем можно было предполагать, хотя у них не было общих знакомых и работали они в областях очень далеких.

Он встречал его то на улице, то на избирательном участке, а однажды он увидел Садыкова на экране телевизора — показывали участников какого-то совещания не то торговых работников, не то местной промышленности.

И при каждом таком случае Шарипов вспоминал его не таким, каким видел его в прошлый раз, а таким, каким был Садыков в тот зимний день, когда он стоял перед столом Степана Кирилловича — пришибленный, худенький, маленький, а за окном падал на землю чистый, белый, пушистый снег.

Был ли он действительно так виноват, как ему казалось в тот день? У госпиталя дежурил Садыков. Но Шарипов хотел во что бы то ни стало сделать тот снимок, который ему не удался. Нужна была фотография графа Глуховского — он это понимал. Очень нужна была. Она бы и теперь пригодилась, если жив еще этот граф. Он снова забрался на чердак здания бывшей школы, превращенной в госпиталь для солдат армии Андерса. Сфотографировать графа ему так и не удалось. И когда он возвращался, увидел, как через боковые двери во двор вышел таджик в рваном халате и торопливо направился к ишаку, привязанному к забору. Шарипов подошел поближе, и тогда человек в халате прикрыл лицо рукавом и погнался к выходу. «Хрр, — подгонял он ишака, — хрр». Это «хрр» и обмануло Шарипова. Он решил, что это не Глуховский — так мог покрикивать только человек, с детства подгонявший ишаков. Это и еще то, что он выругался по-таджикски, когда ишак задержался в воротах.

Он промолчал тогда о том, что видел этого таджика на ишаке. Коваль не простил бы ему, что он упустил графа Глу-

ховского. Садыков был человеком новым, с него спрос меньше, и то Степан Кириллович предложил ему уйти в интенданты.

А ведь могло все случиться иначе. Если бы он сказал. Могло случиться так, что Коваль предложил бы ему, Шарипову, перейти в интендантство. А Садыков остался бы...

«Нет, — подумал Шарипов. — Я бы не ушел. Я бы ни за что не ушел. Я бы упросил Степана Кирилловича. Это единственное, о чем я мог бы просить даже на коленях. Но я промолчал. И не люблю вспоминать об этом».

Ну что ж, судя по тому, как выглядел Садыков сегодня, он ни разу не пожалел, что перешел в интендантство. Это был толстый, преуспевающий человек, самоуверенный и шумный, в пиджаке из серой шерсти, в кремовой крепдешиновой рубашке, в парчовой тюбетейке художественной работы. Большой начальник. Директор винсовхоза.

Шарипов шел к управлению, когда вдруг у края тротуара резко затормозила «Волга», из машины выкатился Садыков, поздоровался, снисходительно посмеиваясь, спросил у Шарипова, почему тот до сих пор ходит в майорах, почему не присваивают подполковника, а затем долго не отпускал Давлята, приглашая его пообедать.

— Как же так? Служивцы были, одним делом занимались... А ты у меня дома ни разу не был... Послушай, — вдруг удивился Садыков, — ведь ты даже где я живу не знаешь. Поедем.

«У этих бывших интендантов, — отметил про себя Шарипов, — была, видимо, неплохо развита способность убеждать других совершать непреднамеренные действия». Он сдался.

Очевидно, Садыков находился на вершине своих жизненных успехов. Очевидно, ему было совершенно необходимо похвастаться перед Шариповым тем, чего он достиг, доказать ему, а заодно и себе, что он не ошибся, когда перешел в интендантство.

Садыков водил его по всем четырем комнатам своей квартиры — комнатам, со вкусом обставленным превосходной чешской мебелью, с креслами, сиденья и спинки которых были набиты губчатой пластмассой, а ножки торчали врозь, как у ягненка, впервые поднявшегося на ноги. С дорогими коврами. С полированным шкафом, которым Садыков особенно гордился. «Комбайн», — сказал он. — Такой только у меня и у министра. Этот шкаф соединял в себе телевизор, радиоприемник, проигрыватель и магнитофон.

Впечатление портили картины. Они висели на стенах в тяжелых золотых рамах. Копии с «Утра в сосновом лесу» Шишкина, «Девятого вала» Айвазовского и еще с «Княжны Таракановой». Княжна Тараканова почему-то была в двух комнатах. В ванной стены были выложены белой фаянсовой плиткой, пол покрыт красным резиновым ковром, на кухне стояли две газовые плиты и два холодильника.

У Садыкова было трое детей, но в квартире не чувствовалось, что здесь живут дети.

— Старший, Галиб, в школе, — сказал Садыков.

А младшие, две девочки, в кишлаке у родственников, как выразился Садыков, «дышат воздухом». Жена Садыкова, татарка, по имени Римма, инженер-химик, все свое время, очевидно, отдавала науке — Садыков объяснил, что она учится в заочной аспирантуре.

Садыков сам быстро и умело накрыл стол, приготовил закуски, откупорил штопором дорогой армянский коньяк и неуловимым, легким движением стукнул кулаком по дну белоголовой замороженной бутылки водки так, что пробка ровно на две трети выдвинулась из горлышка.

— Вот так и живем, — повторял Садыков. — Хорошо, понимаешь, живем...

Говорить ему, видимо, было не о чем. После второй рюмки у него посоловели глаза, и Шарипов решил, что он принадлежит к числу тех, впрочем, довольно распространенных людей, которые охотнее угощают вином других, чем пьют сами.

— Так что ж, — вдруг спросил Садыков. — Так и пропал после того граф Глуховский? — Он смотрел вниз на пробку от коньяка. Он резал ее поперек новым тупым столовым ножом с серебряной ручкой.

— Не знаю, — сдержанно ответил Шарипов. — Мне больше не приходилось заниматься этим делом.

— Но если бы он попался... Я думаю, ты бы знал?..

— Совсем не обязательно, — сказал Шарипов. — Как ты знаешь, каждый у нас занимается своим делом... — Он помолчал и, не удержавшись, добавил: — И мы никогда не спрашиваем друг друга.

Садыков разрезал пробку, смел ее со скатерти в ладонь и бросил в тарелку с остатками салата.

— Ты сапоги еще носишь? — спросил он внезапно. — Или только полуботинки?

— Слушается, и сапоги, — ответил Давлят настороженно.

— Это я почему спрашиваю? Это я потому спрашиваю, что мне теперь сапоги ни к чему. В машине езжу. Пешком не хожу.

А на склад Главторгснаба поступил замечательный товар. Только очень мало. Совсем мало. Я сказал оставить для меня. У меня там знакомство. Но мне не нужно. Тебе уступлю. Такой товар, что сапоги будешь носить ты, а потом дети, а потом внуки. И все будут новые. Ты женат уже? — спросил он вдруг быстро и трезво.

— Нет еще.

— Дети и внуки будут носить, — снова повторил Садыков. — Если дед Иван сошьет. Поедем? Ты такого товара еще не видал.

Он вышел в соседнюю комнату и громко, так, чтобы услышал Шарипов, сказал в телефонную трубку:

— Машину Садыкову.

Сейчас же вернулся и самодовольно предложил:

— Пойдем на улицу. Машина уже внизу.

По дороге, откинувшись на заднее сиденье «Волги», он долго рассказывал Шарипову о деде Иване, замечательном сапожнике.

— У меня работал. В сапожной мастерской. Когда я военным командовал. Теперь не то. Теперь в районной мастерской работает. Старый. Но если я скажу, сапоги сделает.

По словам Садыкова, этому старику было чуть ли не сто лет; он шил сапоги генералам и офицерам русской армии в Кушке, еще задолго до революции, сам генерал — забыл как звали, немецкая фамилия — наградил мастера ста рублями за парадные сапоги.

Машина остановилась, но Садыков остался на месте, загоразивая выход Шарипову.

— Трудное это было время, когда мы служили вместе, — сказал он со вздохом. — Но хорошее. Хорошее потому, что мы всегда говорили правду. Только правду...

— То есть как? — насторожился Шарипов.

— А так... Просто мы работали не ради денег, а ради правды. Ну, давай посмотрим товар.

Товар и впрямь оказался редкостным — необыкновенно эластичный и прочный хром, издававший тот особый, ни с чем не сравнимый запах, по которому знаменитая французская парфюмерная фирма назвала лучшие свои духи «Русской кожей». Хороша была и подошва — толстая, словно литая.

Дед Иван, лысый, болезненный старичок с монгольской раздвоенной бородкой и редкими желтыми усами, долго мял товар в руках, хмыкал, затем сказал, покашливая:

— Можно построить. Построим. И будут сапоги. Русского фасону: чтоб на вид — выходной, а на ноге — рабочий.

— А когда же вы «построите»? — спросил Давлят.
— Быстро нужно, дед Иван, — вмешался Садыков.
— Вот тут, против нас, — портняжная мастерская, — сказал старик, — портняжки, значит, там работают. Так они даже штаны не к спеху шьют. А вот сколько сшил я за жизнь сапог этих — не пересчитать. И всегда чтоб срочно, чтоб к завтраму. Не может человек ждать, пока сапоги сошьют... — он улыбнулся снисходительно и ласково, посмотрел на Шарипова голубыми, ничуть не выцветшими детскими глазами. — Ладно уж... За двенадцать дней построим.

— Почему же за двенадцать?

— Работа такая, — с достоинством ответил сапожник. — Вот сейчас размеры снимем, а через три дня на подробную примерку придешь.

Через три дня заинтересованный Давлят снова пришел к деду Ивану. «Строительство» сапог оказалось и впрямь делом необыкновенно сложным и ответственным.

— Вот сюда, — объяснил старик, — между верхами и подкладкой рыбий пузырь кладется. Он у рыбы такой, что в одну сторону, наружу, значит, всякий дух пропускает, а в другую все сдерживает. А в голенище тоже своя прокладка идет — холст, в олифе варенный. Шьется все дратвою самодельною, а каблук на медных гвоздиках. Тогда настоящий сапог и получится.

Шарипов осмотрел рыбий пузырь, провел пальцем по жирному холсту, предназначенному на прокладку, и с удивлением спросил:

— И так вы все сапоги делаете?

— Только так и делаю. В моих сапогах по далеким краям, да не по одному году люди ходили.

— А фасон какой?

— А фасон у русского сапога только один бывает. Правильнее сказать — два: рабочий или выходной. Это всякие туфли, или ботинки, или вот теперь босоножки стали робить на разные фасоны. А настоящий сапог, как человек, на один фасон делается.

...Когда Шарипов надел новые, просторные и вместе с тем ловко сидевшие на ноге сапоги и нерешительно полез в карман за деньгами — он понимал, что за такую работу старику следует заплатить особо, — дед Иван сказал:

— С этим ты погоди. Выйдем-ка сначала. Сапожки замочить надо.

— Как замочить? Неужели ты, дедушка, водку пьешь?

— Случается, что и пью. А как замочить, сейчас увидишь.

Он подвел Давлята к неглубокому арыку во дворе и предложил:

— Вот ты войди в воду да походи по канавке. Так только, чтобы водица за голенище не перехлестывала.

Шарипов вошел в арык. Это было странное ощущение — прохладно и сухо.

— Можешь так хоть день ходить, хоть два, а воды не почувствуешь, — сказал старик.

Когда Шарипов вышел из арыка, старик предложил:

— А теперь стукни ногой о землю. Покрепче!

Шарипов притопнул каблуками.

— Попробуй рукою сапог. Помни его рукою.

Давлят попробовал. Сапоги были совершенно сухими. Капли воды скатывались с них, как ртуть.

Шарипов полез рукой не в тот карман, где лежали предназначенные для старика деньги, а в другой, где денег было значительно больше.

«А ведь это мне бы следовало организовать строительство сапог для Садыкова, — подумал он, — а не ему для меня».

Глава тринадцатая, о таракане, мученике науки

Сэр Пирс: Нет, нет, война у всех нас вызвала необыкновенный душевный подъем. Мир уже никогда не будет прежним. Это невозможно после такой войны.
О'Флаэрти: Все так говорят, сэр. Но я-то никакой разницы не вижу. Это все страх и возбуждение, а когда страсти поулягутся, люди опять примутся за старое...

Б. Шоу

— Природа вовсе не обделила тараканов,— сказал Николай Иванович.— Мы просто еще очень мало знаем о тараканах. И о природе.

— Это мученик науки, а не просто таракан,— с улыбкой заметила Таня.— Но все равно, если это подтвердится, я поверю в телепатию.

— Телепатия здесь ни при чем.

— Придется, наверное, ставить памятник вашему таракану, так же как поставили памятник павловской собаке,— сказал Володя.— Но неужели только это насекомое обладает способностью так реагировать на человеческий взгляд?

— Не думаю. Необходимо проделать еще тысячи и тысячи экспериментов на разных насекомых, а может быть, и животных, нужно создать новые методики и новые приборы. Я давно замечал, что этот вид таракана — а я избрал его для экспериментов еще в тридцатых годах — он неприхотлив, хорошо размножается, легко поддается обучению, — что этот вид таракана обладает любопытным свойством: под действием человеческого взгляда он на какое-то небольшое время — на секунду, на две, на три — замирает. Но лишь после того, как мы научились вводить в нервные окончания насекомого тончайшие электроды, соединенные с катодным осциллографом, то есть только теперь, удалось установить, какие же органы таракана воспринимают этот взгляд — вернее, излучение, природу которого мы еще не знаем.

— И ваша лаборатория сейчас устанавливает природу этих излучений?

— Да, совместно с физиками-электрониками. Вавилов писал когда-то, что глаз представляет собой модель солнца. Если это так — а это, несомненно, так, — то он должен не только воспринимать лучи, но и излучать.

— Не понимаю,— сказала Таня.— Чем же глаз похож на солнце? Только тем, что круглый? И с ресничками, как с лучиками?

Николай Иванович посмотрел на Таню с искренним удивлением.

— Но зачем же так прямолинейно? — сказал он не сразу.— Ну вот, скажем, швейная машина является, бесспорно, моделью пальцев швеи. Но разве она похожа на пальцы? Речь идет не об этом, а о том, что только на планете, освещаемой солнцем, в результате эволюции мог возникнуть глаз, и именно такой глаз.

— Но что же все-таки излучает этот глаз?

— Не знаю... Какую-то нервную энергию. Вот недавно президент английского королевского научного общества лорд Адриан установил, что над различными участками человеческого черепа можно обнаружить электромагнитные волны с частотой от одного до двадцати периодов в секунду. Он считает, что волны эти, эти излучения как-то связаны с эмоциональным состоянием человека.

— И может быть, эта нервная энергия, эти излучения проникают сквозь все, как космические лучи,— медленно сказала Таня.

— Ну уж сразу — как космические.

— Да,— вызывающе сказала Таня.— И вот можно представить себе, как наш космический корабль, ну вроде того, что описал Ефремов, вылетел далеко за пределы солнечной системы на планету, населенную какими-то разумными существами... Поговорили о том, о сем, а затем жители этой Альфы Центавра и спрашивают: «А что служит у вас источником энергии?» — «Солнце,— отвечают наши.— А у вас?» — «А у нас Земля». — «То есть как это Земля?» И вот окажется, что их мельницы и карусели, колеса трамваев и паруса судов — что все на свете у них движется нервной энергией, излучаемой с Земли, нервной энергией людей. И тамошние центаврские ученые удивляются, что никак не могут установить закономерности в поступлении энергии, почти так же, как наши ученые толком не определили закономерностей деятельности Солнца. Эти центаврские ученые жалуются нашим на то, что время от времени происходят спады. Вот как сейчас, например, когда населению из-за недостатка энергии приходится во всяких «удобствах» ставить лампочки поменьше. Но зато с 1941 по 1945 земной год у них было такое изобилие энергии, что на улицах горел свет даже днем, а фонтаны работали и зимой.

— Э, да ты милитаристка,— перебил Таню Николай Иванович.

Беседа неожиданно приняла новый поворот: действительно ли взлеты нервной энергии свойственны только периодам войны?

— Можете называть меня как угодно,— в конце концов сказала Таня,— милитаристом, поджигателем, но я убеждена, что единство народа, которое сложилось у нас во время войны, является прообразом того единства людей, которое будет достигнуто лишь при коммунизме.

Володя слушал Таню со все возрастающим удивлением. Он видел ее на сцене, и ему тогда показалось, что ей не хватает энергии, что ли. Или не энергии, а, вернее, жизненной силы. Нет, и не этого — просто не хватало обаяния, он нашел, наконец, это слово.

Но сейчас в ней было все: и энергия, и сила, и удивительное обаяние — все смотрели на нее с удовольствием, любовались ею и ждали, что она скажет.

— Да,— подтвердил Шарипов,— несмотря на все трудности, несмотря на всю жестокость этого времени, люди тогда совсем по-особому относились друг к другу. Я тоже думал об этом. Может быть, потому что тогда произошла какая-то, как говорится, переоценка ценностей. Оказалось, что человеку не нужны ни машина, ни квартира, ни деньги, а нужно одно: победа.

У него и сейчас было трудное время. Может быть, труднее, чем для иных в войну. Нужно было скорей, как можно скорей, нужно было немедленно решить целый ряд совершенно неразрешимых вопросов. Не за что было уцепиться. Какие-то обрывки нитей, ведущих туда — к mine, поставленной на боевой взвод. Нужно было их обрезать. И всегда и постоянно работа его состояла в поисках этих нитей, как для геолога — в поисках нефти, для энтомолога — жуков и бабочек и археолога — костей и черепков. Работа. Просто работа. Но если бы у него спросили, что было у него лучшего в жизни, кроме работы, он бы ответил: этот дом, Ольга, которая сидела на диване рядом с ним. Эти вечера со спорами даже о том, что всегда представлялось ему бесспорным.

— Война,— возразил Вольтер, обращаясь не к Шарипову или Тане, а к Володе,— это было время, когда людьми двигал импульс страха. Наиболее стадный и отвратительный импульс. И я вообще не понимаю, как могут здравомыслящие люди вспоминать о войне иначе, чем о времени ужаса и безумия. Я уверен, что историки будущего вообще пропустят годы,

занятые войнами, как годы, ничего не давшие истории, как годы, тянувшие человечество назад, как годы, когда время остановилось.

— В таком случае историкам пришлось бы вовсе отказаться от своей науки,— поправил очки Володя.— Подсчитано, что со времен Пунических войн, то есть с 264 года до нашей эры, мирных лет было всего шесть с половиной. И однако, время не остановилось, человечество развивалось и сейчас — на пороге использования атомной энергии и освоения космоса...

— Это все верно,— улыбнулась Анна Тимофеевна. И Володя подумал, что у Татьяны такая же обезоруживающая и добрая улыбка.— Но лучше все-таки, когда единство людей вызвано миром, а не войной. Я читала где-то, что в будущем люди будут воевать только с природой. Может быть, оно уже наступило, это будущее? Странно, мы вчера говорили об этом с Николаем Ивановичем, но чем больше люди знают, тем меньше они знают. Перед дикарем никогда не стояло столько неясных вопросов, столько загадок природы, как перед современным человеком. Мы вот подсчитывали... В астрономии мы не знаем, что собой представляют иные галактики и почему они удаляются от нас. Как возникают сверхновые звезды. У нас гостил академик Богоявленский — он говорит, что астрономия делает первые шаги. Геологи не могут пока объяснить, чем были вызваны ледники, занимавшие пространства от Скандинавских гор до Средиземного моря. Чем объясняется такое похолодание Земли. Мы не знаем, как зародилась жизнь на Земле, почему из микроскопической клетки вырастает человек, как образуются и действуют ферменты, мы не можем различить одних простейших частиц материи от других простейших частиц.

— И мы часто не можем отличить правду от лжи,— сумрачно, словно про себя, сказал Шарипов.

— Узнавать все это — это и значит различать правду от лжи,— строго сказала Анна Тимофеевна.— И такие вопросы мы с Николаем Ивановичем перечисляли целый вечер, а чем дальше, тем их будет больше. Как это ты говорил о дыне? — обратилась она к мужу.

— Я говорил, что некоторые люди считают,— сказал Николай Иванович,— будто бы полоски на дыне лишь для того, чтобы семье было удобнее разделить ее за обедом. Другие думают, что они ошибаются, и ищут иной целесообразности. Мы все сводим к целесообразности. Но целесообразность — это не так просто. Цветы привлекают насекомых. Ну, а плоды? Почему каштаны окрашены в такой цвет, что нет ему иного

названия, кроме «каштановый»? Почему яблоки румяные, а сливы фиолетовые? И еще сто тысяч почему. Ученые отвечают: «игра природы». Но не может же природа постоянно играть. И в действительности никто не знает, почему на дыне полоски. А когда мы это выясним, мы, быть может, дойдем до самых глубоких тайн жизни, в сравнении с которыми открытие атомной энергии покажется незначительным этапом в истории цивилизации.

Все молчали.

— А что бы это нам дало? — спросил Володя.

— Нужно думать, что мы бы научились тогда создавать из мертвой природы живую. Я не знаю, когда человечество достигнет этого. Но я уверен, что теория поведения, с которой, собственно, начался этот разговор, внесет вклад, во всяком случае, в более глубокое и правильное понимание природы.

«Теория поведения, — подумал Шарипов. — Я не смог бы назвать другую теорию, столь далекую от практики, как эта. Ведь это значит — теория поступков».

— Неужели, — спросил он, — вы считаете, что наступит время, когда можно будет заранее определить, как поступит каждый человек в каждом конкретном случае? — Он закурил. — Зажжет ли он спичку, чиркнув ею по коробке от себя или к себе, положит он коробку на стол или в карман. Встанет он после этого или останется на месте.

— Я не думаю, что науке придется выяснять такие вопросы, — ответил Николай Иванович. — Тем более что выяснять это практически, даже в далеком будущем, мне представляется почти невозможным. Кибернетическую машину, управляющую полетом самонаводящегося спутника, который движется, скажем, вокруг Земли, можно, очевидно, поставить на стол. Но если бы мы захотели создать машину, которая в совершенстве имитировала бы все, что делает обыкновенный муравей, нам пришлось бы создать установку таких размеров, что она не уместилась бы даже во всем здании Московского университета со всеми его крыльями и пристройками. А ведь муравей не очень сложное насекомое. Но если мы действительно стоим на материалистических позициях, если мы не индетерминисты и верим в причины всех явлений, то мы уверены и в том, что, определив все причины, можно предугадать явление. Таким образом, мы сможем со временем, при дальнейшем развитии науки создать теорию и предусмотреть поведение тех или иных живых существ, вначале таких простых, как насекомые, а со временем и таких сложных, как люди... В наше время — и это не мое наблюдение — все значительные откры-

тия происходят на стыках наук. Вот я и думаю, что на стыке таких наук, как биология, психология и другие естественные науки, и кибернетики и будет создана такая теория.

— Мне трудно вам возражать, — сказал Волынский, — так как все это лишь область догадок, чистый полет фантазии. Но я вспоминаю — я закончил институт в Киеве, — как иногда у нас устраивали вечера отдыха вместе с политехниками. И политехники весело распевали песенку. В ней были такие слова:

Нам электричество сделать все сумеет,
Нам электричество мрак и тьму развеет,
Нам электричество наделает дела:
Надавишь кнопку — чик-чирик, поехала, пошла.

Я не помню следующего куплета, но дальше было так:

Не будет старых, нет, легко омолодиться.
Не будет пап и мам — мы сможем так родиться.
Не будет акушеров, не будет докторов:
Надавишь кнопку — чик-чирик, и человек готов.

Так вот то, что я слышу в последнее время о кибернетике, напоминает мне эту песенку.

Он запел чуть гнусаво, пародируя энтузиазм:

Нам кибернетика сделать все сумеет,
Нам кибернетика мрак и тьму развеет...

Я за практику. Может быть, со временем с помощью этой самой кибернетики достигнут даже регенерации человеческих органов. И хирурги больше не будут ампутировать гангренозные конечности. Наоборот, если человеку оторвет ногу, кибернетики отрастят ему новую. Но пока я больше всего доверяю моему скальпелю.

«Я тоже за практику, — подумал Шарипов. — И даже за скальпель. Но нужно знать, что именно ампутировать. — Он вспомнил, как перед уходом из управления перерыл целый ворох донесений — и хоть бы одна ниточка. Если бы они (про себя этих людей он всегда называл они) допустили какой-нибудь промах, — думал он. — Не могут же они не ошибаться... Нужны нити. Хоть бы одна. Придется выжидать. А ждать нельзя...»

Глава четырнадцатая, из которой становится известно, какие же слова были пропущены в письме

Я передаю, а не
сочиняю.
Конфуций

Сэр,

В письме Вашем Вы позволяете мне, не стесняясь, высказать мое суждение о том, что может быть для Вас полезным в путешествии, поэтому и делая это значительно свободнее, чем было бы прилично в ином случае. Я изложу сначала некоторые общие правила, из которых многое, думаю, Вам уже известно; но если хотя бы некоторые из них были бы для Вас новы, то они искупят остальное; если же окажется известным все, то буду наказан больше я, писавший письмо, чем Вы, его читающий.

Когда Вы будете в новом для Вас обществе, то: 1) наблюдайте нравы; 2) принаравливайтесь к ним, и Ваши отношения будут более свободны и откровенны; 3) в разговорах задавайте вопросы и выражайте сомнения, не высказывая решительных утверждений и не затевая споров: дело путешественника учиться, а не учить. Кроме того, это убедит Ваших знакомых в том, что Вы питаете к ним большое уважение, и расположит к большей общительности в отношении нового для Вас. Ничто не приводит так быстро к забвению приличий и ссорам, как решительность утверждения. Вы мало или ничего не выиграете, если будете казаться умнее или менее невежественным, чем общество, в котором Вы находитесь; 4) реже осуждайте вещи, как бы плохи они ни были, или делайте это умеренно из опасения неожиданно отказаться неприятным образом от своего мнения. Безопаснее хвалить вещь более того, чего она заслуживает, чем осуждать ее по заслугам, ибо похвалы не часто встречают противоречия или по крайней мере не воспринимаются столь болезненно людьми, иначе думающими, как осуждение; легче всего приобрести расположение людей кажущимся одобрением и похвалой того, что им нравится. Остерегайтесь только делать это путем сравнений; 5) если Вы будете оскорблены, то в чужой стране лучше смолчать или свернуть на шутку, хоть бы и с некоторым бесчестием, чем стараться отомстить; ибо в первом случае Ваша репутация не испортится, когда Вы вернетесь в Англию или попадете в другое общество, не слыжавшее о Вашей ссоре. Во втором случае Вы можете сохранить следы ссоры на всю жизнь, если только вообще выйдете из нее живым. Если же положение будет безвыходным, то полагаю, лучше всего сдерживать свою страсть и язык в пределах умеренного тона, не раздражая противника и его друзей, не доводя дело до новых оскорблений. Одним словом, если разум будет господствовать над страстью, то он и осторожность станут Вашими лучшими защитниками. Примите к сведению, что оправдания в таком роде, например: «Он вел себя столь вызывающе, что я не мог сдержаться», понятны друзьям, но не имеют значения для посторонних, обнаруживая только слабость путешественника.

К этому я могу прибавить несколько общих указаний по поводу исследований и наблюдений, которые сейчас пришли мне в голову. Например: 1) надо следить за политикой, благосостоянием и государственными делами

наций насколько это возможно для отдельного путешественника; 2) узнать налог на разные группы населения, торговлю и примечательные товары; 3) законы и обычаи, поскольку они отличаются от наших; 4) торговлю и искусство, насколько они выше или ниже, чем у нас в Англии; 5) укрепления, которые попадутся Вам на пути, их тип, силу, преимущества обороны и прочие военные обстоятельства, имеющие значение; 6) силу и уважение, которым пользуются дворяне и магистрат; 7) время может быть не бесполезно потрачено на составление каталога имен и деяний людей, наиболее замечательных в каждой нации по уму, учености или уважению; 8) наблюдайте механизмы и способ управления кораблями; 9) наблюдайте естественные продукты природы, в особенности в рудниках, способ их разработки, извлечение металлов и минералов и их очищение; 10) цены съестных припасов и других предметов; 11) главные продукты данной страны.

Эти общие указания (которые я мог сейчас придумать) могут, во всяком случае, пригодиться при составлении плана Вашего путешествия.

Я очень устал и, не вдаваясь в долгие комплименты, желаю Вам только доброго пути, и да будет господь с Вами.

Ис. Ньютон

— Я не специалист в этой области,— сказал Рустам Курбанов, прочитав письмо, и Шарипов отметил про себя, что сказал он это точно так, как говорил постоянно эти слова Владимир Неслюдов.— Но, насколько я помню, это действительно письмо Ньютона кембриджцу Астону, который был секретарем Королевского общества. Это не трудно уточнить...

Опираясь на костыли, Курбанов поднялся из-за стола, а затем, взяв костыли под мышки, запрыгал на одной ноге к книжному полкам — маленький, щуплый, сосредоточенный. Он поводит пальцем по корешкам книг, разочарованно покачал головой и повернулся к Шарипову.

— В фондах. Я сейчас вернусь. Вы меня подождите.

— Хорошо,— согласился Шарипов.— А курить у вас можно?

— В общем можно,— не сразу ответил Курбанов и поскал к двери, все так же держа под мышками костыли.

Шарипов закурил и раскрыл посредине лежавшую перед ним на столе английскую книгу: сколько он сумел разобраться — это было какое-то старинное исследование по геральдике.

«Ниточка,— думал он.— Быть может, здесь и найдется эта ниточка».

— Мы плохо подготовлены к приему иностранных туристов,— сказал ему утром Степан Кириллович.— Все мы. У них туризм не прекращался. У них существует установленный регламент. Он почти не меняется. Нет излишнего недоверия, но зато и доверие к туристу в установленных известных пределах. У нас же сначала мы совсем никого не пускали, а потом как пустили, то решили, что турист — это всегда дорогой гость.

— Обычный турист ничего плохого не станет делать,— возразил Шарипов.— А если это агент, то, по-моему, в облике туриста он тем более ничего серьезного не сможет сделать.

— Кое-что сможет. Один из этих «дорогих гостей» бросил в почтовый ящик письмо. По старому адресу. Так, что оно прямо попало к нам. Письмецо очень интересное. Без всякого шифра. Без химии. Бумага — говорят эксперты — наша. Предполагают, что и чернила наши. Писано автоматическим пером. Думают, недавно. Но где оно все-таки написано — еще там или у нас? Вот в чем вопрос, как сказал поэт...

В письме говорилось:

«Дорогой Павлик! Мама беспокоится, что от тебя нет известий. Где Коля? Маме говорили, что он на хорошей работе, учится превращать одни вещества в другие — в общем химик. Узнай, как у него дела. Напиши о своем здоровье, об успехах в работе и учебе. Хватает ли тебе зарплаты, не нужно ли чего прислать?»

Мы купили пианино черниговской фабрики, новый радиоприемник. Старый испортился, перегорели какие-то лампы.

Хорошо у нас дома — весна, как писал твой любимый поэт Лермонтов: «Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками»; я хожу в вокальный кружок и пою соло в школьном хоре. Я уже большая, и ты меня не узнаешь. Со мной даже хотел познакомиться один студент, но я не захотела. Но все это чепуха, а ты нам пиши, не забывай нас. Ведь мама совсем уже старенькая, и у нее часто болит сердце.

Но ты не беспокойся — все будет хорошо, только не огорчай ее. Крепко целую. Твоя сестричка Женя».

Обратного адреса не было.

— Павлик — это понятно,— сказал Степан Кириллович.— Но кто такой Коля? Где он «превращает одни вещества в другие»? Какой радиоприемник испортился? Нужно немедленно выяснить, кто опустил это письмишко в ящик. И еще одно... Вот познакомьтесь с этим воззванием.

Степан Кириллович протянул Шарипову небольшую листовку, представляющую собой сложенный вдвое лист хорошей бумаги. На ней курсивом, так, словно это было написано от руки, был напечатан текст на английском языке. К листовке скрепкой был приколот машинописный перевод.

— Такие листки были розданы всей этой группе туристов. Невинная шуточка. Исторический документ. Письмо Исаака Ньютона.

— Это провокация,— сказал Шарипов.— Честные люди

не примут это письмо за инструкцию. А агенты в таких устаревших инструкциях не нуждаются. Это просто глупая шутка.

— Глупая, согласен. Но не шутка. И для начала было бы любопытно выяснить, насколько это сочинение отвечает тому, что в самом деле писал Ньютон.

— Хорошо,— ответил Шарипов.— Начну с того, что сам это проверю.

Шарипов решил встретиться с Рустамом Курбановым — доцентом педагогического института. Курбанов был известен как крупнейший в республике знаток английского языка и истории Англии. В институте ему сказали, что Курбанова легче всего застать в библиотеке, где он проводит свое свободное время, там в библиографическом кабинете он даже принимает зачеты у студентов.

— Это действительно письмо Ньютона Астону,— сказал Курбанов, возвращаясь с толстой книгой, в которую, раскрыв ее в нужном месте, он вложил палец.— Оно было написано в 1669 году.

— Но текст, который я вам дал, точно совпадает с тем, что писал Ньютон? — спросил Шарипов.

— В общем довольно точно,— ответил Курбанов, усаживаясь за стол и раскрывая книгу.— Тут только пропущены такие слова...

Водя пальцем по строчкам, он стал медленно переводить:

— «Если Вы встретитесь с какими-либо превращениями веществ из их собственных видов, как, к примеру, железа в медь, какого-нибудь металла в ртуть, одной соли в другую или в...» Как это называется? Не кислота, а это... в химии?

— Щелочь? — подсказал Шарипов.

— Именно щелочь,— обрадовался Курбанов.— «...одной соли в другую или щелочь, то обращайтесь на это наибольшее внимание, так как нет опытов в философии, более проясняющих и обогащающих, чем эти».

— Вот, значит, как? — удивился Шарипов.— А именно этих слов, вероятно, и не следовало пропускать,— добавил он негромко.

— Да,— неожиданно поддержал его Курбанов.— В наше время превращение одних элементов в другие дело куда более актуальное, чем во времена Ньютона.

— Я очень рассчитываю на то,— холодно попросил Шарипов,— что вы никому не станете рассказывать, по какому вопросу я к вам обращался.

Курбанов в ответ пожал плечами так, что Шарипову стало неловко за свою просьбу.

Глава пятнадцатая, содержащая биографические сведения

Мой дядя самых честных правил.

А. Пушкин

Когда Рустама Курбанова отправляли на войну, мать его, старая Зульфия, не плакала. Так велико было ее горе, таким безнадежным представлялось будущее, что она и плакать не могла, а только тихо приговаривала: «О, худо джон, худо джон — боже мой, боже мой».

Она оставалась одна, старая, больная, без всякой помощи. Рустам, единственный сын, покидал ее.

Соседи провожали на станцию. Цепляясь руками за платье Зульфийи, путаясь в ногах и не поспевая за взрослыми, бежал четырехлетний Карамат, круглый сирота, дальний родственник Рустама. Он не понимал того, что происходит, но чувствовал какую-то непоправимую беду и всхлипывал, задыхаясь и шмыгая носом.

Рустам плакал. Страшно было оставлять старую мать, страшно было за свою молодую жизнь. Служба в армии казалась ему трудной, а особенно боялся Рустам фронта, самолетов. Приезжали раненые, искалеченные войной люди, и рассказывали: «Летают самолеты и бросают бомбы. И от бомбы никуда не укроешься, не спрячешься. Вместе с землей выбрасывает человека».

Страшился Рустам службы в армии — был он молод, малограмотен, русского языка совсем не знал, всю свою короткую жизнь провел в горах с овечьими стадами.

Трудно было уезжать от старой матери, и еще в кишлаке оставалась молодая девушка — Ширин; Рустам даже никогда с ней и не разговаривал. Тяжело это — уезжать, ни слова не сказав девушке, которую ты, возможно, полюбил бы.

Плакал Рустам, закрывал рукавом черные глаза свои с голубыми, как у детей, белками. Худое, легкое тело его судорожно дергалось от рыданий.

Соседи утешали, уверяли, что не оставят мать без помощи. Председатель колхоза рассказывал, какой замечательный праздник он устроит, когда Рустам возвратится. Женщины плакали, вспоминая своих сыновей и мужей, ушедших на войну.

Поезд постоял предусмотренную расписанием минуту и

тронулся. Старая, бессильная Зульфия... Провожающие... Станция... И большое, сложное, непонятное сооружение — semaфор...

...Трудно было Рустаму в части. К русским командам он постепенно привык, но разговорный язык понимал плохо. И совершенно переставал понимать, когда на него кричали. А кричали на него часто.

Командир взвода лейтенант Черешнев, плотный, круглолицый человек с зычным голосом, из старшин, особенно возмутился, когда на занятиях по огневой подготовке Рустам не смог прищурить левого глаза. Как только он закрыл левый глаз, закрылся и правый.

«Симулирует», — решил Черешнев и сам повел Рустама в санчасть. Врач осмотрел Рустама, слегка ударил маленьким молоточком по веку и сказал, что бывают люди, глаза которых устроены так, что закрываются одновременно.

— Вот несчастный, — искренне огорчился Черешнев.

На стрельбах Рустам с первого же выстрела попал в мишень. Но, несмотря на отличную стрельбу, с огневой подготовкой дела были плохи: Рустам никак не мог понять взаимодействия частей такого простого механизма, как русская винтовка образца 1891-го дробь 30-го года.

Попал он в кавалерию. И никак не мог командир взвода выработать у Рустама кавалерийскую посадку и научить облегчаться на рыси. Рустам сидел, плотно обхватив ногами конские бока, а когда пробовал облегчаться, то сильно опирал ногу на стремя и набивал коню спину.

Открылся у Рустама и талант — был первым во взводе по рубке. И совсем последним по политграмоте: плохо говорил по-русски и стеснялся отвечать на вопросы.

Часто Рустам получал взыскания от командира взвода, и казалось ему, что Черешнев ненавидит его, злится и притирается. Впрочем, Черешнев и впрямь не любил этого молчаливого солдата, с которым приходилось так много возиться.

...Полк готовился к отправке на фронт. Командир дивизии приехал проверять боевую выучку. Начался смотр. Один за другим пролетали кавалеристы, брали препятствие, рубили лозу.

Рустам в своем взводе шел восьмым. Волновался, знал, что на него смотрит командир дивизии (ефрейтор перед смотром долго втолковывал ему это). Свистел клинок, и лоза ровно падала, вонзаясь наискосок срубленным концом в мягкую землю.

Полковник неподвижно сидел в седле, хоть конь горячился

и переступал с ноги на ногу. Когда проскакал слившийся с конем Рустам, полковник закричал:

— Ну и молодец!

— Солдат второго взвода Курбанов, — доложил Черешнев.

— Твой?

— Так точно!

— Ну как он?

— Рубит и стреляет хорошо. Но посадка...

— Что посадка? Ты сколько в кавалерии?

— Пять лет, товарищ полковник.

— А я тридцать пять. Так знай, что ни ты, ни я так не сядем. Его снарядам из седла не вышибешь. А он дерево с корнем вырвет и не шевельнется. Ясно?

Черешнев вспомнил, что действительно иногда в шутку Рустам на скаку хватал товарищей за руки. Как-то он поймал за руку ефрейтора, и тот после рассказывал, что если бы Рустам не выпустил руку, то он вылетел бы из седла и грохнулся на землю.

После осмотра выстроили полк. Выступил командир дивизии. Говорил о том, как нужно воевать. И в конце сказал:

— Среди вас есть такие молодцы, как солдат Курбанов. Маленький, а настоящий богатырь!

Подталкиваемый ефрейтором, Рустам вышел из строя.

— Служу Советскому Союзу!

Полковник вынул из кармана большие часы.

— В Кремле получал. В двадцатом году. За скачки. Та-ванвач фирма называется. Носи с честью.

И протянул счастливому Рустаму часы.

По дороге на фронт люди словно переменились. Как-то особенно подружились. Потому ли, что каждый чувствовал, что человек, которому ты сейчас дал ниток пришить пуговицу, завтра спасет твою жизнь; потому ли, что сознание общей опасности объединяет, но все стали как-то особенно близки и дороги друг другу.

Черешнев проходил по вагону. Увидел Рустама, спросил:

— Который час?

Рустам посмотрел на часы и, насупившись, ответил:

— Два.

Минутку подумал, подсчитал что-то на пальцах и добавил:

— Восемь часов без остановки едем.

Неожиданно он стал рассказывать о том, как у него на родине охотятся на архаров. Черешнев был удивлен — он никогда не видал Рустама таким. Поезд остановился на полустанке.

— Ладно, потом доскажешь, — махнул рукой Черешнев и выпрыгнул из вагона.

Рустам обиделся.

...Воевали в пешем строю. Жарким августовским днем немцы превосходящими силами начали наступление на село Васильевку под Сталинградом, где стояла в обороне часть, в которой служил Рустам. Пришел приказ отходить. Солдаты, перебегая и отстреливаясь, отступали. Немцы, почти не ложась и непрерывно строча из автоматов, бежали по черной, выгоревшей степи.

Черешнева ранило пулей в грудь. Рустам был недалеко от него. Когда он увидел, что у Черешнева по гимнастерке течет струя крови и он падает на землю, смешиваясь с пылью, Рустам очень испугался. Он подхватил лейтенанта и, пачкая руки в теплой и страшной крови, уже не прячась от пуль, не ложась при свисте мин, побежал.

В небольшом окопчике ничком лежал мертвый пулеметчик. Рядом с ним прикладом к немцам валялся ручной пулемет.

— Будем отстреливаться, — простонал Черешнев.

Рустам повернул пулемет, как винтовку, подхватил левой рукой у сошек. Выброшенными гильзами ударило и обожгло ладонь.

— Приклад левой рукой держи! — сплевывая розовую кровь, страшно выругался Черешнев. — Мало учили тебя...

Рустам стрелял длинными очередями. Немцы залегли, но диск быстро опустел. В нише окопчика лежали цинки с патронами. Лейтенант стал срывать запаянную оловом крышку, заторопился, дернул зубами острый край, порезал губу. Рустам вытащил из-за голенища ложку, поддел жезл и сорвал крышку. Патроны никак не входили в диск, выпадали из рук, утыкались.

— Заряжай, заряжай, — торопил Черешнев.

Немцы поднялись. Рустам вставил наполовину заряженный диск, но диск заело, и немцы, не задерживаясь, стреляя и ругаясь так, что даже сквозь весь этот грохот были слышны их голоса, неудержимо надвигались на них, и казалось, что все они бегут к окопу, в котором были Рустам и Черешнев.

В это время откуда-то справа пошла в контратаку свежая часть. Застучали пулеметы.

— Ага! — закричал Черешнев. — Не любите!.. Теперь вперед!

Рустам поднялся, вытащил лейтенанта и, поддерживая его, тяжело ступая, пошел вперед.

— Подожди... Что-то плохо мне, — сказал Черешнев.

Рустам разорвал индивидуальный пакет и стал обматывать бинтом грудь лейтенанта. Вблизи разорвался снаряд. Рустаму обожгло ногу выше колена. Он потянулся к ноге, сразу же посмотрел на Черешнева: весь в крови, сжимая руками разбитую голову, тот медленно опускался на землю.

В госпитале почти все, одни больше, другие меньше, одни ловко и складно, другие неумело и робко, преувеличивают, рассказывая о том, что с ними случилось на фронте. Рустам относился к тем немногим людям, которые ничего не выдумывали, которые, охотно слушая других, не стремились поразить собеседника случаем еще более необыкновенным, чем только что услышанный. Впрочем, он больше молчал.

Однажды молодая женщина хирург Вайсблат говорила главному врачу по поводу Рустама:

— Удивительные эти восточные люди. Вчера я делала одному узбеку или таджику — не знаю — операцию: скоблила кость. Он ни разу не застонал. Спрашиваю: «Больно?» — «Нет», — говорит. Это привычка к физической боли или пониженная восприимчивость?

Она даже не догадывалась, что Рустам попросту стеснялся показать, что ему больно.

Рустам привык не спать по ночам. Он постоянно лежал, вставал нечасто и с большим трудом, много спал днем. И по ночам, когда нога особенно сильно болела, мучительно хотелось поговорить. Товарищи по палате тоже не спали, рассказывали смешные истории, анекдоты, хохотали, зажимая рты подушками и грозя друг другу кулаками: боялись дежурного врача.

Но Рустам считал, что он недостаточно хорошо говорит по-русски, и стеснялся возможных ошибок, а по-таджикски поговорить не с кем было. Правда, в палату заходила медсестра-таджичка Тамара с длинными и блестящими черными косами. Глаза ее до невероятного были похожи на глаза Ширин, и улыбалась она, как Ширин, а вместе с тем совсем по-другому. Что-то не чистое, не девичье было в этой улыбке. Рустаму становилось стыдно, когда товарищи, беззлобно шутя, говорили вещи, непристойный смысл которых был всем понятен, а Тамара, не смущаясь, отвечала так же весело и бесстыдно.

А затем подходила к его койке, усаживалась на край и спрашивала на том же звучном таджикском языке, на котором разговаривали и Рустам, и мать Рустама, и отец отца Рустама:

— Здоров ли? Хорошо ли тебе?

Рустам делал вид, что заснул.

... Четыре месяца в госпитале, в далеком Новосибирске, на три месяца домой. Слегка прихрамывая, Рустам шел к вокзалу. Кружилась голова — по улице двигалось непривычно много людей. Рустам озабоченно поглядывал по сторонам, стараясь различить в толпе военных: за время жизни в госпитале он отвык отдавать честь и сейчас торопливо подносил руку к козырьку при встрече со всякой шинелью.

Он устроился в душном воинском вагоне. Медленный поезд, подолгу останавливаясь на всех больших и маленьких станциях, повез его к югу.

Старая Зульфия умерла за полтора месяца до его приезда.

Встретили его не радостно. Председатель колхоза словно забыл о своем обещании устроить праздник, когда Рустам возвратится. Выпал неурожайный год, и колхоз голодал.

По мокрой, липкой осенней дороге Рустам с маленьким Караматом шел к могиле матери. Неожиданно низко из-за горы с ревом вынырнул самолет. Рустам сильным ударом свалил мальчика на землю и лег рядом. Это и было первым его движением: положить спутника, который не заметил самолета, и лечь самому.

Потом он долго смущенно оглядывался, чистил себя и мальчика, еще больше размазывая грязь. Перепуганный Карамат громко плакал: он никак не мог понять, за что его стукнули. Рустам так и не сумел объяснить ему, в чем дело.

Теребя бороду рукой и избегая смотреть Рустаму в глаза, председатель колхоза предложил:

— Пастухов не хватает. В армию забрали. Пойдешь в горы?

— Нет, — ответил Рустам. — Еще нога болит.

— А как жить будешь? Колхоз, конечно, поможет... Но все-таки.

— Мне пайка хватит. Военного.

Через месяц Рустама вызвали в военкомат на переосвидетельствование. Нога зажила. Его отправили в часть.

Кто бы мог подумать, что этому маленькому таджику суждено увидеть так много? Рустам пил воду из Днестра, переправился через Прут, вступил в Бухарест с танковым десантом. В уличном бою автоматной очередью Рустаму перерезало ногу выше колена, почти в том самом месте, куда он был ранен в первый раз. Он успел еще швырнуть в автоматчика гранату, заметил, как тот взлетел в воздух, и только тогда упал.

В полевом госпитале ногу ампутировали, а потом еще два

раза его клали на операционный стол, оставляя все меньшую культу. Начиналось нагноение.

От донора, молодой краснощекой девушки-польки, ему перелили пол-литра крови; Рустам после, неловко улыбаясь, осторожно поглаживал набухшие вены левой руки. Было странно и непривычно, что в жилах течет чужая кровь.

После переливания он стал быстро поправляться. Когда рана зажила, Рустам получил протез, но ходил на костылях. С протезом под мышкой и с зеленым вещевым мешком он сел в поезд.

Долго путь от Львова до Душанбе. Рустам не торопился. За эти дни в поезде он заново пережил-передумал свою короткую жизнь. И никак не мог представить будущего — на одной ноге за овцами не угонишься.

...Обещанный некогда праздник по поводу возвращения Рустама был устроен, но уже другим, новым председателем колхоза — фронтовиком с гвардейским значком на защитной рубаше.

Рустаму рассказывали новости:

— Саид, сын Раджаба, погиб в Берлине, — пришло известие и орден Отечественной войны.

— Бывший учитель Ахмедов теперь майор. Он воевал с самого начала войны и ни разу не был ранен. Сейчас большой начальник в Душанбе. Хоть совсем молодой.

— А что ты теперь будешь делать?

Рустам внимательно, словно впервые, посмотрел на ладони, где вздулись кровавые мозоли от костылей.

— Буду учиться, — сказал он.

— Где учиться?

— В школе.

Он поступил сторожем на хлопкопункт и в вечернюю школу. Жизнь была очень простой.

Не мог он только привыкнуть к тому, что у него одна нога. Так и не научился как следует пользоваться костылями. Прыгал, как воробей.

Ночью дежурил на хлопкопункте, а днем учился. Читал вслух русские книги. Вскоре стал говорить по-русски без акцента.

Случилось так, что в день его приема в педагогический институт Ширин родила четвертого ребенка — девочку. Замуж она вышла за хозяина воды — мираба через несколько дней после того, как Рустам уехал в армию.

Рустама приняли в институт без экзаменов, как фронтовика и отличника. Учился он хорошо, особенно успевал в ан-

лийском языке и истории. Пробовал писать стихи — получалось не очень складно. Значительно лучше удавались переводы.

Его кандидатская диссертация, посвященная творчеству Бена Джонсона, принесла ему некоторую известность в научных кругах. Ему удалось доказать, что премьера комедии «Вольпона» состоялась в середине марта 1606 года в шекспировском театре «Глобус» вопреки свидетельству ее первого издания, где на обложке указывалось, что премьера состоялась в 1605 году. Он любил Бена Джонсона и искренне считал его творчество явлением не менее значительным, чем творчество современника Джонсона — Шекспира.

Он сидел за столом и смотрел на графы незаполненной анкеты вступающего в кандидаты КПСС и на чистый лист бумаги. Сверху на нем типографским шрифтом было напечатано: «Автобиография». Вот что он должен был написать о себе. Но вместо этого он стал медленно, каллиграфически выводить: родился... воевал... учился... Все это не заняло и полстранички на листе с напечатанным в типографии заголовком: «Автобиография».

Анкета. Биография. Рекомендации. Все на месте. Все в порядке. Можно подавать.

И все-таки он не подаст. Подождет.

«Заметил ли этот майор, — подумал Рустам, — как я испугался, когда узнал, откуда он?.. Но почему я так испугался? Потому, очевидно, что я не знаю, как следует поступить. Знаю, но не решаюсь. Значит, нельзя подавать эту анкету, где больше всего было слов «нет, не участвовал, не избирался». Сначала нужно твердо решиться».

Когда он вернулся из госпиталя без ноги, перед тем как поступить сторожем на хлопкопункт, он обратился к своему дальнему родственнику — Садыкову: не поможет ли он ему устроиться на работу. Садыков тогда занимал большой пост — был членом коллегии Министерства торговли.

— Если я начну устраивать на работу всех, кто называет себя моими родственниками, — сказал Садыков, — все министерство будет состоять только из них. Какой из тебя торговый работник? Поезжай в кишлак...

Он дал ему талоны на покупку хлопчатобумажного костюма, калош и пяти пачек чаю. А денег на эти покупки у Рустама не было. Когда он вышел за дверь, он порвал эти талоны на клочки.

Но потом, когда Рустам защитил кандидатскую диссертацию, Садыков сам его отыскал. Он вспомнил, в каком именно родстве они состояли, установил, что Рустам приходится ему двоюродным племянником. Дядя стал необыкновенно добр к племяннику, часто приезжал за ним в институт или в библиотеку, увозил его домой на разные торжества, хвастался им перед гостями, ставил его в пример своему сыну — Галибу, милому и тихому мальчику, с которым Рустам согласился заниматься английским языком.

Трудно было не поддаться этой шумной родственной заботе, этой любви и этому уважению. И Рустам поддался. Он словно забыл о первой встрече. Во всяком случае, старался не вспоминать.

Но несколько дней тому назад вечером к нему в библиотеку пришел встревоженный, не похожий на себя Садыков. Он плотно закрыл за собой дверь, затем приоткрыл ее, снова закрыл и сказал Рустаму, что винсовхоз проверяет ревизионное управление и что ему грозят большие неприятности. Он принес с собой три сберегательные книжки. На предъявителя. Рустам должен их спрятать. А если с ним что-нибудь случится и Рустама вызовут и спросят об этих книжках, Рустам должен сказать, что деньги принадлежат ему, Рустаму. Что он скопил деньги на своей научной работе, но отдавал их дяде, а тот клал их для него на сберегательные книжки.

Рустам решил отказаться. Он твердо решил отказаться. Но вместо этого, глядя в пол, с отвращением сказал:

— Хорошо. Я их спрячу. Но если меня спросят, скажу правду.

— Неужели ты предашь родного дядю? — с ужасом спросил Садыков.

Предательство, думал Рустам. Вот он и совершил предательство. Он спрятал эти проклятые сберегательные книжки в толстый том Александра Попа, длинные поэмы которого казались ему невыносимо скучными и противными.

Так он предал свою левую ногу, похороненную на окраине далекого Бухареста.

Глава шестнадцатая, которая называется „Ход конем“

Вы затронули тот пресловутый вопрос о свободе воли, который является дьявольским соблазном.

А. Д ю м а, Три мушкетера

На столе перед Шариповым лежал бланк протокола розыска с напечатанными в типографии признаками «словесного портрета», так что оставалось их лишь подчеркнуть. Этот словесный портрет был некогда разработан директором института идентификации при Парижской полицейской префектуре Альфонсом Бертильоном — криминалистом, известным не столько успехами в борьбе с преступлениями, сколько собственным преступлением. Это он, выступая по делу Дрейфуса в качестве эксперта, дал лживое заключение, что знаменитое «бордеро» — список секретных документов — составил Дрейфус, хотя в действительности документ был изготовлен Эстергази.

«Рост: высокий (свыше 170 см), низкий (до 165 см), средний, очень высокий, очень низкий».

Шарипов подчеркнул — «низкий».

«Фигура: толстая, полная, средняя, худощавая, тонкая».

«Тонкая».

«Плечи: приподнятые, опущенные, горизонтальные».

Он колебался и подчеркнул — «опущенные».

«Шея: короткая, длинная, заметен зоб, выступает кадык».

«Длинная».

«Цвет волос: светлые, русые, темно-русые, черные, рыжие, с проседью, седые».

«Русые».

«Цвет глаз: голубые, серые, зеленоватые, карие, черные».

Он жирно подчеркнул — «голубые».

«Лицо: круглое, овальное, прямоугольное, треугольное, пирамидальное, ромбовидное».

Он попытался представить себе пирамидальное лицо, пожал плечами и подчеркнул — «овальное».

«Лоб: высокий, низкий, прямой, скошенный, выступающий».

«Средний, — подумал Шарипов, — средний». И подчеркнул — «низкий, прямой».

«Брови: прямые, дугообразные, широкие, узкие, сросшиеся».

«Дугообразные, узкие».

«Нос: малый, большой, толстый, тонкий, широкий. Спинка носа: вогнутая, прямая, выпуклая, с горбинкой. Основание носа: приподнятое, горизонтальное, опущенное».

Он подчеркнул — «малый, тонкий, прямая, горизонтальное».

«Рот: малый, большой. Углы рта: опущены, приподняты».

«Малый, приподняты».

«Губы: тонкие, толстые, отвисание нижней губы, приподнятость верхней».

Он задумался и подчеркнул — сначала «тонкие», а затем «толстые».

«Подбородок: скошенный, прямой, выступающий, раздвоенный, с ямкой, с поперечной бороздой».

Он подчеркнул — «скошенный».

«Уши: малые, большие, овальные, треугольные, квадратные, круглые. Оттопыренность ушей: верхняя, нижняя, общая. Мочка уха: сросшаяся, отдельная, наклонная, угловатая, овальная».

Шарипов подчеркнул — «малые, овальные, отдельная, овальная».

«Особые приметы: физические недостатки, увечья, повреждения, наросты, бородавки, пятна, рубцы, болезненные движения тела, плешивость, асимметрия лица, татуировка».

На оставленной пустой строчке Шарипов написал: «Правая бровь немного выше левой».

Он снова пересмотрел «словесный портрет». Как мало общего имел он с оригиналом! У нее были синие, а не голубые глаза. И маленькие уши легко краснели, словно освещенные изнутри розовым светом. Она была очень красивой, его Ольга, и никакой словесный портрет не мог дать представления о ее весенней, ликующей красоте.

«Розыск,— думал он.— Розыск. Даже девушку нельзя было бы отличить одну от другой по этому «словесному портрету»... А фотография «человека в афганском халате» имела так мало общего с лицом живого человека, что ее к протоколу розыска незачем было и прилагать. Ограничились «словесным портретом». Глупая, бессмысленная затея. Сотрудник районного отделения милиции подходит к председателю колхоза и расспрашивает: скажите, не видели ли вы такого человека, в таком-то халате, на таком-то коне... Тот, естественно, отвечает — не видел. Вот и все. А мы ждем...

Когда он был на фронте, бывали дни и недели, когда он ощущал такую усталость, что думал: «Хоть бы меня ранило.

Не сильно. Чтоб только полежать сутки в полевом госпитале. Отоспаться. Или заболеть...» И завидовал тем, кого легко ранили: отоспятся.

Сейчас у него было такое же чувство страшной, бесконечной усталости, и он поймал себя на том, что завидует лейтенанту Аксенову. Аксенов заболел, простудился, кажется, и попал в госпиталь.

«Но это Аксенову можно заболеть,— думал Шарипов.— А мне нельзя. Мне нужно работать. Мне очень нужно работать на этой проклятой, на этой замечательной работе, где нет никаких правил, где все неизвестно. Где все и всегда неизвестно».

«Боже мой!— думал он.— Можно вычислить орбиту спутника, можно разложить на части атом. Но простейшая вещь — кто из этих туристов бросил в почтовый ящик письмо — узнать нельзя. Нет методов, которые бы помогли это узнать. И если мы будем работать и даже узнаем, кто из них мог бросить это идиотское письмо, то и это ничего не даст. Но нужно работать. «Бороться и искать, найти и не сдаваться»,— как писал Каверин. Хорошие, смелые слова. Их следовало бы повесить в вестибюле управления. Бороться и искать... А болеть может себе позволить только Аксенов».

Он избегал говорить с Ольгой об Аксенове. Черт побери, а ведь он побаивался Аксенова. Не Аксенова, а прежних отношений между ним и Ольгой.

«Говори прямо — не отношений, а любви,— поправил он сам себя.— Однолетки. Вместе учились, много общих знакомых. Им, наверное, всегда легко друг с другом. А мне, когда мысли заняты другим, приходится притворяться. И Ольга, вероятно, это чувствует. Когда бы не моя работа... но это всегда так будет».

«Хватит,— подумал Шарипов.— Ольгу я люблю. И никому не отдам ее. Но что Аксенов в госпитале — это нужно будет ей сказать. Нельзя не сказать».

Он поднял трубку внутреннего телефона и набрал номер Ведины, хотя их комнаты были рядом.

— Уже вернулся?— спросил Шарипов.— Я сейчас зайду.

Спор их начался в кабинете Ведины, когда они оба склонились над картой, сплошь заполненной коричневой краской, то более темной, то более светлой.

Для себя Ведин всегда знал: вот этот шар можно забить, а этот нельзя. Знал он это потому, что опыт прежних игр на бильярде показал, что такой шар ему случалось забивать, а такой он пробовал, но это оказывалось невозможным. Но он

редко мог определить, по какому шару ударит Шарипов, и почти никогда не знал, упадет ли в лузу шар, по которому бил Шарипов, или не упадет. Удары Шарипова всегда бывали неожиданными, а комбинации иногда казались совершенно немислимыми.

«Какой бы новый вопрос ни возникал, он всегда ищет прецедент,— подумал Шарипов о своем товарище и начальнике.— Он всегда считает, что нужно поступать так же, как уже когда-то поступали, только с учетом допущенных ошибок».

«Это не бильярд,— подумал Ведин.— Снова Давлят стремится выискать самое небывалое решение. Но самое небывалое — это совсем не значит самое правильное...»

Шарипов предложил договориться с Министерством обороны и поставить в район Савсора воинскую часть, якобы занятую устройством ракетного полигона. При этом сделать так, чтобы местное население могло более или менее свободно попадать даже в расположение части.

— Нет,— сказал Ведин.— Пошлем своих людей. Во все населенные пункты до шестидесяти километров вокруг места, где погиб «афганец». И если действительно подтвердится, что ни в одном не видели такого человека, значит он сброшен с парашютом.

— Дело твое,— сказал Шарипов.— Как говорится, начальству виднее. Но запомни: этим мы навредим делу еще больше, чем «розыском» с мудрым «словесным портретом». Я уверен — уже не за шестьдесят, а за все сто двадцать километров вокруг известно, чем мы интересуемся. Один добровольный помощник способен погубить любое дело.

— Не погубим. Не в первый раз. Не сегодня начинаем. Это прямой логический ход. Но одновременно испытаем и твой «ход конем». Хорошее было бы название для детективного рассказа: «Операция «Ход конем». Только очень в духе Шерлока Холмса. Как и твоя затея.

— Не понимаю,— сказал Шарипов.— Ну хорошо, теории поведения людей пока не существует. Но практика поведения известна? И она должна же в конце концов нас чему-то научить. Я где-то слышал или читал, как в одном доме пропала кошка. Искала вся семья и не могла найти. Только один маленький мальчик не искал кошку. Но именно он сказал: «Кошка на крыше». И действительно она оказалась на крыше. Когда же мальчика спросили: «Как он догадался?», он ответил: «А я стоял и думал... Думал, где бы я спрятался, если бы я был кошкой?»

— Ты хочешь выступить в роли этого умного маленького мальчика?

— Нет. Я не знаю, где кошка. Но знаю, что ты не стремишься влезть в кошачью шкуру.

— Ну, мне пока достаточно своей,— сердито отшутился Ведин.— В общем ты займись этим конем, а я тоже выведу вот сюда,— он показал на карте.— Сбрую привели в порядок?

— Да, сбруя готова.

Речь шла о предложении Шарипова поставить на конюшню какому-нибудь известному в окрестностях Савсора умному и уважаемому человеку, скажем, к однорукому пастуху Раджабу из кишлака Митта, коня, мастью, ростом, всем своим видом точно соответствующего виду коня «афганца». Надеть на этого коня сбрую с коня «афганца» и попросить Раджаба, чтобы он говорил соседям и знакомым из других кишлаков, что нашел коня, но не знает, чей он... Если найдется хозяин, то он его отдаст. А может быть, кто-нибудь видел такого коня? Таджик не всегда запомнит всадника, но коня, да еще хорошего, он никогда не забудет. Одновременно Шарипов предлагал посадить в доме у Раджаба своего человека, который установит, кто именно интересовался конем или какие люди появлялись в эти дни у его дома.

«И все-таки при всей его хваленой тонкости,— подумал Ведин о Шарипове,— ему иногда свойственна какая-то грубая, примитивная хитрость. Такая примитивная, что я бы ею погнушался».

— Может быть, у него вовсе не было сообщников,— сказал Ведин.— А если были, то едва ли они попадутся на такую простую удочку.

— Следовательно, ты считаешь, что он сам себя стукнул ножом по затылку?— язвительно спросил Шарипов.

Они помолчали.

— Да, вот еще что я хотел у тебя спросить,— небрежно заговорил он о том, что собирался сказать с самого начала,— ты Садыкова помнишь?

— Какого Садыкова?

— Ну того, что проработал у нас несколько дней в Шах-рисябзе. Помнишь, когда хоронили этого графа Глуховского?

— Помню, конечно. Он работает теперь в Министерстве торговли.

— Директором винсовхоза. Работал. Вчера его посадили.

— За что?

— Проворовался. Ко мне приходил его племянник — Курбанов. Принес три сберегательные книжки. Почти на че-

тыреста тысяч рублей. Садыков хотел, чтобы он их припрятал.

— Вот сволочь. Сам ведь работал в органах.

— Да, работал,— медленно сказал Шарипов.— И я вот думал: а если бы не направил его тогда Степан Кириллович в интендантство. Может быть, работал бы у нас или в МВД и все было бы у него благополучно...

— Ну, знаешь...— удивленно и недовольно посмотрел на него Ведин.— Это уж какая-то мистика. Если бы тебя перевели на торговую работу, ты бы не стал там вором. И я бы не стал... И что он еще тогда ушел от нас — не жалеть нужно, а радоваться.

— Но вот, скажем, на металлургическом заводе не бывает случаев воровства. Там нечего украсть. А в торговле этой, видимо, слишком много соблазнов...

— Да что с тобой?— спросил Ведин.— Ты уж совсем заговариваться стал. Выспись, черт тебя подери,— потребовал он.— При чем здесь соблазны? Ты что, не понимаешь, что не должность делает человека честным, а человек делает честной свою должность?

— Все это я понимаю. И даже, как требовал один мой учитель, умею объяснить «своими словами». И все-таки очень противно и жалко как-то все это,— добавил он непоследовательно.

— Противно — согласен. А жалко — нет.

Глава семнадцатая, в которой сообщается о том, почему устояла Англия

«Эй, пастух, — сказал Александр, — что говорит твой зумзун?»
Пастух сказал: «Государь, люди нах дети.

Разве я знаю, что поет зумзун».

Таджикская сказка

«Искандер Зулънарнай»

— О да,— говорил сотрудник «Интуриста» Кадыров, запуская палец за крахмальный воротничок сорочки и оттягивая узел галстука.— О да... Шекспир! Гамлет! Отелло! Таджикский театр любит Шекспира. Таджикские зрители любят Отелло. Мы завтра пойдем в театр. Мы сегодня посетим библиотеку, где вы сможете убедиться, как любят наши читатели английскую литературу.

«О господи,— думал Кадыров,— я задохнусь. Зачем я надел галстук? И новые туфли? Как можно разговаривать в такую жару? Англичане... Не сидится им в Англии. В такую жару... Когда аллах хотел наказать мой народ, он придумал блох, тесную обувь и гостеприимство...»

В гостинице не было свободных мест. И когда приехали туристы, пришлось делать ряд перестановок, будоражить чуть ли не все население гостиницы, чтобы устроить их в лучшие номера.

Когда они приехали в библиотеку, там был перерыв. Кадыров сказал, что он привез туристов, и сейчас же вызвали директора библиотеки, на его письменном столе расстелили достархан. Гостеприимство...

«Ну, ничего. И тебе не легче»,— думал Кадыров о самой дотошной из туристок — ученой-ориенталистке мисс Эжени Фокс — невысокой, склонной к полноте даме с черными, без седины волосами и пухлыми напудренными щеками, на которых струйки пота оставили следы. Очевидно, она с трудом переносила эту жару.

— Вы впервые в Советском Союзе?— спросил у нее Кадыров по-английски.

— Впервые,— ответила ему мисс Фокс по-таджикски.— Но я давно интересуюсь Россией, и вообще наша семья имеет с ней старинные связи.

У мисс Фокс на щеках прибавилось румянца. Действитель-

но, один из ее предков был даже удостоен памятника в России. Екатерина Вторая приказала некогда купить и поставить перед своим дворцом бюст мистера Фокса, парламентского оратора, впоследствии министра иностранных дел. Она считала, что хотя его выступления, может быть, и нанесли вред Англии, но были, несомненно, полезны для России.

— С каждым годом,— говорил между тем заведующий библиотекой,— у нас увеличивается количество переводов произведений английских писателей на таджикский язык. Вот буквально на этих днях мы получили новую книжку — впервые на таджикский язык переведен Киплинг.

— О,— сказала мисс Фокс,— это замечательно!

Это была тоненькая книжечка карманного формата в бумажной обложке. Мисс Фокс перелистывала страничку за страничкой, не выпуская ее из рук, хотя и другие туристы хотели посмотреть, как она издана.

— Изумительно,— говорила она.— Я никогда не могла себе представить, что на таджикском языке можно создать перевод, столь близкий по стилю, по духу оригиналу. Это мог сделать только настоящий, большой поэт... Нам бы очень хотелось познакомиться с автором этих переводов.

— Познакомьтесь,— заверил Кадыров.— Курбанов, как всегда, за книгами?— спросил он у директора библиотеки.

— Как всегда. Мы с ним встретимся при осмотре фондов. А сейчас, по нашему обычаю, прошу к столу.

«О господи,— думал Кадыров.— Неужели, когда наши приезжают в Англию, с ними там так возятся, как это делаем мы?»

Вначале Рустам Курбанов довольно сдержанно встретил Володю Неслюдова — ему было неприятно, что в этом кабинете библиотеки, где он вот уже несколько лет работал один, появился посторонний человек. Но вскоре он сам настоял на том, чтобы сюда поставили еще один стол — для Володи.

Володя привлек его симпатии сначала своей несколько нелепой, но милой и добродушной наружностью, затем незаурядными знаниями и удивительной, непонятной Рустаму готовностью в любую минуту оставить свою работу, чтобы помочь Рустаму отыскать какую-либо ссылку или дату. А в последние дни, когда он много и увлеченно рассказывал Рустаму о своей работе, как рассказывал бы, вероятно, всякому человеку, проявившему к ней хоть малейшее любопытство, он был ему особенно приятен своей горячей заинтересованностью и убежденностью в важности своего дела. Рустам

сам слышал, как Володя объяснил пожилой таджичке — уборщице библиотеки, что арабский писатель Мохаммед ибн Исхак засвидетельствовал существование книги «Ахбар Бабек» — «Известия о Бабеке», но до нас она не дошла, и только из косвенных данных можно заключить, что Бабек родился в 798 году.

«Что опьяняет сильнее вина?» — с этого стихотворения Киплинга и началась их дружба.

Что опьяняет сильнее вина?

Женщины, лошади, власть и война.

— Почему вы исключили это из сборника?— спросил Володя.

— Я не люблю этого стихотворения,— просто ответил Рустам.— Я не люблю людей, опьяненных «сильнее вина». А их было немало.

— Даже слишком много,— подтвердил Володя, снимая и протирая очки, и при этом лицо его, как у всех близоруких, приняло рассеянное и беззащитное выражение.— Между прочим, рассказывают, что когда у Чингис-хана спросили, в чем заключается высшее наслаждение человека,— его ответ не очень разнился от ответа Киплинга.

— А что он сказал?

— Высшее наслаждение человека,— ответил Чингис-хан,— состоит в том, чтобы победить своих врагов и гнать их перед собой, отняв у них то, чем они владели и что любили, на их глазах ездить на их конях и сжимать в своих объятиях их жен и дочерей.

Володя надел очки и серьезно, испытующе посмотрел на Рустама, а Рустам точно так же на Володю, и вдруг оба одновременно улыбнулись, как заговорщики.

Оба они чувствовали себя очень хорошо в этой комнате со шкафами, заполненными книгами, заключающими в себе истории многих замечательных открытий, великой любви и бессильных безумий, гениальных озарений и животных страстей, ошибок и побед, и оба были глубоко убеждены, что опьянение — всякое опьянение! — скоротечно, что оно проходит, а мудрость, а знание, собранное в книгах, непреходяще, что оно останется навсегда.

Они долго, с удовольствием говорили о том, что люди, опьяненные «женщинами», «лошадьми, властью и войной», боятся книг. Халиф Омар, разрушивший Александрийскую библиотеку, сказал: «Книги, содержащие то же, что коран,— лишние, содержащие иное — вредны». Негодяй и убийца с манией ве-

личия — Гитлер, подлинное имя которого — Шикльгрюбер — будет известно лишь специалистам-историкам, как сегодня только специалистам известно настоящее имя Чингис-хана, — устраивал костры из самых лучших, самых благородных книг.

И все они, опьяненные властью и войнами, погибли. И память о них осталась только потому, что о них написано в книгах. А книги, а заключенное в них знание осталось. И пребывает во веки веков.

Книги... Володя показал Рустаму и перевел выписку из найденной им вставки на поле арабской рукописи ат-Табори, относящейся к первой четверти девятого века.

Речь в этом отрывке шла о том, что в 836 году Бабек, лишившийся своей крепости на горе Баз, бежал в замок к своему другу Сахлу ибн Снбату из армянских батриков — владетельных князей. Ибн Снбат замышлял предательство. Он послал гонца к военачальнику халифа Мутасима — Афшину с известием, что Бабек в его замке. Афшин, очевидно, не поверил, что Бабек, долгие годы командовавший двухсоттысячной армией повстанцев, может так легко попасть ему в руки, и послал к ибн Снбату своего человека, который знал Бабека в лицо. Ибн Снбат выдал этого человека за одного из своих поворов — Бабек мог заподозрить неладное. Но вот посланный Афшином человек вошел в комнату... Далее об этом в рукописи рассказывалось так:

«Во время еды Бабек поднял голову, посмотрел на него и, не узнав, сказал: «Кто этот человек?» И сказал ему ибн Снбат: «Это человек из Хорасана, живущий здесь с давних времен. Он христианин». И подозвал ибн Снбат этого урушанца, и сказал ему Бабек: «С каких пор ты здесь?» Тот ответил: с тахихто. Бабек спросил: «А как ты очутился здесь?» Тот ответил: «Здесь я женился». Тогда Бабек сказал: «И правда, если спрашивают у человека, откуда ты, он отвечает: «Оттуда, откуда жена моя...»

После этого в рукописи была небольшая лакуна (пропуск) и затем запись, открытие которой принадлежало Володе:

«...И сказал Бабек: «Были из моих людей хорасанцы, посылали я их на родину в ал-Митта. Если будут сражаться хуррамилы Хорасана, как мы, малой окажется для Мутасима и казна его и войско. Ибо крепости, равной ал-Митта, а она уже восстала, нет ни в Хорасане, ни в обоих Ираках...»

Бабек был захвачен Афшином, направившим против одного Бабека две тысячи человек — такой страх он еще навел, — и казнен халифом Мутасимом. Поэты сочиняли стихи об этой беспримерной победе над Бабеком. Ибрахим ибн ал-

Махди произнес свою оду вместо пятничной молитвы — хутбы.

О эмир правоверных! Множество похвал аллаху!

Эта победа совершилась... Прими наши поздравления...

Это триумф, которому подобных не видели люди...

Предатель ибн Снбата был хорошо награжден. С этого времени и начала восходить звезда дома Сахла ибн Снбата, легендарного выходца из Палестины, положившего начало династии Багратидов, занявших впоследствии троны Армении, Абхазии и Грузии...

Для Володи, занятого не столько непосредственно Бабеком, сколько движением хуррамитов, было очень важно найти сведения о крепости Митта — возможном центре восстания хуррамитов. И за поисками этими участливо следил, искренне сожалея, что почти ничем не может помочь, Рустам Курбанов.

— Бейрутское издание, — жаловался Рустам Володе, — не имеет алфавитного указателя. И вообще я не понимаю, как может обходиться библиотека без Йакута издания Вюстенфельда...

Йакут ал-Хамави в 1217 году составил «Алфавитный словарь стран — «Муджам ал-Булдан», и, наверное, за всю историю библиотеки Володя первым пользовался здесь этой книгой. Но, перерыв всего Йакута, крепости Митта Володя не нашел.

— А в «Библиотеке арабских географов»? — сочувственно спросил Курбанов.

Володя мрачно взвесил в руке четвертый том «Библиотеки арабских географов» с указателем к первому, второму и третьему томам.

— Здесь нет. А к седьмому в библиотеке нет указателя. Пришлось просматривать страницу за страницей. Ни малейшего упоминания.

— Но, может быть, эта крепость была построена значительно позднее?

— Нет, — не сразу ответил Володя. — Возможно, конечно, что и, как многие крепости, Митта разрушалась и восстанавливалась. То, что я не нашел ее ни у ал-Истахри, ни у ибн Хаукала, ни у ал-Мукадаси, свидетельствует только, что в рукописи ат-Табори интерполяции не ранее десятого века. Но ведь кишлак Митта в более поздних источниках упоминается неоднократно. Да он существует, как вы знаете, и теперь, и я там обязательно побываю.

Он снова углубился в «Китаб ал-Ансаб» — книгу генеалогических имен ас-Самани. Это была изданная в Кембрид-

же фотокопия рукописи, написанной нечеткой арабской скорописью «наском». Она содержала перечень географических названий, которые дали фамилии более или менее знаменитым людям.

И вот наконец...

Торжественность минуты была испорчена тем, что Володя неосторожно сдвинул папку со своими бумагами, столкнул со стола чернильницу, и та покатилась, щедро поливая пол чернилами. Растерянно промокая пол газетой, Володя сказал:

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я сейчас вытру... Так есть Митта у ас-Самани...

— Я уже понял это,— улыбнулся Рустам.

— Как поняли?

— По вашему лицу. Никто не радуется, разлив чернила. Переведите мне, что там об этом сказано? — попросил он, опускаясь на колено и вытирая пол скомканными листами бумаги.

— Сейчас, помоем руки, и прочту... Или лучше сначала прочту, а потом помоем руки.

Он вытер руки газетой, провел пальцем по листу бумаги — не оставляет ли следа, — и, на всякий случай убрав руки за спину, прочел:

— «Ал-Миттауи — от ал-Митта — крепость, а оттуда Абу Махмуд Хасан ибн Ибрахим ал-Миттауи, а он шейх, факих хаифидского толка, а некоторые говорят, что он ханифид явно, а хуррамит тайно».

— Бороться и искать!.. — потрясая костылем, как пикой, призвал Рустам. В его шутовской позе и ироническом тоне Володя вдруг ощутил несомненное торжество и радость за товарища.

— Найти и не сдаваться! — вздев измазанные чернилами руки, в тон ему ответил Володя.

— И шейх этот был хуррамитом... А это что-то значит!.. — пропел Рустам.

— Это что-то значит, — расплылось в улыбке Володино лицо. — Но пойдемте все-таки умоемся, — добавил он, с удивлением посмотрев на Рустама, измазавшего чернилами даже щеку.

Им так и не удалось умыться. К ним в кабинет вошла группа людей, очевидно иностранцев, возглавляемая директором библиотеки.

— Вот он, наш переводчик, — сказал Кадыров.

Курбанов запрыгал им навстречу на одной ноге, удерживая под мышками костыли.

«Молод, — отметила про себя мисс Фокс. — И очевидно, недавно лишился ноги. Прыгает, как человек, не привыкший пользоваться костылями. Что с ним могло случиться?..»

— Познакомьте меня, пожалуйста, — попросила мисс Фокс. — Мне очень хочется пожать руку человеку, который так любит Англию.

Курбанов, не глядя на мисс Фокс, пожал ей пухлую, мягкую, как булка, руку, а затем и руки остальных туристов.

— Мы подарили экземпляр вашей книжки мисс Фокс, — сказал директор библиотеки. — Она хорошо понимает таджикский, и ей очень понравился ваш перевод.

— Он произвел на меня огромное впечатление! — подтвердила мисс Фокс. — И мне было бы очень приятно, если бы вы на этой книжечке оставили свой автограф.

Кадыров любезно подал Рустаму авторучку.

Рустам на минутку задумался. А затем, не присаживаясь, склонился над столом и быстро, размашисто написал что-то, наспех попрощался и запрыгал на своей одной ноге к двери.

Эжени Фокс разобрала надпись, покраснела, а затем вслух перевела ее на английский.

«Англичанке мисс Фокс от таджика Рустама Курбанова, который под Сталинградом вместе со своими товарищами спас Англию от национальной гибели».

**Глава восемнадцатая, в которой
убедительно доказывается, что
наполовину пустая бутылка ликера
опаснее стартового пистолета**

Мы живем в сложном мире — в мире, где духовные и моральные проблемы являются еще более сложными, чем экономические и технические.

Мак-Кефрей

Телевизоры стояли на столах, под столами, в проходах. Их было очень много в этой просторной мастерской, и старшему сержанту Грише Кинько показалось, что люди, которые здесь работают, то появляются из ящиков телевизоров, то снова исчезают в них.

— А такой аппарат вы видели? — спросил у Гриши Ибрагимов, показывая телевизор с очень большим, по меньшей мере в два раза большим экраном, чем был у «Темпа», — хорошо знакомого Грише телевизора, — он стоял в их ленинской комнате. — Экспериментальный образец московского завода. Но капризничает. Хотите участвовать в его наладке?.. Тем более что хозяин этой машины — один мой знакомый... Он, как и вы, военный служащий, — Ибрагимов улыбнулся весело и заразительно. — Но немножко выше вас званием. Он полковник... Да вы с ним, наверное, немного знакомы. Вы знаете полковника Емельянова?

— Знаю, — нерешительно ответил Гриша.

— Он у вас командир части? — и, не ожидая ответа Гриши, продолжал: — А часть у вас, значит, как я понял из слов полковника, радиолокационная?

Гриша помолчал, а затем, глядя прямо в глаза Ибрагимову, сказал медленно и строго:

— Вы, Александр Александрович, в прошлый раз говорили мне, что на такие вопросы нужно отвечать неправду. А я не хочу говорить вам неправду. И можете на меня обижаться, но вы служили в армии и знаете: это военная тайна.

— Какая же тут тайна? — рассмеялся Ибрагимов. — Спросите у любого человека в нашем ателье: чем командует полковник Емельянов, и все вам точно ответят...

Гриша помолчал, а затем спросил:

— Скажите, пожалуйста, какие это приборы? Специальные?

— Вот этот, — охотно ответил Ибрагимов, показывая приборы, стоявшие на грубом столе, за которым он работал, — называется генератор качающейся частоты — НПТ. По сути, это тот же самый катодный осциллограф, но приспособленный для настройки телевизоров. Это, — показал он на другой ящик, — генератор стандартных сигналов — ГСС-17, с частотной модуляцией. А вот такого прибора вы пока нигде не увидите, — сказал Ибрагимов, с торжеством повернув к Грише прибор, заключенный в деревянный неполированный ящик. — Это моя собственная конструкция. С помощью этого осциллографа можно свободно рассматривать отдельную строку. Его-то мы сейчас и подключим к телевизору вашего полковника. Я за этот прибор получил две премии и авторское свидетельство как за изобретение.

«Люди, которые утверждают, что дурак легко разглашает военную тайну, — сами дураки, — думал Ибрагимов, показывая Грише приборы для настройки телевизоров. — Тайну легче разглашает умник. Потому что считает — ничего страшного нет, если я скажу о своей военной специальности, ведь таких, как я, в армии сотни тысяч. Или если назову номер своей части — это и так всем известно. Умник думает, что все в этом мире относительно и поэтому ничего не стоит принимать всерьез. А дурак... Или, скажем, мягче: наивный человек всегда полон сознания ответственности за порученное дело. Умнику кажется, что он больше своего дела. А дураку — что он меньше. Поэтому никто так строго не выполняет всех инструкций, как дураки. Они в этом отношении поступают так, как поступают лишь самые умные люди. Лишь по-настоящему умные люди».

— Здорово! — сказал Гриша с неподдельным восхищением. — Это очень здорово — самому что-нибудь придумать... полезное для народа! И самому же сделать... своими руками... А не только мечтать...

— Вы паять, конечно, умеете? — спросил Ибрагимов.

— Умею, Александр Александрович.

— Вот на эту плату мы и перепаяем новые сопротивления. Вы мне поможете...

Он вручил Грише электрический паяльник, и они занялись перемонтировкой сопротивлений.

— Прибор — это, конечно, дело хорошее, — сказал Ибрагимов. — И приемник — это тоже неплохо. Но ведь вы, товарищ старший сержант Григорий Осипович, выдвинули идею

поинтереснее моего прибора... Что же нового слышно о самонаводящихся ракетах?

— Я советовался с нашим инженером,— невесело ответил Гриша.— Он сказал, что эта идея осуществлена уже несколько лет тому назад. Что я изобрел велосипед...

— И вы никуда не сообщали о своем замысле?

— Нет,— ответил Гриша.— Зачем же сообщать, раз это уже сделано без меня.

«Идеи действительно носятся в воздухе. Если этот недалекий паренек смог додуматься до ракет, самонаводящихся по волнам локаторов, значит действительно не может у одного государства появиться открытие, чтобы его не повторили немедленно ученые другого государства... Но то ученые. А ведь это просто наивный мальчик. И может быть, учись он в самом деле, он мог бы стать крупным конструктором. Если сейчас сумел до этого додуматься. Тем более что — и в этом надо отдать справедливость русским — у них выдвинуться способному человеку легче, чем где бы то ни было в мире».

— Это вы напрасно,— сказал Ибрагимов, зачищая наждаком контакт конденсатора.— Нужно все-таки послать письмо с этим предложением.

— Зачем? — не понял Гриша.— И куда?

— Вы ведь не знали, что такие ракеты уже есть. Значит, вы самостоятельно додумались до того, что придумали ученые. Если вы напишете письмо о своем предложении хотя бы в Министерство обороны, на вас обратят внимание как на талантливого человека, помогут получить специальное образование...

— Как же можно написать, что я придумал эти ракеты, когда я знаю, что они уже есть? Ведь могут подумать, что я поступил... ну... нечестно...

— Да,— сказал Ибрагимов,— это действительно может получиться. Могут подумать...

«Неужели и я в его возрасте был таким же чистым, добрым и глупым? — думал Ибрагимов, живо и занимательно рассказывая Грише, как переделать схему такого телевизора, когда душанбинская студия начнет программу цветного телевидения.— Нет, в его годы я уже чувствовал себя старожилом в Америке».

Он вспомнил, как плакала его мать, когда отец, иранский адвокат и хозяин юридической фирмы, направил его, шестнадцатилетнего мальчика, в 1944 году в Соединенные Штаты. Учиться коммерции. Его отец — образованный властный человек — собирался вложить свои деньги в торговлю в Иране аме-

риканскими автомашинами, и сын его должен был получить соответствующую подготовку и завести необходимые знакомства.

Еще в колледже Сандро Алави — так его звали в самом деле — понял, что главное и в коммерции и в жизни — не знания, не расчет, а обаяние. Обаятельный человек может достигнуть всего на свете. Он добьется такой выгоды в торговой сделке, какой никогда не достигнет даже самый настойчивый и целеустремленный коммерсант, он продаст то, чего покупатель не взял бы ни у кого другого, ему сойдет с рук такой поступок, который вызовет величайшие осложнения у всякого другого человека.

Это обаяние его и погубило. И спасло.

Он проходил практику в крупной фирме, занимающейся продажей поддержанных автомобилей. Он работал там в рекламном отделе. Случилось так, что он познакомился с женой шестидесятилетнего владельца фирмы Армстронга — тридцатилетней Аннет. Уже тогда, как, впрочем, и впоследствии, обаяние его действовало безотказно. Но Армстронг оказался человеком ревнивым. Он застал Сандро в собственной спальне с собственной женой. Армстронг дважды успел выстрелить из пистолета, перед тем как Сандро успокоил его ударом по голове полупустой бутылкой сладкого и липкого ванильного ликера, который так нравился Аннет.

Он до сих пор не понимал, за каким чертом старику понадобилось стрелять из стартового пистолета, служившего игрушкой внуку Армстронга от сына первой жены. Бутылка была, несомненно, более опасным оружием, и старик не вынес ее удара.

Сандро был арестован. На следствии он не смог доказать, что ударил Армстронга с целью самообороны. Какая же самооборона, если из таких пистолетов на задворках любого дома непрерывно палили мальчишки, игравшие в гангстеров и войну.

Убийство Армстронга вызвало большой скандал, основательно к тому же раздутый газетами. Сандро Алави грозило двенадцать лет каторжных работ.

И тут-то ему повезло. К нему в камеру в сопровождении начальника тюрьмы вошел человек, словно служивший моделью художникам для изображения сенаторов. У него были совершенно седые волосы, совершенно черные брови, костюм от дорогого портного — в общем большой босс. Как вскоре узнал Сандро, это и в самом деле был большой босс — Уильям Питс, один из деятелей Центрального разведывательного уп-

равления. Жестом руки Питс отправил начальника тюрьмы, внимательно посмотрел на Сандро, по-видимому, остался недоволен, повернул к двери, но вдруг задержался и спросил:

— Ты что, паренек, не умеешь отличить стартового пистолета от настоящего?

Сандро придал своей подвижной физиономии то выражение, какое сам про себя он называл «номер один» — самое неотразимое; он понимал, что именно в эту минуту может решиться его судьба, хотя еще не знал как, и весело ответил:

— Легко отличаю. Но только в тех случаях, когда из него стреляю я, а не в меня.

Питса «номер один» проняло. Он улынулся в ответ.

— И ты хочешь научиться стрелять?

— Очень хочу.

— Ну что ж... Хотя ты и не слишком подходишь под мерку... Но попробуем...

Он думал, что его освободят в тот же день, но его еще с неделю продержали в тюрьме, а потом состоялся суд, где с соблюдением всех правовых норм было несомненно доказано, что Армстронга он ударил с целью защиты не столько собственной жизни, сколько жизни несчастной Аннет, что в спальню к ней он попал лишь затем, чтобы вручить ей приглашенный билет на концерт только входившего тогда в моду Адамса, и что он никак не мог знать, что пистолет этот был стартовый.

Вскоре он был направлен в разведывательную школу. Он не жалел, что так неожиданно переменялась его профессия. Ему новое дело нравилось.

Внешне он мало походил на людей того типа, каких обычно вербовали в эту школу, — незаметных, ничем не выделяющихся из массы, способных словно растворяться среди окружающих. Нет, его неправильное лицо отличалось броской мужской красотой, речь — темпераментом, одежда — модным покроем, он был весел и общителен.

Он был убежден, что серый, неприметный, осторожный агент как тип пользуется такой известностью, что обратит на себя большее внимание, чем человек яркий, уверенный в себе, выделяющийся из массы.

Первое свое задание он выполнил отлично. Год без малого он провел в Азербайджане под именем Александра Александровича Ибрагимова, мастера по ремонту радиооборудования. Очень трудным и сложным было возвращение. Но и здесь ему повезло. Он охотно полетел и во второй раз, в Таджикистан. В самолете он был отгорожен занавеской от еще трех человек,

которые должны были выбраться в этих же местах. Чтоб они его не видели. Он прыгал в обыкновенном костюме, без всякого багажа. Даже без пистолета. Он считал, что пистолет в руках агента представляет большую опасность для него самого, чем для тех, против кого он может быть направлен. Страшно было в минуты спуска. Казалось, что внизу тебя ждут. Что спускаешься прямо в руки скрытых ночной темнотой контрразведчиков. Влажное, мгновенно пропитавшееся потом белье липло к телу и воняло, как на цирковой арене во время тренировки партерных акробатов.

Зато потом все вошло в нормальную колею. Поступил на работу, где сразу был оценен как хороший мастер. Стал рационализатором. Схему модернизированного осциллографа он помнил назубок. Эту схему для него подготовили инженеры «Дженерал электрик». Фирма собиралась запускать ее в производство только через год, но для разведки не пожалели производственного секрета. Схема и впрямь была хороша. Сам бы он до такой никогда не додумался...

Он сумел создать для себя постоянную клиентуру, в основном из числа военных. Поступил на курсы иностранных языков. Хорошо зарабатывал, легко тратил деньги. Пользовался неизменным успехом у женщин. В этом он не притворялся — легко влюблялся, легко становился любимым, умел оставаться добрым другом даже с теми, с кем расставался помимо и против их воли.

Был по-настоящему удачлив, жил весело, вел себя уверенно и смело. Он купил мощный мотоциклет с коляской и был известен регулировщикам тем, что не давал обогнать себя ни одной автомашине.

Так и жил он. И жизнь эта ему нравилась. Считал, что сшита она как раз по его мерке. И нервы у него были в полном порядке. Однажды даже не поленился — сходил к невропатологу. К самому лучшему в городе. Тот сказал, что его нервной системе можно позавидовать. И все-таки нервы сдали — он стал удивительно суеверным. Не переносил, если кошка перебежала дорогу, особенно черная. Понимал, что это глупо, а вот не переносил.

«Но это, — думал он, — могло бы появиться у меня и если бы я торговал автомашинами в отцовской фирме. Да в конце концов если бы я жил по-другому, скажем, в Чикаго. Без риска. Могла бы и там меня сбить автомашина. Или в руках у Армстронга мог оказаться не стартовый, а настоящий пистолет. Или я мог бы заболеть каким-нибудь лейкозием. Всякая жизнь — это риск, это постоянная борьба со смертью.

Главное, чтоб не изменила удача. «Маш алла», — как говорил покойный дедушка. «Все — в руках аллаха».

Он проверил, как работает телевизор, поблагодарил Гришу Кинько за помощь, без которой он бы справился с этим делом значительно быстрее, вручил Грише книгу «Ремонт и настройка телевизоров» и точно к назначенному времени успел на свидание с красивой и веселой Маргаритой Аркадьевной — преподавательницей английского на курсах иностранных языков. Муж ее называл Ритой, а он — Марго.

«Нужно же хоть в чем-то отличаться от мужа», — думал Ибрагимов.

Глава девятнадцатая, о том, как любовь ученого зародилась на кухне

Ничего нет в разуме таиного, чего бы не было раньше в чувстве.

Фома Аквинский

Нужно было уходить.

Он пришел на кухню, чтобы вылить в раковину ярко-синюю воду — у него засорилось автоматическое перо, и он промывал его в стакане. Он вылил воду, и теперь нужно было уйти или что-то сказать. Что-нибудь. Ну хоть: «Хорошая сегодня погода». Или: «Не знаете ли вы, который час? У меня часы спешат. Или отстают».

Но он стоял у раковины с пустым стаканом в руке и молча наблюдал за тем, как Таня моет посуду.

Он подумал, что это похоже на мост. На ажурный мост, который кажется таким красивым потому, что во всем этом строении нет ни одной лишней перекладины, что все служит определенной цели. Все ее движения были очень быстры, но без малейшей суеты, очень согласованы между собой и как-то на редкость приятны. И вообще ему никогда не приходило в голову, что мытье посуды может быть таким удивительно красивым зрелищем. И сама Таня в клеенчатом фартуке поверх вызывающе яркого платья из светлой ткани, украшенного красными, черными и желтыми полосами, вдруг предстала перед Володей в каком-то новом свете.

— Очень здорово вы это... — неожиданно для себя сказал Володя. — Посуду моете...

— Как — здорово? — повернула к нему Таня раскрасневшееся лицо.

— Ну быстро очень. И ловко.

— Спасибо, — с нарочито преувеличенным достоинством поблагодарила Таня. — Я, как, наверное, и все остальные женщины, помню все комплименты, сказанные мне когда бы то ни было за всю мою жизнь. Но такого я действительно еще не получала. Тем более что точно так, как я, очевидно, моют посуду все, кому приходится это делать.

— Нет, нет, — сказал Володя, — вы просто не понимаете... Я просто не это хотел сказать... Я просто подумал...

Так и не сообщив о том, что же он «просто подумал», Володя со стаканом в руке ушел из кухни.

Таня ополоснула вымытую посуду кипятком и принялась вытирать тарелки. Делала она это быстрыми, четкими и спорными движениями. Она в самом деле любила мыть посуду, как иные любят вышивать, перебирать бисер, раскладывать пасьянс — это занятие всегда успокаивало ее и отвлекало. Но сейчас, после слов Володи, она как бы посмотрела на себя со стороны, и вдруг оказалось — то, что прежде у нее получалось само собой, требует теперь внимания и сосредоточенности. Широкая и плоская тарелка неожиданно выскользнула у нее из рук, шлепнулась плашмя на пол и раскололась на две части.

Таня бросила разбитую тарелку в ведро для мусора.

Как это Густав Мейринк писал о тысяченожке? — старалась припомнить она. Это и в самом деле было похоже. Тысяченожка плясала на камне, извиваясь кругами и восьмерками. Завистница жаба обратилась к ней с таким вопросом: «Откуда ты знаешь, какой ногой начать, какая будет второй и третьей, какая пятой и шестой, затем вступит десятая или сотая, что в это время делает четвертая и седьмая? Когда ты поднимаешь девятьсот семьдесят третью ногу, опускаешь ли ты тридцать девятую, сгибаешь ли ты семисотую и протягиваешь ли четырнадцатую?» И тысяченожка замерла, словно прикованная, и не могла уже сдвинуться с места. Она забыла, какой ногой ступить первой, и чем больше думала об этом, тем больше путалась.

Горькая шутка. И шутка ли? Пока все шло само собой — все вокруг казалось простым и понятным. Но если хоть на минутку задуматься о том, какой ногой сгибаться седьмой...

Почему Машенька дичится своего блестящего, эффектного отца и тянется к неловкому, молчаливому Володе? Почему она сама, поддерживая общий тон, ведет себя с Евгением Ильичом так, словно само собой подразумевается, что их отношения будут теперь восстановлены, хотя ведь она-то лучше, чем кто бы то ни было, знает, что ничто не восстановится, что ничего не восстановить. Почему она надела это платье, о котором отец говорит, что такие яркие краски ему до этого случалось видеть только в спектре двууглекислого натрия? Почему ей интересно, что думает о ней этот рыхлый и нелепый Володя, и почему в его присутствии она старается говорить умнее и интересней, чем обычно, и отец это видит и поглядывает на нее искоса и с любопытством? Неужели для того, чтобы вызвать ревность у мужа? Неужели она так плохо себя знает, что сама не может понять причин, которые побуждают ее поступать так или иначе? Неужто в самом деле осознать,

чего ты хочешь, бывает подчас так же трудно, как осуществить то, чего ты хочешь?

На кухонном столе все росла и росла стопа насухо вытертых тарелок. Таня сняла фартук и выглянула в окно. В садике на узкой скамейке без спинки сидел Володя Неслюдов с раскрытой книгой на коленях. Рядом с ним — на трехколесном велосипеде, держась руками за руль, глядя вниз и слегка поворачивая педали то назад, то вперед, Машенька.

Машеньке нравились ученые люди. Правда, она пока знала только двух ученых — своего дедушку, Николая Ивановича, и этого толстого человека, которого она про себя звала Володей, а вслух Владимиром Владимировичем. Но и по этим двум людям она составила себе ясное представление о том, кто такие ученые. Это люди, которые чего-либо не знают. Большой, и как говорили о нем все, когда его не было, ученый Володя, например, не знал, как кричит ишак. И когда увидел заспиртованного богомола, спросил, не кусается ли этот жук. Дедушка за столом спрашивал, где находится какой-то город с названием, похожим на ужа — длинным и вьющимся, — она забыла каким. Или: как зовут какую-то живую королеву? Очевидно, ему, как и ей, было странно, что где-то до сих пор есть, как в сказках, живая королева.

А вот бабушка и мама, например, всегда все знали. В общем Машенька считала себя близкой к ученым людям, так как имела такую же, как они, привычку расспрашивать обо всем. Была и еще одна сторона, которая привлекала Машу к Володе, — чисто эстетическая. Володя, наверное, был бы очень удивлен, если бы узнал, что Машенька считает его самым красивым из всех людей, каких она видела. Просто Володя был единственным из знакомых Маше взрослых людей с совершенно детским лицом.

— Нет, — сказал Володя со свойственной ему добросовестностью, — с парашютом я ни разу не прыгал. Как-то не случилось. Но с зонтиком прыгал в самом деле. Когда был маленьким. Таким, как ты, или чуть постарше. С комода. И если Николай Иванович позволит нам взять его энтомологический зонтик, то ты тоже спрыгнешь с перил веранды, совсем как на парашюте...

— А я не разобьюсь? — спросила Маша.

— Нет.

— Но дедушка не даст своего зонтика. Он говорит, что это научный зонтик, и сердится, когда я его трогаю.

— Мы все-таки попробуем убедить его, что зонтик нам необходим.

Володя вспомнил, как Николай Иванович, наблюдая за тем, как Машенька катается по узкой, вымощенной кирпичом дорожке в саду за домом на трехколесном велосипеде, сказал вдруг негромко:

— Вот у меня в детстве никогда не было трехколесного велосипеда. А у вас?

— У меня был,— ответил удивленный Володя.— И трехколесный и двухколесный.

— А у меня, как это ни грустно, не было. Но вот зато внимания мне уделяли значительно больше, чем Машеньке, и относились ко мне лучше и ласковей, и занимал я место в жизни семьи значительно большее, чем Машенька.

Девочка... Станный маленький человечек, который в общем так похож на взрослую женщину — с ее неожиданной пронизательностью и лукавством, с ироническим взглядом на мир и способностью увлекаться самой незначительной малостью... Когда-то в детстве он мечтал о том, как было бы хорошо, если бы существовали миниатюрные живые зверьки — ну вот, например, лисица, самая настоящая, с пушистым хвостом, но такого размера, что ее можно посадить на ладонь. С палец величиной. Или такая же собака. Он любил ящериц, потому что они, как ему казалось, были созданной природой миниатюрной моделью крокодила.

Но девочка не была моделью человека. Она была человеком. И он ловил себя на том, что часто думает о ней, когда остается наедине с собой. Это было странно, но она занимала его больше, чем Ольга. Он не мог объяснить этого самому себе, но в присутствии Ольги он всегда чувствовал себя каким-то чужим человеком. Чужим не только ей, ее манере говорить и смеяться, ее интересам и занятиям, но чужим этому дому, этому городу, а может быть, и этому миру.

И наоборот, когда рядом с ним бывала Машенька или ее мама — Татьяна, да, пожалуй, и Николай Иванович, он чувствовал себя словно приобщенным к их жизни, к их настроению, к их мыслям, и от этого ему самому думалось как-то легче и лучше.

Из дому на веранду вышел Евгений Ильич, худощавый и стремительный, в жемчужно-сером, строго сшитом костюме и такой ослепительно белой рубашке, что Володя таких не только не нашивал, а, наверное, никогда в жизни и не видел. Широкими и легкими шагами он направился к Володе.

— Здравствуйте,— сказал Володя, нерешительно поднимаясь со скамейки.

Евгений Ильич не ответил.



— Машук,— сказал он, поворачивая Машеньку за плечи к себе лицом,— ведь мы собирались сегодня покататься на машине. Пошли.

Он крепко взял Машу за руку и повел ее к выходу со двора. Володя растерянно смотрел им вслед.

Такое чувство появилось у него впервые в жизни.

А чувствовал он, что это уведат его Машеньку.

И от него.

Глава двадцатая, повествующая об ангелах в белых свитерах и с членистыми крыльями

Что бы там ни говорили, а добрых дураков на свете нет... Если и не все дураки злы (в чем я сильно сомневаюсь), то зато все злые — дураки.

Э. Лабулэ

«Ну и пусть,— подумал лейтенант Аксенов, когда увидел, как толстый и усатый полковник медицинской службы, одетый в короткий и узкий, расстегнутый на животе халат, переглянувшись с их палатным врачом Ксенией Ивановной.— Ну и пусть».

— Платифилин! И побыстрей,— фыркнул полковник.

Ему было хорошо вот так лежать и не сопротивляться, было спокойно и немножко горько. Ему хотелось спросить; скоро ли он умрет, но он знал, что ему все равно не ответят, что полковник фыркнет: «Глупости, глупости, от воспаления легких еще никто не умирал», но он-то знал, почему полковник так сердит, а медсестра Наташа так взволнована, и ему было немножко жалко их и немножко грустно за себя.

Вчера он написал Ольге письмо — вчера ему хотелось, чтобы она знала, как он болен, как ему плохо, чтоб ее мучила совесть, чтоб она поняла — это она виновница всех его несчастий, чтоб ей было стыдно за сильных людей, которые всегда отнимают все у слабых. Да, он не был сильным и умным, как Шарипов или Ведин. Он обыкновенный, неумелый человек. Но он хороший человек, он никогда и никому не причинил зла. Разве он виноват, что все получалось у него не так, как он хотел? Даже в госпиталь он попал не так, как хотелось бы — не после ранения, полученного в единоборстве с матерым агентом иностранной разведки, а после гриппа, на который он не обратил внимания. И вот — воспаление легких. Тяжелое воспаление легких.

Раньше ему хотелось быть таким, как Степан Кириллович, как Шарипов или еще лучше Ведин, — сильным и умным, целеустремленным человеком. Но сейчас он думал о том, что это совсем не нужно. Разве только сильные и целеустремленные люди должны жить на земле? И разве обязательно человеку нужны слава, или известность, или даже авторитет? А если

просто жить — любоваться закатами и слушать, как ветер шевелит ветви деревьев, и ходить по улицам, ощущая, как мягко погружается каблук в разогретый асфальт, и вдыхать запах бензина, остающийся за проезжающим автомобилем, запах, который так не нравится некоторым людям и который так приятен.

Еще недавно ему хотелось совершить какой-нибудь подвиг, чтоб о нем все говорили, чтоб Ольга жалела и раскаялась в том, что сразу его не поняла. Или чтоб Шарипов оказался просто подлецом и оставил Ольгу, чтоб она в слезах пришла к нему и чтоб он ей гордо ответил: «К прошлому нет возврата». Но сейчас он жалел Ольгу, и желал ей счастья, и впервые понял слова Пушкина, прежде казавшиеся ему такими необъяснимыми: «Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам бог любимой быть другим». Дай бог, чтобы этот Шарипов с его маленькими, бантиком губами и неестественно правильным русским языком в самом деле полюбил так, как любил он, Аксенов... Дай бог...

На слове «бог» он задремал. И ему привиделись ангелы в белых свитерах, с металлическими членистыми крыльями — такими, как были у этого... Столярова, что ли?.. из кинофильма «Цирк», когда этот красивый, сильный, плечистый парень, расправив крылья, в белом свитере взлетает под купол.

Эти ангелы были сильными, и красивыми, и мужественными, и они сталкивались один с другим в воздухе, и пинали друг друга ногами, и били мускулистыми и красивыми руками, и свергали друг друга вниз, и снова взмывали вверх.

Сильные люди... умные люди, думал Аксенов, рассматривая ангелов. Но ведь это они, сильные и умные, придумали атомную бомбу и решили сбросить ее на японский город Хиросиму, и сбросили, и сожгли столько тысяч ни в чем не повинных людей. Это сделали ученые и умные люди. А слабые и глупые никогда бы до этого не додумались. И еще неизвестно, что принесло людям больше вреда, кто принес людям больше вреда — все эти сильные и умные, как Шарипов, люди или такие слабые, как он, Аксенов.

Он рассматривал роящихся в воздухе, как мошкара, стелющихся, падающих и взмывающих ангелов в белых свитерах, с металлическими крыльями, и думал о том, что не хочет принадлежать к числу этих сильных людей.

Ночью ему было жарко и плохо — он метался и стонал, а ему делали уколы, и он слышал, как кто-то сказал: «Кризис». Но он знал, что кризис — это в капиталистических государствах, когда жгут хлопок и пшеницу сыпают в море, но «кри-

зис» значило еще что-то очень важное, очень связанное с ним, и он никак не мог вспомнить, что именно, и только повторял:

— Да, да, в море... пшеницу в море... И хлопок... В море и в огонь... А преимущества социалистического... Плановость... И еще есть слово... Я забыл какое... Плановость и... Я потом скажу... Я хочу спать... Я обязательно скажу... Но я хочу спать...

И он заснул.

Он проснулся под утро, когда серый свет из окна, смешиваясь с желтым светом электрической лампы, загороженной газетой, окрасил белый потолок в ту непонятную краску, о которой нельзя сказать — то ли она розовая, то ли голубая. У своей щеки и у губ он чувствовал что-то очень живое, очень хорошее, очень мягкое и душистое. И еще он чувствовал, что совсем здоров, что ему весело и хорошо, только в руках какая-то слабость.

Он осторожно повернул голову и увидел, что на подушке рядом с ним лежит медсестра с нежным именем Наташа. Она дежурила возле него и заснула на стуле, согнувшись, упав вперед лицом на подушку. Когда он попал в госпиталь, он сразу узнал Наташу. Она училась в одной школе с ним и Ольгой. Только младше тремя классами. Она очень переменилась — стала старше, лучше.

Он отодвинулся, посмотрел на девушку и ощутил захлестывающую, беспричинную радость — оттого, что все так замечательно в этом мире, и оттого, что есть этот мир. Только жалко было эту Наташу. Что она заснула, согнувшись на стуле и положив голову на подушку. Но он не стал ее будить, а осторожно погрузил пальцы в ее нежные волосы и снова прижался к ним щекой, чтобы восстановить ощущение, с которым он проснулся.

«Что же это было? — думал он. — Какие-то ангелы... Но при чем здесь ангелы? Это все мне снилось. А я здоров и делаю что-то очень хорошее. Что-то просто замечательное. Чтобы всем было хорошо. И особенно этой Наташе...»

Он снова заснул и снова проснулся с тем же ощущением полного и цельного счастья, но Наташи рядом с ним уже не было. Она пришла позже, перед сдачей дежурства, и смотрела на него так радостно и благодарно, словно он уже совершил этот свой главный подвиг в жизни.

«Ах, как хорошо, как славно! — думал Аксенов, когда Наташа ушла. — Что я уже здоров. Что выздоравливаю. Когда я выйду из госпиталя, я буду жить совсем по-другому. Я начну новую жизнь. Буду раньше вставать. Обязательно делать за-

рядку. И не под радио, а большую зарядку, как рассказывал майор Ведин, с эспандером. И обливаться холодной водой — для закалки. Брошу курить. Как генерал-майор Коваль. Буду работать над собой. Учиться. Каждый день. Сдам экзамены в академию. И я еще докажу... Я всем еще докажу, что я умею работать не хуже майора Шарипова. Даже лучше. Вот только Ольга... Как стыдно, что я написал ей это глупое письмо... — он сморщился от стыда. — Но это неважно. Я ей все объясню... А сейчас я позавтракаю и опять засну. Мне нужно побольше есть и спать: ведь я выздоравливаю... Но это славно и хорошо... И эта Наташа, и эти ее душистые волосы, и то, как она спала на моей подушке... Очень славно и чисто... Славно и хорошо...»

Он никогда не видел Ольгу в халате, и она показалась ему какой-то бесформенной, особенно в сравнении с Наташей, которой белый халат был удивительно к лицу, но врожденное чувство справедливости заставило его подумать: Наташа надевает с в о й халат, а Ольге дали ч у ж о й.

— Ты получила мое письмо? — спросил он, после того как Ольга рассказала, что говорила с палатным врачом о его здоровье и что нет никаких сомнений — скоро он будет совсем здоров.

— Нет. Мне сказали... что ты в госпитале.

Она не назвала, кто именно «сказал», но Аксенов это и так понял.

— Ты его и не читай. Просто порви. Я просто тогда, понимаешь, плохо себя чувствовал. Температура и всякое такое... Ты его порви. Порвешь?

— Хорошо, — охотно согласилась Ольга.

— А в самом деле я думаю совсем по-другому. Я думаю, что нужно разговаривать прямо и откровенно. И я хочу тебе сказать...

— Может, мы поговорим обо всем этом, когда ты выздоровеешь?

— Нет, я себя совсем хорошо чувствую, — сказал Аксенов, приподнимаясь на локте. — И ты не обижайся, но я буду говорить обо всем прямо...

Ольга молчала.

— Некоторые люди говорят, — продолжал Аксенов с новыми жесткими нотками в голосе, — что связывает не бумажка, не брачное свидетельство. И это верно. Я очень много думал над этим. Не бумажка и не то, что люди — извини меня — живут друг с другом как муж и жена. А совсем другое. То, как они относятся друг к другу, дружат ли, любят ли друг

друга... То, как долго это продолжается и насколько это важно для них. И вот если так посмотреть на то, что мы с тобой дружили и любили друг друга многие годы, еще со школы, то выйдет, что мы самые близкие люди. Но потом ты встретила с майором Шариповым и полюбила его. Ты решила, что он лучше меня. Может быть, он и в самом деле привлекательнее, чем я, — он старше в звании, пользуется авторитетом, Герой Советского Союза, а я пока лейтенант. Но если ты согласна с тем, что я говорил до сих пор, то что же получается?.. Ну подумай сама: если все будут делать, как ты, тогда даже замужние женщины начнут оставлять мужей, чтобы выходить за тех, кто покажется им лучше. И не будет ни верности, ни любви. Потому что после этого лучшего ей кто-то может понравиться еще больше. Раз ты после меня полюбила майора Шарипова, так и он не может быть уверен в тебе. А вдруг ты после него тоже полюбишь еще кого-нибудь. А я не ищу лучшей. Я все равно отношусь к тебе почти по-прежнему. Хотя я и встретил очень хорошую девушку. Как человека и вообще... И я хочу, чтоб ты мне сказала прямо и честно: могут быть между нами прежние отношения? Или нет?

— Нет, — ответила Ольга. — Ведь ты это сам знаешь. Может быть, ты и прав. Я часто думаю о тебе и вспоминаю... И понимаю, что я перед тобой виновата. Но мне бы хотелось, чтобы мы остались друзьями. Хорошими, настоящими друзьями.

— Так не бывает, — ответил Аксенов, спокойно и строго глядя ей прямо в глаза. — Я не могу дружить с человеком, которого не уважаю.

Когда Ольга ушла, он не жалел о ее уходе. Он ее вычеркнул. Впервые он вычеркнул из своей жизни близкого человека и понял, что ему это придется делать еще не раз.

«Ничего, — думал он. — Это не так трудно. Я с этим справлюсь. Нужно только так думать, чтоб одно вытекало из другого, а другое из третьего. Нужно думать одной головой. Так, чтоб душа в этом не участвовала. Словно ее нет. И тогда очень спокойно и просто все становится...»

И он сейчас же забыл об уходе Ольги и о своем с ней разговоре, а стал снова радоваться тому, что он выздоровел и придумал так правильно и разумно устроить свою жизнь.

Глава двадцать первая, из которой становится известно, как бы хотел умереть майор Ведин

И сказал господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва окажется углубленною в кожу тела его, то это язва проказы; священник, осмотрев его, объявит его нечистым... У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать: «Нечист! Нечист!»

Библия, «Левит» XIII

Ведин не верил в удачу. Он много раз слышал, что бывают случаи, когда агент иностранной разведки попадает на какой-нибудь чепухе. Ну, например, на том, что начинает убежать от милиционера, который хотел указать ему, что он не там перешел улицу. Или что карманный воришка вытащил у резидента бумажник с шифрами и тому подобными аксессуарами шпионских романов и передал этот бумажник органам государственной безопасности.

Шарипов любил распевать одну песенку с разухабистой мелодией на эту тему. Как к жулику подошел «подозрительный гражданин» и предложил ему «деньги-франки», чтобы он для него добыл военный план. Жулик взял у него «деньги-франки» и даже отнял чемодан, после чего передал властям НКВД, «с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде. Меня ласкали власти, жал руку прокурор, а после посадили под усиленный надзор...».

В песенке все это выглядело смешно и приятно. Но в жизни он к удачам такого рода относился подозрительно, с недоверием, считая, что, если только случайность могла выявить и задержать агента, значит в нормальных условиях, без нее, он мог бы продолжать свою деятельность, из чего следовало, что чекисты плохо справляются с порученным им делом. Случайности, интуиция — все это, конечно, очень хорошо. Но главное — постоянная, настойчивая, неутомимая работа. В конечном итоге серьезные результаты может дать только она.

Даже в игре на бильярде... Конечно, Шарипов может дать подставку, может промазать шар, считающийся верным даже не у такого классного игрока, как Шарипов. Но рассчитывать приходится не на это. Рассчитывать приходится на другое. Нужно как можно лучше прицелиться, как можно точнее ударить, а если смазал, постараться понять причину и не повторять ошибки. В этом и состояли правила игры.

Конь звонко и весело постукивал подковами по каменистой дороге, и ему нравилось вот так ехать одному в горах, потому что поездка тоже была работой — частью нужного, осмысленного дела, а в горах хорошо дышалось и думалось.

Глубокая, выбитая поколениями лошадей и ишаков горная дорога вилась по самой вершине горного хребта. Горы — издали серо-коричневые, со снежными, словно прозрачными вершинами — вблизи были разного цвета: местами красными от глины, изрезанной сверху вниз глубокими замысловатыми промоинами, местами бурыми: камни, рассыпавшиеся под воздействием солнца и ветра на прямоугольные, словно обрубленные куски разных размеров — от песчинки до скалы. Прямо среди камней бегали, перекликаясь, горные куропатки — кеклики.

На склонах — заросли фисташки, кое-где корявая смолистая арча — древовидный можжевельник — темно-зеленая и низкая. Внезапно вблизи, в зарослях арчи грохнул выстрел, настолько гулкий, что по звуку напомнил противотанковое ружье. Конь, гнедой, англизированный текинец, дернулся, сбился с аллюра и запрядал ушами. Ведин свернул с тропы к зарослям.

Старик в гиджуванском, толстом, мелкой стежки старом халате, с полами, подоткнутыми за пояс, перезаряжал мултык — старинное ружье с двумя деревянными сошками, которые при стрельбе упирались в землю.

— Салам алейкум! — Мир вам! — поздоровался Ведин. — Куда это вы стреляли?

— Алейкум ас-салам! — И вам мир! — с любопытством поглядывая на Ведин, ответил старик. — Кеклики...

Ведин увидел неподалеку в траве куропатку. Старик не спешил ее подобрать. Наблюдая за тем, с какой скоростью и сноровкой охотник перезаряжает свое оружие, Ведин впервые понял, что это старинное ружье действительно применялось и на войне.

А перезарядить его было совсем непросто. Для этого нужно было пересыпать из висевшей на поясе роговой пороховницы немного пороха в жестяной наперсток — мерку. Высыпать

порох в ствол поставленного вертикально ружья. Вывать из полы халата клоч ваты и забить ее в ствол деревянным, толстым, как трость, шомполом. Вынуть из кожаной сумочки, тоже подвешенной к поясу, круглую свинцовую пулю, оторвать от висевшей на поясе тряпки небольшой кусочек, поплевать на тряпку, обмотать ею пулю и забить ее шомполом в ствол. Вытряхнуть из бутылочки из-под лекарства пистон и надеть его на коротенькую брандтрубку. И лишь после этого двумя руками взвести курок... И все-таки все это не заняло и минуты.

— Покажите мне ваше ружье,— спешиваясь, попросил Ведин старика. Тот неохотно подал ему свой мультик.

Приклад, грубый и тяжелый, был сделан, очевидно, значительно позже, чем ствол. Но ствол был таким, что ружье не хотелось выпускать из рук,— из великолепной стали, с золотой насечкой арабской, стилизованной вязью. Судя по виду, ковали его в Сулеймании — столице курдов в Ираке,— славившейся в старину своими ружьями.

— Давно оно у вас? — спросил Ведин.

— Очень давно. Я его приобрел в год тигра.

— А сколько тигров?

— Не помню, или три, или четыре.

Старинный таджикский календарь состоял из двенадцати лет: мышь, бык, тигр, заяц, рыба, змея, лошадь, баран, обезьяна, курица, собака, свинья. 1961 год выпадал на год быка, и Ведин высчитал, что ружье у старика не то сорок один, а не то и все пятьдесят пять лет.

— А почему вы не купите себе нового ружья?

— Привык,— ответил охотник.— Хорошее ружье. К вашему ружью нужны патроны, а мое заряжается просто так.

— Послушайте,— предложил Ведин,— давайте меняться...

Он снял с плеча и протянул старику свою дорогую ижевскую бескурковку шестнадцатого калибра.

Старик внимательно осмотрел ружье Ведина.

— Вы собираетесь сдать мой мультик в дом, где хранятся старинные предметы?

— Нет, я просто сам люблю старое оружие.

— Что ж, тогда поменяемся.

Ведин отдал охотнику еще и патронташ с патронами, а старик ему свои припасы. Прощаясь, охотник провел обеими ладонями по лицу сверху вниз — как это делают в знак особого почтения.

«Этот древний мультик мне еще очень пригодится. Он мне уже пригодился,— думал Ведин, снова выезжая на тропу.— Но об этом я потом... А сейчас в лепрозорий».

Ему было чуждо особое любопытство, побуждающее иных людей посещать лечебницы для душевнобольных, морги или операционные. И, несмотря на то, что он еще прежде слышал о расположенном в горах, на берегу реки лепрозории, он заинтересовался тем, что же представляет собой это необычное учреждение, только теперь, когда это было связано с интересами его службы.

Собираясь в лепрозорий, Ведин сумел подавить в себе чувство брезгливости и страха перед проказой. Он мог бы, правда, направить сюда кого-нибудь из подчиненных ему сотрудников отдела, но разобраться сначала самому, составить сначала собственное впечатление и, наконец, выполнить самому то, что ему казалось самым трудным и неприятным, было его давним принципом.

Главный врач лепрозории, толстый, мрачный грек, по фамилии Маскараки, и не скрывал того, как он недоволен и озабочен приездом Ведина.

— Я не могу разрешить вам это свидание,— сказал он, глядя в угол.— Человек очень болен. Это запрещено нашими правилами. Эта встреча не поможет, а только повредит больному.

— Судя по тому, что вы говорили перед этим,— возразил Ведин,— ему уже ничто не может особенно повредить. Но увидеться с ним мне необходимо. И при этом наедине.

— Ну, как хотите,— решил Маскараки.— Но я снимаю с себя всякую ответственность.

— Да, вот еще что,— нерешительно сказал Ведин.— Я не очень разбираюсь в этой штуке... Так как мне?.. На каком расстоянии надо держаться? И можно ли здороваться за руку?

Маскараки дико посмотрел на Ведина, со свистом втянул в себя воздух и выпучил глаза.

— Ну, знаете,— сказал он наконец.— Вам известно, как распространяется проказа?

— Нет,— ответил Ведин.

— И мне не известно. Хотя я занимаюсь этой болезнью тридцать лет и имею научные труды. Ни в коем случае не здороваться за руку. Ни в коем случае не допускать непосредственного контакта.

— А разговаривать на каком расстоянии?

— Что значит — на каком расстоянии? На обычном, как мы с вами говорим. Или вы считаете, что раз хотите поговорить по секрету, так должны шептать ему на ухо?

— Нет,— сказал Ведин спокойно.— Я так не считаю.

— Его приведут сюда, в мой кабинет. А я уйду из своего кабинета... Вас это устроит?

— Я могу пойти к нему...— сказал Ведин.

— Нет, это не нужно. Он придет сюда.

— Товарищ Седых?— спросил Ведин, протягивая руку вошедшему.— Майор Ведин.

Он так растерялся, что силился и не мог улыбнуться. Перед ним был человек в сером фланелевом халате со странным и страшным лицом, напоминавшим морду льва.

— Я не здороваюсь за руку... Боюсь заразиться гриппом,— ответил Седых ненатуральным, сиплым и лающим голосом, который уже не удивил Ведина, так как такой или похожий голос и должен был быть у такого человека.

Седых убрал руку за спину.

— Что вам нужно? Зачем вы меня вызвали?

— Сядем,— предложил Ведин.

И они сели на стулья по обе стороны директорского стола.

— В чем дело?— повторил Седых.

— Вы служили в органах государственной безопасности?— с трудом заставил себя перейти к делу Ведин.

— Служил. И что же там—выявили недостаток полбутылки чернил и восьми скрепок для бумаги?.. И вы теперь приехали потребовать с меня это имущество?— лающе рассмеялся Седых.

— Нет, у меня дело попроще,— серьезно ответил Ведин. Он так и не смог заставить себя улыбнуться.— Я хотел спросить у вас... Не встречали ли вы в последнее время в районе лепрозория каких-нибудь посторонних людей?.. А если встречали, то кто эти люди? Как они выглядели?

— Вы считаете, что я до сих пор состою на работе в органах?

— Да,— жестко сказал Ведин,— мы так считаем. Во всяком случае, что вы до сих пор состоите в партии.

— Не понимаю,— закашлявшись и придерживая грудь руками, сказал Седых.— С тех пор как я заболел, меня никто не навещал. Ни родные, ни товарищи. Считается, что сюда трудно попасть. Хотя, как видите, вокруг нет никаких заборов или загорода. Но как только я понадобился, меня сразу нашли.

— Мне нечего вам на это ответить,— сказал Ведин, заставляя себя смотреть прямо в лицо Седых.— Я понимаю, что вам тяжело. Скажу по правде: я никогда не предполагал даже, что настолько тяжело. И если вы не можете нам помочь—

не нужно. Я вас понимаю, и у меня нет к вам никаких претензий.

— Чепуха,— сказал Седых, и Ведин понял, что Седых улыбается, хотя лицо его не изменилось, оно все время было неподвижно, как страшная и нелепая маска, это лицо.— Я расскажу вам, что знаю. Я получаю газеты. Слушаю радио. И не хуже вас понимаю, что людям грозят вещи страшнее, чем моя болезнь. Здесь нас немного. Очко. Двадцать один больной. И еще медперсонал. Каждый человек на виду. Из посторонних тут бывает молодой узбек—Каримов...—он помолчал.—Хороший человек. Очень хороший человек... Он недавно женился. Жена заболела. Ее поместили к нам. Он был преподавателем в техникуме. Он оставил все и поехал за женой. Как ни гнали его отсюда, а он возвращался. Теперь работает у нас садовником. Он совершенно здоров, хотя все время проводит с женой, как это было и до ее болезни. Этот человек, я уверен, вне всяких подозрений. Но вот километрах в шести отсюда вверх по реке есть небольшой кишлак, а в нем живут люди, прежде считавшиеся больными. Там может быть все, что угодно.

— Что значит «прежде считавшиеся больными»?

Седых рассказал, что лепрозорий этот был организован в первые годы советской власти. Со всей Средней Азии, с базаров и горных кишлаков собрали сюда несчастных людей, годами не знавших врачебной помощи и живших подаянием. Однако больных проказой среди них оказалось не так уж много. Прокаженным считался всякий, у кого на теле пятна и язвы, а мало ли от чего могли появляться пятна и язвы при том уровне санитарии и гигиены. Больных проказой поселили в трех больших двухэтажных каменных домах, выстроенных на берегу, а остальных—отторгнутых обществом, но фактически здоровых людей—в отдельном поселке. Многие из них, их дети и внуки живут там по сию пору.

— А какое отношение имеют теперь эти люди к вашему... к вашей больнице?— спросил Ведин.

— Считается, что это наше подсобное хозяйство.

— Спасибо. Большое вам спасибо,— сказал Ведин.— Я не умею говорить всякие слова... Но я удивляюсь вашему мужеству и, скажу по правде, не знаю, хватило ли мне бы его, чтобы... Скажите, не могу ли я или наше управление что-нибудь сделать для вас?

— Нет,— ответил Седых.— Если можно найти что-нибудь хорошее в моем состоянии, то это единственное: мне ничего и ни от кого не нужно.

Он поднялся, медленно заковылял к выходу, остановился у двери, сказал «прощайте» и вышел.

Главный врач не возвращался. Ведин посидел несколько минут, сосредоточенно глядя в одну точку, а затем вышел на улицу. Под большим ореховым деревом, на деревянной скамье, сбитой из узких планок, сидели Маскараки и молодая женщина. Он говорил ей что-то вполголоса, шевеля густыми черными бровями, а она слушала его, грустно покачивая головой. Лицо женщины, с матовой кожей, с темными глазами и маленьким ртом, было редкостно красивым и напомнило Ведину полузабытое им лицо девушки, которая была ему дороже всех на свете.

— Вы извините меня,— громче сказал Маскараки женщине, встал и направился навстречу Ведину, а женщина ушла.

— Кто это? — спросил Ведин.

— Понравилась? — с гордостью вскинул голову Маскараки. — Но берегитесь — у нее здесь муж. — И серьезно продолжал: — Это наша больная, Каримова...

— Больная? У нее ведь не видно никаких следов болезни?

— Вам не видно. Они, к несчастью, есть, эти следы. И все-таки мы ее вылечим. И надеюсь, скоро. Лечение у нас пока, чтоб, как говорится, не сглазить, проходит хорошо. Очень хорошо.

— А Седых?

— С Седых труднее. При такой форме лепры случаи выздоровления исключительно редки.

— Это, конечно, не относится к делу, по которому я приехал,— сказал Ведин.— Но почему вы взялись за такую работу? Ну, я имею в виду, за лечение таких людей?

— Это было так давно, что я уже не вспомню,— смешливо прищурил выпуклые умные глаза и развел руками Маскараки.— Но у нас есть и молодые медицинские работники. Наверное, по тем же причинам, что и они. Потому, что дело врача — лечить. А по какому, собственно, делу вы приехали?

— Я хотел расспросить у вас кое о чем. И в частности, о том, не сможете ли вы рассказать, что представляют собою люди, занятые в вашем подсобном хозяйстве. Кто они такие? Меняется ли их состав?

— Отчего же? Смогу. Только для этого лучше взять в руки список. Пройдемте ко мне в кабинет.

Этот список легко умещался на одной страничке.

— А остальные? — спросил Ведин.— Ведь там целое селение.

— Остальные работают в соседнем колхозе... Вернее, счи-

тается, что работают. С этими людьми довольно сложное положение.

— А почему вы считаете его сложным?

— Дело в том, что на Востоке, как, впрочем, и везде, проказа считалась особенно страшной, мистической, я бы сказал, болезнью. Опасность заражения ею сильно преувеличивалась. А отличать проказу — лепру от других болезней здесь научились сравнительно недавно, и многие люди в народе до сих пор не отличают...

Маскараки вынул из ящика стола и протянул Ведину наклеенный на картон прямоугольный кусок шелка красивого, яркого розово-коричневого цвета.

— Таким обычно бывает первое пятно на теле больного проказой. Как правило, оно появляется около поясицы.

Ведин посмотрел на шелковый лоскут — у жены было похожее платье — и повернул лист картона так, чтобы он лежал шелком вниз, к столу.

— В старину считалось, что проказа может быть не только у человека, но и на ткани, и на камне, и на дереве, и любого человека с любыми язвами на теле признавали прокаженным. Многие века и иудейская, и христианская, и мусульманская религии изгоняли такого человека из общества, он скитался по дорогам, выпрашивая милостыню. Здоровых, но считавшихся больными людей собирали здесь, недалеко от лепрозория. Среди них никогда не было больных, но вместе с тем поселок сохранил за собой славу селения прокаженных. Он в особом положении. Еще Калининым был подписан указ, по которому люди, живущие в этом поселке, как занятые обслуживанием прокаженных — а их в те времена было у нас значительно больше, чем теперь, — не подлежат никаким налогам и могут возделывать для себя большие земельные участки. Фактически, даже люди, занятые в нашем подсобном хозяйстве, не обслуживают больных непосредственно, но в селении до сих пор живет немало хитрых бездельников. И они умеют ловко пользоваться своим необыкновенным положением.

— А каких-нибудь новых людей вы там не замечали?

— Мне трудно сказать. Туда постоянно приезжают какие-то люди, что-то покупают, что-то продают.

— Встречаются среди них и русские?

— Нет. Русских я не припомню. Все больше из местного населения.

— А милиция районная никогда не интересовалась: что за люди приезжают в этот поселок, чем торгуют?

— Почему же? Интересовалась. Там даже кого-то судили.

Какой-то человек из Ура-Тюбе убил жену из ревности или еще почему-то и прятался здесь у родственников. Вот его и арестовали.

«Черт его знает что делается,— подумал Ведин.— Черт его знает о чем здесь думают. И все-таки в этот поселок я никого посылать не буду. Чтоб не вспугнуть... Нужно найти кого-нибудь на месте».

Он долго расспрашивал у Маскараки о каждом человеке, работавшем в подсобном хозяйстве, записал несколько фамилий в блокнот, предупредил главного врача лепрозория, чтоб тот никому не говорил о его приезде, попрощался и вышел за дверь. Затем вдруг возвратился, еще раз пожал руку Маскараки и попросил, если случится приехать в Душанбе, обязательно зайти к нему в гости. Вот адрес. Будем очень рады...

Отдохнувший, хорошо накормленный конь его все стремился перейти в рысь — возвращались домой! — и Ведин натягивал повод, сдерживая аллюр.

Все, что вызывало в нем чувство внутреннего неодобрения, Степан Кириллович называл экзотикой. И словечко это звучало у него весьма иронически.

— А, слышан, слышан,— сказал он, когда Ведин доложил, что едет в лепрозорий.— Снова экзотика...

«Но какая же, к черту, экзотика? Где берет в себе силы продолжать жизнь этот человек, Седых? Я понимаю,— думал Ведин,— можно прожить, и нормально прожить, как все люди, много лет, если жизнь сложилась не так, если образовался какой-то душевный надлом. Но чувствовать, как ты распадаешься от страшной, от чудовищной болезни, как меняется твое тело и лицо превращается в маску,— для этого нужна какая-то особенная стойкость. Или, может быть, какое-то особое безволие?.. Нет,— думал Ведин,— я бы хотел умереть сразу. В одно мгновение, во сне. Или от вражеской пули».

**Глава двадцать вторая, в которой
рассказывается о том, что говорилось
в не дошедшей до нас книге „Ахбар
ал-Багдад“ на основе сочинения „Мурудж
аз-Захаб ва таадин ал-джавахир“,
принадлежащей перу несравненного
Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хусейна
ал-Масуди**

Коль весенней порой
Захотят побродяжничать ноги,
Хватит пыли на старой дороге,
На забытой тропе в Марлборо.
Этот путь и не чинят,
Кто же ездит там ныне?
Словно жизненный путь,
Вьется он как-нибудь...
Это лишь направление,
Наметка пути,
Это просто возможность
Идти да идти.

Г. Торо

...Осадок. Или даже не осадок, а тень, думал Шарипов, слегка покачиваясь в такт шагу коня. Всегда. Даже в самые лучшие, самые счастливые минуты, даже когда с Ольгой...

Но все дело в том, чтобы постоянно помнить, что это только осадок. Или тень. Главное — помнить, где свет, а где эта тень, и не менять их местами. Не черное, а только тень на белом. Даже когда тебе трудно. Даже когда тебе очень трудно — знать, что это только тень... Тень, а не ночь...

Он въехал в кишлак и свернул на боковую узкую улочку. По обе стороны — глиняные заборы — дувалы, глиняные дворы, где из глины дома, хлевы, курятники, очаги, печи — тандуры для выпекания лепешек. Глина. Серая глина и растущие на ней немисливо красивые деревья в цвету.

На этой узкой улочке с трудом разминулись бы два всадника. А навстречу ему ехала кокандская арба с колесами выше человеческого роста. Они легко перевалият через любой арык. Шарипов подтянул повод, слегка свернул вправо и сдавил конские бока каблуками. Конь перемахнул арык и послушно прижался к дувалу.

Возница-арбакеш сидел верхом, упираясь ногами в оглобли. Пожилой таджик в поношенном халате — из прорех

ключьями лезла вата, этакий Ходжа Насреддин с умным хитрым лицом, украшенным узкой седой бородой, почему-то свернутой набок.

Арбакеш внимательно осмотрел буланого карабаира Шарипова с характерной маленькой змеиной головкой: седло с деревянным, украшенным медными гвоздиками ленчиком; чепрак из белой тонкой кошмы; старинные медные тяжелые стремяна с такой широкой подошвой, что наружу торчали только каблуки и задники сапог; сапоги, сшитые дедом Иваном; халат из алачи — полушелковой кустарной ткани в узкую цветную полоску; тюбетейку и платок, которым она была обвязана.

Уже проехав мимо, он оглянулся и крикнул негромко и насмешливо:

— Эй, друг, если хочешь и дальше ехать на коне, а не под конем, подтяни подпругу!

Шарипов покраснел и торопливо спешил. Действительно, старенькая подпруга распустилась. В дорогу он всегда брал это доброе старое седло, чтоб ничем не отличаться от любого проезжего, но подпругу следовало уже сменить.

«Вот,— думал Шарипов, похлопывая по шее коня, который баловал, пытаюсь его куснуть за плечо, и мешал затянуть подпругу потуже,— вот покажи и через год этому арбакешу моего коня, халат или сапоги, и он безошибочно скажет, где и когда он их видел. «Афганец» не мог проехать невидимкой. Если даже считать, что его сбросили на парашюте с самолета — коня на парашюте не сбрасывают. Где-то он его взял. Вернее, кто-то ему его дал. Иначе было бы известно, что где-то пропал конь. Особенно такой конь...»

Он прислушался. Из-за дувала все время доносились мерные и редкие удары дойры — таджикского, большого, как колесо, бубна, а теперь слышался голос:

Канари надарад бийабани ма,
Карари надарад дилу джани ма...
Предела нет пустыне наших дней,
Покою нет душе и сердцу в ней...

Шарипов сел в седло, приподнялся на стремянах и заглянул за дувал, но певичку закрывали буйно цветущие ветви урюка — абрикосовых деревьев. Тогда он проехал вдоль арыка до ворот и снова заглянул за дувал.

Девочка лет двенадцати, не более, со множеством тонких косичек, украшенных вплетенными в них цветными нитками, легко постукивая пальцами по натянутой коже дойры, пела газел Руми.

Канари надарад бийабани ма...



Девочка смолкла. Она заметила Шарипова и смущенно прикрыла лицо широким рукавом, краешком глаза все же поглядывая на проезжего.

«Как только я отъеду, она бросится к первой попавшейся щелке в дувале», — улыбнулся про себя Шарипов. Он сжал ногами бока коня так, что тот с места перешел в рысь, и оглянулся. Над дувалом показалась и сразу же исчезла черноволосая головка.

«Канари надарад бийабани ма... — думал Шарипов, проезжая по улицам и впрямь пустынного кишлака: все люди были на работе, в поле. — Девочка поет стихи Руми. А арбакеш, который, проехав мимо меня, успел не только рассмотреть, что распустилась подпруга, но и сколько коню лет и какое расстояние сегодня я на нем проехал, — этот арбакеш вечером сидит в чайхане перед чайником зеленого чая и играет с таким же, как он, полуграмотным колхозником в «байтбарах». Один произносит строку известного поэта, а другой должен назвать следующую строку. А может быть, он и сам поэт, этот арбакеш, и борода у него свернута набок потому, что он теребит ее рукой, когда не может найти подходящей рифмы. И скажи, что он сочиняет стихи, никто не удивится, как ска-

жи, что он колхозный бригадир. Обычное дело. Обычное и распространенное. Как обычно и распространено, что девочки поют газелы Руми или рубайи великого ибн Сино...»

Он управлял конем шенкелями, почти отпустив повод; кишлак остался далеко позади; конь шел ровной, свободной рысью, а полевая неукатанная дорога вела в родной кишлак.

«Фирдоуси... Хакани... Низами... Хайям... Саади... Руми... Хафиз... Джами,— думал Шарипов.— Вечная, непреходящая слава человечества. И народ, где любой школьник, любой колхозник знает и помнит стихи таких поэтов,— такой народ видит и воспринимает мир, как поэт...»

У огромного старого вяза — карагача он свернул с дороги влево, на узкую, заброшенную тропу. А еще недавно здесь была дорога. Самая настоящая дорога.

Канарн надарад бийабани ма...

Шарипов спешил, взял левой рукой повод и сошел с тропы к невысокому, заросшему колючкой глиняному валу. Он наклонился, поднял сухой комок глины, раздавил его пальцами и вдруг отбросил на землю торопливо и нервно.

Здесь, у дороги, был дом его родственника усто Юсупа — мастера ткача, согкавшего за свою долгую жизнь десятков тысяч метров адраса — шелковой ткани с пестрым рисунком. А дальше, вон там, очевидно вон там, было кладбище. Там была похоронена мать Шарипова. Она умерла неожиданно, стоя. Опустилась на пол уже мертвая.

Здесь был кишлак. Девять лет тому назад все селение переехало в долину километров за шестьдесят от этих бесплодных, нездоровых солончаков. И вот от стен домов остались едва заметные глиняные валики. Так исчезают только поселки и города глиняной Азии — исчезли дома, улицы, деревья, на фундаментах растет трава. Как писал некогда Шахид из Балха:

Бродил я меж развалин Туса, среди обломков и травы,
Где прежде петухи гуляли, я увидал гнездо совы.
Спросил я мудрую: «Что скажешь об этих горестных останках?»
Она ответила печально: «Скажу одно — увь, увь!»

Человек, который не знает, что тут находился кишлак, проедет мимо этого места, даже не догадываясь, что здесь выросло много поколений людей, что кишлак этот когда-то был крепостью и занял свое место в истории восточных народов, что мимо него проходили и отступали армии, захватывали его, уничтожали, что он возрождался снова и снова, пока не стал никому не нужным.

Глина, из которой в Средней Азии строят дома,— самый прочный в мире материал. Она вечна. И вместе с тем самый непрочный. За год покинутая постройка сливается с землей. Недаром восточные поэты, и особенно Омар Хайям, считали, что все со временем превращается в глину.

В комочке глины серой под ногою
Ты раздавил сиявший в прошлом глаз...

Как бы там ни было, а историкам придется порядочно повозиться, если они захотят точно установить место, откуда переселился этот кишлак. Но неужто действительно историки когда-нибудь будут изучать и исследовать наше время так, как исследует Владимир Неслюдов время Бабека? А ведь, по сути, работа Неслюдова очень напоминала его, Шарипова, работу. Даже методами. Письменность народа майя, например, удалось расшифровать только после применения электронно-счетных машин. Но едва ли она сложнее для исследователя, чем современный военный код... Однако дело даже не в шифрах. Дело во всей работе. По деталям, по малейшим подробностям, по отрывочным записям, по сопоставлению немногих известных фактов воссоздается общая картина, определяется, кто прав, а кто виноват.

Вот даже в кишлак Митта Неслюдова ведет найденный им неизвестный отрывок письма современника Бабека, а меня — письмо моего современника.

Но есть и разница. На письмо, заинтересовавшее Неслюдова, не обращали внимания каких-нибудь восемь или девять сотен лет. И от этого в общем ничего существенно не изменилось. Как не изменилось бы, очевидно, если бы на него не обратили внимания еще восемьсот лет. А мое письмо требует немедленного разрешения. Потому что от этого зависит жизнь людей сегодня. Многих людей... И дело совсем не в том, что, как писал Хайям, «живи Сегодня, а Вчера и Завтра нам не нужны в земном календаре». А в том, что от этого Сегодня зависит и память о Вчера и надежда на Завтра...

Ведя в поводу удивленно помахивающего головой коня, он подошел к тому месту, где, по его предположениям, находилось кладбище. Он простоял несколько минут молча, неподвижно, а затем медленно, тихо, словно боясь нарушить эту тишину резким движением, взобрался в седло и тронул коня.

Вон за гончарным кругом у дверей
Гончар все веселее и быстрее
В ладонях лепит грубые кувшины
Из бедер бедняков и черепов царей.

Объявивший себя царем грозный Бабек, столько веков назад смешавшийся с глиной... Но вот Неслюдов с его исключительной ученостью ищет и находит каждый след Бабека, оставленный им в этом грунте.

Когда Шарипов спросил у Неслюдова, как погиб Бабек, Володя ответил: «Страшной смертью».

— В сочинении «Мурад аз-Захаб ва маадин ал-джавахир», — сказал Володя, — принадлежавшем перу Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хусейна ал-Масуди, который жил в начале девятого века, говорится, что в не дошедшей до нас книге «Ахбар ал-Багдад» сообщалось, что когда пленного Бабека привели к халифу Мутасиму, тот спросил: «Ты Бабек?» Тот ответил: «Да». Халиф приказал раздеть его, и слуги сорвали с него одежды. Ему отрубили правую руку и били его по лицу этой рукой, то же сделали с левой рукой. Третьим ударом отрубили ему ноги. Он кричал, валяясь в луже крови на ковре, и бил себя по лицу своими кровавыми обрубками рук. Мутасим отдал приказ палачу, — Володя говорил по-русски, но палача он назвал старинным таджикским словом — «мир газаб» — «князь гнева», — вонзить свой меч ниже сердца, чтобы продлить его муки. Это было сделано. Затем он приказал отрубить ему голову. Отрубленные члены его были соединены с туловищем, и он был распят. Его голову поместили в Багдаде на одном из мостов, а затем ее послали в Хорасан и пронесли по всем городам и местностям этой страны, на глазах людей, еще сохранивших впечатление о делах Бабека, о его великой мощи, многочисленности его войск и о том, что он угрожал уничтожить власть и разрушить религию. Труп Бабека был распят на длинном бревне в конце жилых кварталов Самарры, и место это, писал ал-Масуди, называют поныне «бревно Бабека», хотя сама Самарра в нынешнее время опустела и ее жители, за малым исключением, покинули ее. Так рассказывалось о смерти Бабека по свидетельству ал-Масуди в книге «Ахбар ал-Багдад».

Он уже давно пустил коня шагом — дорога медленно поднималась в гору. Миновав блестящие щебни осыпей, он свернул в боковое ущелье — покормить и напоить коня. Прямо из-под камней медленно текла вода, холодная и солоноватая, — он помнил, что этот источник горные козы посещают особенно охотно. Шарипов распустил подпругу, напоил коня, снял уздечку и присел на камне у источника.

Он внимательно, так, словно впервые увидел, рассматривал тюльпан, росший у самых его ног.

«Кто это все-таки делает? — думал он. — Кому доставляет

радость создавать эту удивительную красоту, расточаемую так бесполезно и так щедро?»

Красные и желтые тюльпаны островами стояли в густой траве по склону ущелья. Здесь господствовали высокие, с жирными сочными стеблями гречишники, желтая купальница, сиреневые анемоны, и, словно маленькое сухое желтое деревце, колыхалась трава юган.

Конь потянулся к югану, и Шарипов понял, что это ширин-юган, потому что есть два сорта этой травы по виду совершенно одинаковых. Тэз-юган — горький надломленный стебель его выделяет сок, настолько раздражающий кожу людей, что появляются большие синие пузыри ожогов — их лечат кислым молоком. А ширин-юган сладкий: нет лучшего корма для скота.

«Юган, — думал Шарипов. — Юган... По виду его нельзя отличить, эти сорта очень похожи... Но при чем здесь юган?.. При том, что люди, сумевшие организовать радиопередачу из такого района, должны быть очень похожи, неотличимы от местных людей... Совсем неотличимы... Иначе бы мы о них узнали... Если Неслюдов рассчитывает найти здесь следы Бабека и его хуррамитов через тысячу лет, после того как они здесь побывали, то уж мы... Но Бабек здесь ни при чем... А дело в том, что юган... Да нет, и не юган... Дело в том, что похожий на местных людей. Но не местный. Но приезжий. Может быть, давно... но приезжий. Иначе где бы он взял передатчик. И главное, у него сведения о самых последних частотах наших локаторов... Значит, их ему доставили. Значит, он должен быть таким человеком, встречи которого с новыми людьми — а тут каждый человек на виду — никого не удивляют... Каким-нибудь агентом райфинотдела... Или лектором... Из Общества по распространению политических и научных знаний. И ездит с лекциями о происхождении вселенной. А Бабек... а Владимир Неслюдов очень подошел к дому Ноздриных. Очень подошел... И он найдет следы Бабека... Ему не нужно спешить. А мне нужно...»

Степан Кириллович постоянно требовал от своих сотрудников умения полностью сосредоточиться на одном предмете. «Вы должны уметь сосредоточиваться так, — повторял он часто, — как люди, которых избирали министрами в древнем Китае».

Такой человек должен был пройти по верху крепостной стены с большой чашей, доверху, до краев наполненной молоком. Вокруг стреляли, шумели и пугали этого человека. Однажды у прошедшего испытание спросили: «Ты слышал

выстрелы? Ты видел драконов и тигров?» — «Нет, — ответил новый министр, — я ничего не слышал и не видел. Я нес молоко».

Но для Шарипова решить трудную задачу, наоборот, всегда значило расслабиться, предоставить мыслям полную свободу, не напрягаться, ждать, пока решение придет само.

А ждать нельзя было.

Глава двадцать третья, о том, как и за что был арестован майор Шарипов

Цзе. Ограничение. Свершение. Горе ограничено. Оно не может быть стойким.

Китайская классическая
«Книга перемен»

Шарипову не нравилось это вино. Но, как всегда бывало в таких случаях, он отпил глоток-другой из бокала прозрачного стекла на высокой красной ножке, отломил кусочек сухого печенья, которое он тоже не любил, и положил в рот.

Беседа предстояла неофициальная. Степан Кириллович вышел из-за своего большого письменного стола ему навстречу и показал рукой на маленький круглый столик со стеклянной крышкой. На нем, как всегда, стояли бутылка «Гурджаани», четыре бокала, две вазочки с сухим печеньем и две пельницы.

Шарипов сел в низкое мягкое кресло, предназначенное не столько для того, чтобы сидеть, сколько для того, чтобы полужележать, отбросившись на спинку. Степан Кириллович сел наискосок от него лицом к двери и налил вино в бокалы. Шарипов знал, что Коваль не пьет ни чая, ни кофе, ни крепких спиртных напитков, ни даже просто воды. Степан Кириллович ежедневно выпивал бутылку, а то и больше, своего любимого вина «Гурджаани». Он охотно угощал этим вином своих посетителей, очевидно даже не догадываясь, что могут быть люди, которым оно не нравится.

Ни в выражении лица Степана Кирилловича, ни в том, как он вел себя, не было ничего необычного, ничего такого, что отличало бы эту встречу от всех других, но Шарипов ощутил какую-то скованность. Она усилилась еще больше, когда Коваль, разжевывая печенье и запивая его вином, спросил:

— Раз я не был позван на свадьбу, значит нужно считать, вы еще не женились на Ольге Ноздриной?

— Нет, — ответил Давлят.

— Но Ольга Ноздрина — ваша невеста?

— Да, — сказал Давлят, все более настораживаясь. — Ольга Ноздрина — моя невеста.

— Вы, надеюсь, знакомы с ее семьей?

— Знаком.

— И часто бываете в их доме?
— Часто. Все время, свободное от службы.— В словах Шарипова прозвучал вызов.

Степан Кириллович долил вином почти полный бокал Шарипова и налил себе еще полбокала.

— Не сможете ли вы рассказать мне о членах этой семьи и людях, которых вы встречали в их доме?

Шарипов резко, рывком поднялся со своего места.

— Сядьте, сядьте.

— Нет, не смогу! — сказал Шарипов, не садясь.— Во всяком случае, пока не узнаю, почему вы об этом спрашиваете.

— Не горячитесь. Сядьте.

Шарипов сел.

— Я не собираюсь делать из этого секрета,— сказал Степан Кириллович.— И все же, как говорится, льщу себя надеждой, что мой возраст да и звание дают мне право задавать вопросы первым. И получать на них вразумительные ответы.

— В эту семью я пришел не как работник органов государственной безопасности, а как частное лицо,— упрямо игнорируя шуточный тон Степана Кирилловича, сказал Шарипов.— И если вас интересуют какие-то вопросы, связанные с ней,— вам придется послать туда другого человека.

Он встал, как бы показывая этим, что больше ничего не скажет.

— Молчать! — вдруг громко и страшно закричал Коваль.— Молчать...

— Я прошу... — растерянно сказал Шарипов.

— Мальчишка! — перебил его Коваль.— Все к черту! Растишь! Учишь! Столько лет!.. И все равно вырастает ничтожество!.. Дрянцо!..

За все время своей работы с Ковалем Шарипов ни разу не запомнил случая, чтобы Коваль повысил голос. Не только на подчиненного, но и на допросах. Он ни разу не видел его взволнованным. Сейчас перед Шариповым был совсем другой человек — старый, издерганный, словно не он постоянно повторял своим сотрудникам: «Кричат не от силы, кричат от слабости». Дрожащими руками Коваль налил себе в бокал вина, отпил глоток и предложил хрипло:

— Ладно, сядьте.— Он распечатал предназначенную для посетителей коробку дорогих папирос, вынул одну, размял табак пальцами, положил ее в пепельницу и, глядя снизу вверх на Шарипова, по-прежнему стоявшего перед столиком, спросил: — Неужели все, чему я вас учил столько лет... все

это ничего не стоит?.. Откуда оно проникло к нам, это представление о жизни, как в дешевых романах,— борьба благородств... соревнование между разведчиком и контрразведчиком в сфере интеллекта... Откуда появился этот маленький и подленький пацифизм? Государственная безопасность — это ведь, черт побери, в самом деле безопасность государства! Безопасность, во имя которой люди жертвовали многим... А если требовалось, то и всем! Настоящие люди...

Шарипов молчал.

— Известно название болезни, когда человек не различает цветов,— с горечью продолжал Степан Кириллович.— Дальтонизм. Но как назвать болезнь, когда человек не отличает большого от малого, не отличает главного от второстепенного? Я знаю этому только одно подходящее название: беспартийность!.. У нас стало распространенным понятие «беспартийный большевик», «беспартийный коммунист»... Чепуха! Можно быть коммунистом, не состоя в партии. Но нельзя быть беспартийным коммунистом!..

Он опустил голову, и Шарипов увидел в свободном воротничке генеральского кителя по-старчески сморщенную шею.

— А партийность... Поймите же это, наконец, партийность — это прежде всего значит ставить интересы партии, интересы социалистического государства выше личных интересов...

— Все равно — отвечать на ваши вопросы о людях, которых я посещал как друг,— предательство,— сказал Шарипов.

— Ничего вы не поняли! — встал Коваль.— Вы арестованы!

— Значит, эта беседа просто допрос?

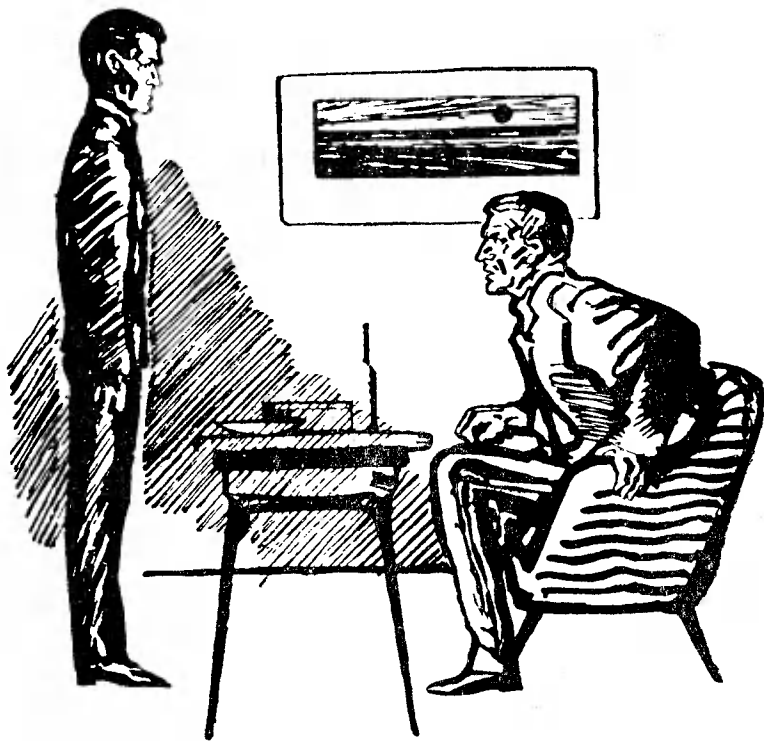
— Да, считайте ее просто допросом.

— Что ж, тогда я отвечу. Что именно вас интересует?

— Все,— жестко сказал Коваль, тяжело опускаясь в кресло.— С кем вы встречались в доме Ноздриных?

— Ноздрина Николай Иванович. Профессор-энтомолог. Член партии. Выдающийся ученый. Лауреат Государственной премии. Выдвинут на Ленинскую премию. За работы в области борьбы с вредителями хлопка. В личной жизни человек исключительно добрый, гостеприимный, отличается хорошим здоровьем и широким кругом интересов. Однако никакого любопытства к вопросам, имеющим какое-то отношение к военной или государственной тайне, с его стороны я не замечал...

— Продолжайте,— предложил Коваль.



— Это все. Ноздрина Анна Тимофеевна. В настоящее время домохозяйка. В прошлом пианистка, концертмейстер. Из тех редких людей, которым все всегда стремятся оказать какую-нибудь услугу, потому что если сделаешь что-нибудь для такого человека — самому приятно. Пользуется большим авторитетом в семье, к слову ее прислушиваются. Во время войны была заместителем директора на военном заводе, производившем мины. Награждена орденом Отечественной войны второй степени... Дочки: Татьяна — актриса, закончила институт в Москве. Замужем, но, видимо, в каких-то неладах с мужем. Имеет ребенка, девочку лет пяти. Молчалива, сдержанна, имеет привычку потирать лоб ладонью так, как это делают люди, которые легко устают... Или которым трудно сосредоточиться на одном предмете. Ольга — невеста некоего майора Шарипова. Молодая девушка, студентка медицинского института. Очень красивый, талантливый человек и

со временем будет выдающимся врачом или научным деятелем.

— Сразу уж и деятелем, — сказал Коваль. — Дальше.

— Владимир Владимирович Неслюдов. Аспирант-востоковед. Сын академика Неслюдова. Добродушный толстый человек. Большой знаток своего дела. Вероятно, аполитичен. Здоровья среднего. Во всяком случае, когда чихает, сдерживает чих так, как это делают только люди, перенесшие тяжелое заболевание легких. Или необыкновенно стеснительные. Любит детей. Муж Татьяны Ноздриной — Волынский Евгений Ильич. Видел его только два раза. Хирург. Крупный специалист в своей области. Вероятно, относится к числу людей, которые были особенно ущемлены в сталинские времена. Приехал по приглашению Министерства здравоохранения, но в основном, возможно, к жене... Это все, что мне известно.

— Немного. Где остановился Волынский?

— Точно не знаю. По-моему, в гостинице.

— Как к нему относится Ноздрин Николай Иванович?

— Не знаю.

— Был ли прежде Евгений Волынский знаком с Владимиром Неслюдовым?

— Не знаю.

— Долго ли здесь пробудет Волынский?

— Не знаю.

— Хорошо. Сдайте личное оружие дежурному. Вы арестованы на пятнадцать суток с исполнением служебных обязанностей.

Шарипов стоял молча, неподвижно, ощущая, как у него отвердевают скулы, становятся чужими, деревянными.

— Вот так, — жестко сказал Коваль. — У меня к вам больше нет вопросов.

— Вы обещали сообщить мне, — с трудом выталкивая слова, спросил Шарипов, — чем вызван этот допрос.

— Я обещал это до того, как вел его. Отвечать арестованному на такие вопросы я не обязан...

Глава двадцать четвертая, о главном принципе, который необходимо знать каждому человеку,— главном принципе устройства автоматического оружия

Если из сложных идей, означаемых именами «человек» и «лошадь», устранив те особенности, которыми они различаются, удержать только то, в чем они сходятся, образовать из этого новую, особо сложную идею и дать ей имя «животное», то получится более общий термин...

Д. Локи

Стол Ведина был накрыт измазанной маслом и поцарапанной во многих местах серой клеенкой с синим узором — такими иногда накрывают кухонные столы. На клеенке лежали части пистолета, шомполы, протирки, металлические банки с маслом и щелочью, надфили, напильники, ключи, отвертки и плоскогубцы разных видов и назначений.

— Колыт,— сказал Ведин.— Армейского образца. Сорок пятого калибра — по нашему счету одиннадцать и сорок три сотых миллиметра. Если такая штука попадает в голову,— он показал Шарипову пулю, тупую и толстую, как большой палец,— череп разлетается на части. Не очень остроумная и довольно тяжеловесная машина.

— А что с ним случилось?

— Откачивает выбрасыватель.

— Чей он?

— Полковника Емельянова. Именной. Вот старик и дорожит им.

Шарипов неприметно улыбнулся. Ничем нельзя было доставить Ведину такого удовольствия, как тем, чтобы принести ему неисправное оружие, особенно сложной, мало распространенной системы. Тогда на его служебном столе расстилалась эта клеенка с инструментами, а в случае необходимости к подоконнику привинчивались тисочки. Если не случалось продолжительное время такой работы, то Ведин занимался тем, что разбирал и чистил оружие. «Мне тогда легче думать», — говорил Василий.

«Во всей Советской Армии это, пожалуй, единственный случай», — подумал Шарипов, — когда начальник чистит лич-

ное оружие подчиненного». Часто случалось так, что Ведин предлагал Шарипову: «Давай почистим пистолеты», а затем брал его пистолет, с удовольствием разбирал его, чистил и смазывал.

— Какая ему разница — работает выбрасыватель или нет,— подразнивая Ведину, сказал Шарипов.— Не говоря уже о том, что из этого пистолета вообще, наверное, никогда не стреляли, у нас на вооружении он не состоит. Да и зачем пистолет полковнику Емельянову? Командиру радиолокационной части?

— А ты внеси предложение Министерству обороны — лишить командиров радиолокационных частей личного оружия... Что же касается колыта, то из него в свое время все-таки стреляли. Если бы я получил такой пистолет на экспертизу, я бы написал, что из него произведено не менее пяти-сот выстрелов. Посмотри, какой прогар. А ведь это все — результат детонации капсюлей...

— Странно,— сказал вдруг Шарипов.— Вот у американцев колыт. В других странах другие системы. Десятки разных систем. А ведь мир стремится, так сказать, к единству. И должен был бы принять одну систему, которая показала себя как самая лучшая... Ты согласен с моей мыслью?

— Нет,— возразил Ведин, продолжая подтачивать крохотным надфилем какую-то деталь.— Конечно, системы оружия — это не государственные системы. Но и в государственных системах не играет решающей роли, скажем, две палаты в Верховном Совете или одна. Можно было сделать и три. Важно, чтоб избирали самых достойных и чтоб избранные голосовали не за то, что им подсунили, а по совести, по знанию, по вере... Что же касается автоматических пистолетов, то, действительно, перед всяким конструктором стоит прежде всего одна основная задача, и при этом даже не очень сложная... Но решить ее можно тысячей способов. И знаешь какая задача?

— Чтобы пистолет стрелял?

— Нет,— улыбнулся Ведин и серьезно продолжал:— Ты не найдешь этого ни в одной книге по автоматическому оружию... Но если я когда-нибудь напишу свою книгу, то вначале будут такие слова: «Все дело в том, чтобы затвор начал отодвигаться лишь после того, как пуля покинет ствол». И вот оказывается, что в решении этой задачи могут быть идеи, удивительные по своей оригинальности, может даже проявляться, я бы сказал, характер конструкторов...

Он надел на шток пружину и привычными пальцами проверил степень ее упругости.

— В бельгийском браунинге затвор не имеет никакого сцепления со стволом, но пока он под давлением пороховых газов, а затем по инерции вместе с гильзой начнет отходить назад, пуля успеет покинуть ствол... В кольце этот вопрос решается за счет отдачи ствола с коротким ходом. Ствол при выстреле отодвигается на несколько миллиметров назад вместе с затвором, а затем эта серьга, — он показал, — удерживает его, снижает, а затвор дальше отодвигается один. В немецком маузере запираение ствола производится защелкой, вращающейся в вертикальной плоскости. В японском намбу сцепление ствола с затвором осуществляется при помощи защелки-рычага. В пистолете бергман при движении затвора сцепление его со стволом нарушается самопроизвольно. В манлихере наоборот: ствол движется не назад, а вперед, за счет силы трения пули, и зарядение производится таким путем, что ствол надвигается на неподвижный патрон... Еще интереснее сэвэдж, где затвор удерживается давлением пули на боевую грань нарезков. Как ты понимаешь, это давление стремится повернуть ствол, а он уже заклинивает затвор до момента вылета пули...

— А как в парабеллуме? — заинтересовался Шарипов.

— В парабеллуме запираение осуществляется рычажным сцеплением затвора со стволом. Но, между прочим, парабеллум — это условное название. По-латыни оно означает — «готовься к войне». Фактически же этот пистолет носит имя своих конструкторов Борхардта — Люгера — немецкого рабочего и инженера...

Ведин улыбнулся задумчиво.

— Мне как-то никогда не попадались биографии этих конструкторов... А любопытно было бы узнать, кто они такие и как работали... Знаешь, я думаю, что они, как, очевидно, и все другие конструкторы автоматического оружия, готовя эскизы, чертежи, опытные образцы и даже испытывая убийственную силу, никогда не задумывались над тем, что их изобретение предназначено для убийства. Они просто решали техническую задачу... Ты понимаешь меня?

— Понимаю.

Ведин продолжал работу. Они молчали, но оба думали об одном и том же. Об ожидании. Значительная часть их работы, а следовательно и жизни, состояла в ожидании. Сведений от работников, получивших их задания. Результатов допросов. Сообщений дешифровальщиков и всевозможных экспертов. Промашов, которые неминуемо должны были допустить воров, забравшиеся в чужой дом. Генерал Коваль

говорил, что искусство чекиста на три четверти состоит в умении выжидать. «Выжидать — это не значит бездействовать», — говорил Коваль. Во всяком случае, прежде говорил.

Но как трудно все-таки постоянно жить в напряженном ожидании. Как взведенный курок. И при этом ходить в театр, играть на бильярде, чинить оружие знакомых офицеров.

Точными, красивыми движениями Ведин собрал пистолет. Шарипов взял его в руки, вынул обойму и, убедившись, что она пуста, взвел курок.

— А пистолет ты все-таки положи, — недовольно предложил Ведин. — Конечно, это игрушка... Но довольно опасная. Я не знаю статистики, но случайных убийств, наверное, немногим меньше, чем умышленных. — Он подвинул кольт поближе к себе. — Да, так вот и я говорю, — продолжал он, возвращаясь к прежнему тону, — что, несомненно, со временем будут найдены еще какие-то решения этой задачи. Конструкторы сумеют придумать, как сделать так, чтобы затвор начал отодвигаться лишь в тот момент, когда пуля покинет канал ствола еще каким-то новым способом... Хотя в наше время пистолет является только символом силы. А настоящее оружие, как ты говорил, имеет совсем другой вид, да, пожалуй, и другое назначение...

«Да, — думал Шарипов, — совсем другой вид и другое назначение. И оно нацелено на нас, это настоящее оружие. На всех. На стариков и на еще не родившихся детей. И пока это так, я не уйду из армии. Если потребуется, стану рядовым солдатом, но не уйду...»

Он вспомнил, как генерал Коваль вчера утром пригласил его к себе и, не предлагая сесть, глядя в стол, сказал:

— Я погорячился. Я не должен был на вас кричать. Это не поможет... если я прежде не сумел... Не сумел объяснить вам... В общем прошу вас не подавать рапорта о переводе... Или увольнении...

— Я и не собирался подавать такого рапорта, — ответил Шарипов.

— Ну что ж. Хотя это вы поняли... Ну и... арест отменяется... — Он поднял голову и резко, непримиримо добавил: — Вы свободны...

— Но почему он так переменялся? — неожиданно спросил Шарипов.

— Не знаю, — ответил Ведин, ничуть не удивляясь его вопросу. — Может быть, старость? — Он складывал свои напильники и отвертки в определенном, одному ему известном

порядке.— Прежде, бывало, докладываешь что-нибудь старику и предлагаешь свои меры. Не успеешь закончить, а он уже не только все понял, но выдвигает свою версию, иной раз такую неожиданную и интересную, что только диву даешься. Да ты сам знаешь... А теперь иначе. Он выслушает тебя до конца, а затем скажет: «Нет, так ничего не получится». Ты ему говоришь, что другого способа нет, что в материалах следствия имеются такие-то и такие-то документы, и в общем повторяешь все сначала, только подробнее. Он снова выслушает, снова не согласится, а затем спросит: «Так что же вы все-таки предлагаете?» Снова расскажешь и видишь, что он с самого начала возражал не потому, что думал иначе, а потому, что не успел разобраться. «Что ж,— скажет,— хорошо, так и попробуем...» Но наутро вызовет и как ни в чем не бывало предложит все переделать. И снова видишь перед собою прежнего Степана Кирилловича. Но теперь ему нужны сутки на то, что прежде он решал в пять минут.

— Но зато,— сказал Шарипов,— раньше, как бы ни подгоняли из Москвы, он всегда требовал — не торопитесь, поспешайте медленно. А сейчас сам стал подгонять... Международная обстановка?..

— Нет. Обстановка снова смягчилась. Просто старик устал. Уже не те нервы. И то удивительно, как человек, прожив такую жизнь, может еще шутить и при этом из дня в день тащить на плечах такой груз.

— Это я и сам понимаю. Но таким я его еще не видел. И не представлял себе.

— Кроме всего, что-то такое у старика с сыном...

— А кто такой его сын?

— Физик. Работает в Москве. Мне кажется, что это один из тех парней, которые, убедившись, что перед современной физикой и кибернетикой открылись невиданные прежде возможности, решили, что все на свете — политика и другие, так сказать, общественные науки, ничего не стоят; что даже мир на земле возможен сейчас только потому, что физики создали атомную бомбу, а она поддерживает равновесие сил.

— Понимаю,— сказал Шарипов.— Я встречался с людьми такого рода.

— Но это сын. И вот что интересно — когда он говорил о тебе, у него прорвалось: «Так же и с сыном... Растись их. Учишь. Ночами не спишь, когда болеют. Когда эти идиоты-медики выдумали, что у Шарипова белокровие. А потом...»

И только рукой махнул. И посмотри все-таки: старик не отделяет тебя от сына.

— Да,— подтвердил Шарипов,— не отделяет. Ни меня, ни тебя. Но лучше бы отделял. Уж слишком он старается сделать нас своим повторением. А повторений не бывает. И не должно быть. Другое время...

— Да,— согласился Ведин.— Средства те же. А задачи посложней.— Он помолчал и спросил:— Ты у Ноздриных был после этого?

— Был.

— А старик больше ничего не спрашивал?

— Нет. И вот увидишь — он даже на свадьбу не придет.

— Ну, положим, на свадьбу он придет,— не согласился Ведин.— Когда нужно, он лучше, чем я или ты, умеет справляться с собой. И тебя обидеть он не захочет. Но в общем, видно, все это ему не по душе. Хотя бы потому, что...

— Он считает, что чекисту не следует иметь красивую жену. И уже по одному этому признаку, с его точки зрения, Ольга тебе не очень подходит.

— Да,— внезапно просветлел Шарипов.— По этому признаку чекисту следует держаться от Ольги за пушечный выстрел.

— А вот бывает у тебя,— спросил Ведин безразлично,— что перед встречей появляется какое-то тревожное, даже щемящее чувство: а вдруг сегодня она на тебя уже как-то иначе посмотрит?.. И ты стараешься даже одеться так, как был одет при прошлой встрече, и продолжать тот же разговор, который вел в прошлый раз?

— Бывает,— подумав, ответил Шарипов.

— Хорошо, что бывает,— не оборачиваясь и по привычке проверив запор сейфа, сказал Ведин.— А я бы, когда б не эта моя конструкция, из которой, возможно, ничего не получится...

— Расскажи, наконец, что это за конструкция? Это и будет пистолет с еще одной новой системой запираания?

— Нет. У меня появилась одна принципиально новая мысль... Как ты считаешь, чем в основном вызываются задержки и неисправности в автоматических пистолетах?

— Не знаю,— сказал Шарипов.— У меня, во всяком случае, чаще всего застревала в патроннике стреляная гильза. Особенно если попадает пыль или песок.

— Верно. На эту задержку в среднем по разным системам приходится почти восемьдесят процентов неисправностей. При этом сразу же выходит из строя вся автоматика,

следующий патрон не попадает в патронник, гильзу приходится экстрактировать вручную — оттягивать затвор и ковырять гвоздем или выталкивать ее шомполом... Я тебе показывал, какой мультык выменял на свою ижевку? — прервал он свой рассказ.

— Показывал. Дался тебе этот мультык... Сколько стоит твоя ижевка?

— Ну, не знаю... Она не новая все-таки. Думаю, рублей восемьсот...

— Хороший обмен, — улыбнулся Шарипов. — Скажи, только по правде, хозяин этого мультыка сразу исчез?

— Да нет, я сам уехал...

— Ты уехал, а он, наверное, бегом домой бежал, чтоб ты не вернулся и не потребовал меняться назад.

— Я бы ему еще доплатил, — серьезно сказал Ведин. — Если бы он потребовал. За идею. Это он мне сказал: вот к твоему ружью нужны патроны, а мое и без патронов стреляет. И я подумал: а нельзя ли на уровне современной техники вернуться к старому принципу? Чтoб без патронов? И пришел к выводу — можно. — Он улыбнулся торжествующе и заговорил медленнее, радуясь своей идее и гордясь ею: — Вот представь себе гильзы, сделанные из прочного материала, который без остатка сгорает со скоростью пороха. Ну, нечто вроде целлулоида. Капсюль тоже заключен в такую оболочку. После выстрела все, за исключением пули, превращается в газы. Не нужно дополнительных устройств — выбрасывателя, отражателя и других для экстракции стреляной гильзы, упрощается схема, повышается надежность оружия... А в охотничьих ружьях таким патронам вообще бы цены не было...

— Здорово! — Шарипов даже захохотал от удовольствия. Простота и остроумие идеи Ведина пленили его. — И до сих пор такая простая идея никому не приходила в голову?

— Насколько я знаю — никому.

— Так почему же ты не готовишь таких патронов?

— Это не так просто. Это очень сложно — подобрать соответствующий состав оболочки, определить, хотя бы пока приблизительно, каков должен быть состав и тип пороха... Ты знаешь, типов пороха значительно больше, чем систем оружия... Был даже такой порох, в который вместо угля клали конский навоз. Он назывался «препозит»...

— Неужели? — сказал Шарипов. — Но мы можем вспомнить время, когда вместо навоза поля удобряли порохом...

Глава двадцать пятая, о любви и науке и о науке любви

Коль жаждешь ты любви, кинжал возьми
своей острый
И горло перережь стыдливости своей.

Р у м и

— Не хотите ли водки? — спросил Николай Иванович неловкого, смущенного Володю, который пил чай и после каждого глотка оттопыривал губы и надувал щеки.

— За завтраком? — подняла брови Анна Тимофеевна.

— Нет, спасибо, — сказал Володя. И вдруг решил: — Вернее, знаете, немного я выпью.

Николай Иванович принес из кухни, из холодильника, сразу запотевший круглый графин с золотистой водкой. На дне графина лежала лимонная корка. Таня молча вынула из буфета рюмку и поставила ее перед Володей.

— А меня забыли? — весело спросил Николай Иванович.

Таня вернулась к буфету и так же молча поставила рюмку перед отцом. Николай Иванович наполнил до краев Володину рюмку, а свою на четверть и поднял ее вверх.

— Ну, будем здоровы! — он опустил руку и озабоченно спросил: — Что ж это у вас тарелка пустая? Вы вот возьмите редиски, ветчины. Ну, залпом!..

Он едва пригубил водку и захрустел молодой редиской.

Володя, глядя вниз, так, словно выполнял трудное и неприятное дело, выпил половину рюмки, мучительно сморщился, допил до конца, выждал минутку и смущенно попросил:

— А можно мне еще одну?..

Снова выпил, на этот раз увереннее, и стал закусывать бутербродом с ветчиной, который тем временем соорудила для него Анна Тимофеевна.

В голове у него посветлело, он улыбнулся широко и признательно и смелее посмотрел на Таню.

Она сидела, чуть сошурив глаза, сдержанная, спокойная, уверенная в себе, какая-то особенно свежая и отдохнувшая. И Володю снова охватили робость и страх.

Перед завтраком, улучив минутку, он подошел к Тане и зашептал:

— Мне бы хотелось, если можно, поговорить с вами...

То есть я хотел сказать, что для меня это очень важно... это важнее всего на свете, и я хочу...

— Я рассчитываю, что вы меня проводите к театру,— подчеркнуто громко сказала Таня и посмотрела прямо и спокойно на Володю, на отца, на мать,— и по дороге мы с вами все обсудим.

Это было очень плохо. Это было то, чего он больше всего боялся уже через час после того, как расстался с ней... То есть не более двух часов тому назад.

Ему всегда нравились самые красивые девушки на их курсе в университете, хотя он никогда не делал попыток познакомиться с ними поближе. Рядом с ними всегда бывали какие-то парни, более ловкие, чем он, более красивые. В общем, очевидно, более приспособленные для того, чтобы ухаживать за красивыми девушками. Но сам для себя он знал, что если полюбит когда-нибудь, то это будет самая красивая...

Когда он попал сюда, к Николаю Ивановичу, ему очень понравилась Ольга. Он потихоньку подумывал о более близком знакомстве с ней, но постепенно — он сам не понимал, как это произошло, — все мысли его начала занимать Таня. И сейчас ему странно казалось, что вначале Ольга нравилась ему больше. Умом-то он понимал, пожалуй, что иным людям Ольга должна казаться красивее Тани, но чувствовал он, но ощущал всей душой, что лучше ее нет, что никто не может с ней сравниться и что никто, кроме Тани, ему не нужен. Что она и ее дочка Машенька — это и есть то, чему бы он хотел посвятить себя, и безраздельно отдать им все, что у него есть и что будет. И чем чаще думал он о Тани — а думал он о ней постоянно, — тем сильнее, и острее, и значительней было это его чувство.

И он просыпался ночью, и обнимал подушку, и шептал какие-то глупые, нелепые слова, которые он бы не решился не только сказать ей, даже повторить про себя днем. И иногда днем, переводя с арабского или персидского и роаясь в словарях, он неожиданно шептал: «Милая», и широко улыбался.

Он вырезал из театральной программы ее портретик, напечатанный почему-то синей краской, вложил эту вырезку в блокнот и иногда, в самое неподходящее время, отходил в сторонку, доставал блокнот, смотрел на портретик и снова прятал в карман. Он носил этот блокнот в боковом кармане, у сердца, хотя понимал, что уж это верх нелепости.

По ночам ему казалось, что Таня все понимает, что она

расположена к нему, и он слагал длинные речи о своих чувствах, а днем вдруг решал, что она его просто не замечает, и приходил в отчаяние. Впервые в жизни он даже написал стихи — подражание Абул-Ала аль-Маари — с тяжеловесными сквозными рифмами и сравнением любимой со стройной газелью, тюльпаном и ручейком. Он так много разговаривал с ней наедине с собой, что постепенно утратил чувство реальности — ему по временам казалось, что он в самом деле говорил ей о переполнявших его чувствах.

Вчера вечером он сидел на скамейке перед домом с Машенькой и рассказывал ей о том, как люди каменного века готовили себе топоры и наконечники стрел... Он запомнил все в мельчайших подробностях, и каждая подробность была значительна, как жизнь, и продолжительна, как жизнь. Откуда-то из-под скамейки вылезла маленькая жаба, как влажный комочек земли с лапами, и смешно запрыгала к Машеньке.

— Это моя знакомая жаба,— сказала Машенька.— Я с ней утром играла.

Он наклонился, поднял жабу и посадил ее на ладонь, загоразживая другой ладонью, чтобы она не свалилась на землю. Машенька захотела погладить жабу, и он слегка присел, чтобы это было ей удобнее сделать. Из дому вышла Таня и остановилась, открыв дверь так, что в сумерки падал свет. И ее черные, гладко причесанные волосы заблестели в этом свете.

— Машенька, пора уже спать,— сказала она, подошла ближе, чтобы посмотреть, что у Володи на ладони, слегка наклонилась вперед и прикоснулась волосами к его щеке возле уха.

Володя непроизвольно сильно и нежно прижался ухом к ее волосам, но сейчас же испуганно отдернул голову.

Таня спокойно и строго посмотрела ему в глаза и сказала:

— Отпустите ее. И ей и Машеньке уже пора спать.

— Вы уже уходите? — как-то испуганно спросил Володя.

— Да,— ответила Таня,— ухожу. Я уложу Машу,— добавила она вдруг,— и вернусь к вам. Я хочу посоветоваться с вами об одном деле.

Она ушла и закрыла за собой дверь, в садике перед домом потемнело, а Володя присел на край скамейки в такой позе, словно был готов в любой момент сорваться и бежать. Он сидел так бесконечно долго, и в голове не было ни одной

мысли, а лишь какая-то сумятица, в которую время от времени ввязывались нелепые, неизвестно где и когда слышанные им слова:

Два пня, два корня у забора, у плетня,
Два пня, два корня у забора, у плетня...

Таня вышла из дому, и он почувствовал, как кровь отхлынула у него от лица, и вскочил с места ей навстречу. Она подошла к нему и предложила:

— Присядем... Я хотела у вас расспросить... Вы ничего мне не сказали о «Платоне Кречете»...

Володя смотрел недавно «Платона Кречета» с Таней в роли Лидии, и ему думалось, что Таня в жизни значительно лучше, красивее и тоньше и что, если бы она была совсем такой, как всегда, роль эта получилась бы у нее интереснее.

— Мне кажется,— ответил Володя,— что у Корнейчука эта Лидия проще, чем у вас... И если она полюбила такого Аркадия,— я не помню, каким изобразил его автор, но помню, какой он в вашем театре,— то, значит, она женщина... не очень разборчивая...— Он запнулся, потому что сам испугался этих своих слов, и поспешил добавить: — То есть я понимаю, что внешность Аркадия, если бы его играл другой актер, положение, которое он занимает, и все прочее могут иметь свои привлекательные стороны... Но в целом...

— Да,— ответила Таня,— и положение и внешность могут иметь свои привлекательные стороны. Но это уж иной вопрос.— Она помолчала минутку и продолжала задумчиво:— Когда я работала над этой ролью, мне казалось, что драматург здесь дал исключительно большие возможности для того, чтобы показать человека до конца искреннего, чуждого малейшей фальши, малейшего наигрыша, чуждого даже женского кокетства... То есть что можно изобразить такого человека, который должен служить примером, образцом для других. Но вот когда я попробовала так передать эту роль, мне сказали, что Лидия получилась просто недостаточно выразительной, слишком бледной. И в результате, когда я попробовала посмотреть на себя как бы со стороны, мне показалось, что образ этот получился у меня каким-то несобранным, эклектичным.

— Нет,— возразил Володя.— Этого нельзя сказать. Но мне бы хотелось увидеть вас в такой пьесе, где вы бы играли просто себя. Вот такую, как вы есть.

— Сомневаюсь в том, было ли бы это интересно всем остальным зрителям,— улыбнулась Таня.

Неожиданно разговор перешел на работу, которой занимается Володя. Никогда в жизни не говорил он так горячо, так увлеченно и, вероятно, так хорошо о своем деле.

— Нам все это необходимо знать,— говорил он,— не только потому, что мы должны установить истину... Хотя и эта задача сама по себе — самая важная из числа многих дел, которыми занято человечество. Но еще важнее это потому, что только таким путем мы можем установить, почему люди — все люди — поступают так или иначе и как следует поступать в действительности... Прошрое, настоящее и будущее,— горячо продолжал Володя,— их можно легко различить только в грамматике. А в жизни они связаны между собой так тесно, так смещены и так взаимозависимы, что история как наука делает лишь первые свои шаги для того, чтобы их понять. Черная кошка, которая перебежала дорогу, у многих людей считается плохой приметой и может, таким образом, оказывать какое-то влияние на те или иные поступки. На циферблате наших часов двенадцать цифр, и мы покупаем дюжину — двенадцать носовых платков, хотя у нас давно принята десятичная система счета. И в этих случаях и во многих других мы никогда не знаем или не помним, что это, да и многое другое связано с Вавилоном, а может быть, еще и с шумерами, что в наших сознательных, а еще больше в подсознательных поступках много такого, что не казалось новым и две с половиной и три тысячи лет тому назад... Люди стремятся к звездам. Уже близко время, когда они посетят иные планеты, а может быть, и иные миры. Некоторые фантасты считали, что это позволит колонизовать новые пространства. Но это не имеет смысла. Неиспользованных пространств и на Земле хватит еще на много веков. Писали и о том, что на иных планетах можно будет добывать редкие минералы. Если бы даже существовали планеты, целиком состоящие из алмазов, то и это не окупало бы затрат на доставку этих алмазов на Землю. Очевидно, дело не в алмазах. Очевидно, дело в том, что, если мы в иных мирах встретимся с разумными существами, мы сможем совсем иными глазами посмотреть на то, что делалось в нашем мире. И тогда, вероятно, возникнет сразу масса неожиданных вопросов. И ответить на них сможет только история... История, которая станет одной из главных наук людей коммунистического общества. Ею будет обоснована теория поведения людей — мораль будущего...

Они еще долго разговаривали, а затем Володя предложил прочесть ей отрывок из византийского писателя Геннесия, в котором говорилось, что Бабек сумел даже завязать отношения с греческим императором Феофилом, и он действительно хотел прочесть этот отрывок. Но когда они вошли в кабинет Николая Ивановича, который теперь служил его комнатой, и сели рядом на двух стульях за письменным столом, он почувствовал, что сейчас произойдет то самое важное и самое значительное, чего он так ждал. И поспешно, испугавшись своих мыслей, он стал читать и путано переводить этот отрывок, а затем, прервав сам себя на полуслове и взглянув на ее спокойное, строгое лицо, он выпалил:

— Я вас очень люблю. Я очень хочу вас поцеловать. Можно мне это?

— Да,— ответила Таня.

И он стал ее целовать в глаза и в губы. И она подвинула к нему свой стул. Так прошел час, или год, или сто лет. А затем она встала, и он испугался, что она уходит, но она сказала, что скоро вернется, и он снова ждал ее, расхаживая по комнате босиком, чтобы не стучать обувью, размахивая руками и улыбаясь.

Она вернулась, и все началось сначала, а затем она сама постелила, но не на узкой, составленной из алюминиевых трубок койке, а на полу и осталась у него на всю ночь.

Утром, когда он ее увидел за завтраком, у него сжало сердце. Замечательная женщина, такая недоступная, такая спокойная, такая сдержанная, была эту ночь с ним и была ему ближе всех в мире. Это было неправдоподобно, как сон, и казалось, кончится, как сон.

...Володя не привык к спиртному. Но от этих двух вместительных рюмок водки он не опьянел, а только почувствовал какую-то особенную бодрость, легкость и смелость.

— Мне очень хорошо у вас,— неожиданно громко сказал он, прямо и весело глядя на Анну Тимофеевну.— Я понимаю, что причинил вам много лишних хлопот... Но я очень полюбил всю вашу семью и должен вам сказать, что никогда и нигде мне не было так хорошо... Наверное, стыдно так говорить, но даже дома я не чувствовал себя никогда так весело, так славно и хорошо, как у вас. Вы только не сердитесь на меня, но для меня было очень важно это сказать...

Он увидел, как Машенька искоса, серьезно и с сочувствием посмотрела на него и отвела взгляд, как потупилась



Ольга, как подбадривающе усмехнулся Николай Иванович, как Анна Тимофеевна еще больше выпрямилась на своем стуле во главе стола. Он не видел только Таню. Он не решился на нее посмотреть.

— Спасибо,— сказала Анна Тимофеевна.— Нам всем очень приятны и дороги ваши чувства. И мы очень рады тому, что вы живете у нас.

Она налила Володе чаю.

— Ну, мне пора,— сказала Таня, взглянув на часы и вставая из-за стола.

— Так я с вами?— торопливо спросил Володя.

— Да, пожалуйста.

От дома они отошли молча. Володя шел рядом с ней, неподвижно свесив руки вдоль тела.

— О чем же вы собирались говорить?— спросила Таня.

— Я не знаю,— сказал Володя,— не знаю, как сказать... В общем я не могу без вас. Независимо от того, согласитесь ли вы стать моей женой или нет, в самом деле любите ли вы меня или просто пожалели, я уже никогда не полюблю другую женщину. Я уже навсегда... до конца — поверьте мне, я ни капельки не преувеличиваю!— принадлежу вам.

Таня молчала. Володя шел рядом с ней, решительно и ожесточенно глядя под ноги.

— Это очень много,— сказала, наконец, Таня.— Я не могу взять так много. Брать — это значит и давать. Мне очень дорого и очень важно то, что ты сейчас говорил. Я очень горжусь этим и боюсь этого. Но едва ли я уже когда-нибудь буду способна на такое чувство.

— Как же будет?— спросил Володя с таким отчаянием, что у Тани сдавило сердце.

И, сопротивляясь подступившей к горлу солоноватой волне нежности и признательности, она сказала жестко:

— Все это совсем не просто. Все это очень не просто. Мне это трудно, но я должна быть с вами откровенной до конца... Ты знаешь, что я уже давно не живу с мужем. О причинах рассказывать долго, да и не нужно. Я, во всяком случае, не люблю его. И никогда, наверное, не любила. И вот, несмотря на это, позавчера он пришел за мной в театр, затем случилось так, что я поехала с ним в гостиницу, где он остановился... И снова осталась у него. И с тобой я была вчера не столько из-за тебя, сколько из-за себя. Мне нужно было избавиться от всего этого.

— Не нужно мне этого рассказывать!— сморщившись и сжав кулаки, попросил Володя.— Не нужно...— И тут же

непоследовательно и сумбурно продолжал:— Я люблю вас так, что даже это мне все равно. Лишь бы вы говорили со мной, смотрели на меня, лишь бы я чувствовал, что вы не отказались от меня окончательно.

— Нет,— улыбнулась Таня ласково и печально.— Не отказалась. Я не знаю, кроме отца, человека, который бы так, как ты, заслуживал любви и уважения. Я очень рада и очень горжусь тем, что ты полюбил меня... И кстати, я бы хотела, чтобы мы теперь говорили друг другу «ты». А сейчас иди домой, и не волнуйся, и занимайся делом. Я очень рада, что встретила с тобой...

Счастливый и опечаленный, Володя отправился в библиотеку.

Днем, когда Таня вернулась с репетиции, она прилегла на час перед спектаклем, но так и не заснула.

«Ты этого сама добивалась,— твердила она себе.— И зачем перед самой собой делать вид, что все это произошло случайно... Ты этого добила, и, вероятно, это самое важное из всего, что до сих пор происходило в твоей жизни...»

Она тщательно оделась, причесалась и напудрила нос, чтоб не блестел — уже давно она так не следила за своим видом,— и вышла в садик, к Машеньке, которая играла в войну и бомбила ядрами из влажного песка сооруженный ею же песчаный замок. Таня по предложению дочки приняла участие в этой бомбежке, а затем они решили построить из песка и щепок самолет, но этому предприятию помешал Николай Иванович.

Он вышел из дому, постоял с минуту, молча наблюдая за их работой, а затем, нерешительно покашливая, спросил:

— Пойди домой, Машенька, и принеси мне мой большой сачок.

— Ты будешь ловить бабочек?— спросила Машенька.

— Нет... Я хочу поймать одного быстрого и блестящего жучка.

Когда Машенька убежала, не глядя на Таню, Николай Иванович сказал:

— Ты знаешь, я никогда не вмешивался в твои личные дела. Но сейчас должен. Я не хочу, чтобы ты сделала несчастным Владимира Владимировича... Это было бы так же гадко, как — извини, я не могу найти другого сравнения,—

как утопить ребенка. Он человек замечательный, человек необыкновенной души, необыкновенного ума и способностей, и поэтому его особенно легко обидеть. Если ты не понимаешь этого, я сам сегодня же предложу ему уехать от нас.

— Я это понимаю,— ответила Таня.

— Вот и хорошо,— сказал Николай Иванович.— Что же Машенька не несет сачка? Я думаю, она уже добралась до коллекции жуков.

Глава двадцать шестая, о том, как скачет птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего гибельных последствий

От века не было, справедливейшие сестры, в человеке такого ума, чтобы сам собой мог возвыситься, но всегда нужны были ему содержание, обстановка, поддержка и благосклонность.

Бен Джонсон

Гриша Кинько включил звукозаписывающее устройство. Передача велась издали, откуда-то из-за границы. Неторопливо, с паузами, морзянка — чуть левее волны, за которой было поручено ему следить.

В двенадцать часов дня он сдал дежурство, а в шесть часов вечера ему снова была объявлена благодарность командования за отличное несение службы, вручена денежная премия и предоставлен трехдневный отпуск.

Вечером состоялось комсомольское собрание. Гришу единогласно избрали в комсомольское бюро. Еще позже редактор стенной газеты потребовал, чтобы он немедленно написал в стенгазету заметку о своем опыте работы. До поздней ночи он писал эту заметку, из которой в общем следовало, что главный опыт Гришиной работы состоит в том, что он постоянно бдителен и не отвлекается ничем посторонним.

Брился Гриша раз в неделю, в воскресенье, и хотя старшина утверждал, что Гриша мог бы бриться раз в год и никто бы не заметил разницы, утром он изменил своему правилу и тщательно побрился в пятницу. Его очень огорчал прыщ над верхней губой — потихоньку от товарищей он слегка замазал его зубной пастой.

Первый день своего отпуска он начал в том же кафе, за той же порцией мороженого. И сегодня кафе было малолюдным, прохладным и каким-то, в контраст Гришиному настроению, будничным.

И вдруг все переменилось. Она пришла. Она села за соседний столик и удивительно мелодичным голосом попросила у официантки порцию мороженого. Она была совсем такой, какой представлялась Грише, только без кос, но выющиеся светлые волосы так красиво падали ей на плечи,

что Гриша понял: косы — это была его ошибка, небольшой просчет, который допустил он, думая о ней.

Он не собирался говорить ей ничего плохого. Он не собирался сделать ничего такого, о чем бы он не мог рассказать на комсомольском собрании. И все-таки у него дрожали колени, когда он встал из-за стола и направился к ней.

— Извините, пожалуйста, — сказал он сипло и тихо.

— Что вы сказали? — переспросила она.

— Извините, пожалуйста, — повторил Гриша громче и, глядя на вазочку с ее мороженым, продолжал упавшим голосом: — Я сегодня получил отпуск за хорошее несение службы. И благодарность командования. И у меня такой день... а я здесь один. И вы не обидитесь, если я сяду за ваш столик?

— Садитесь, пожалуйста, — сказала она.

Она все понимала! Гриша так и знал, что она все поймет. Он взял свое мороженое и сельтерскую воду и пересел к ней.

— Меня зовут Григорием, — сказал он уверенней. — А фамилия моя — Кинько.

— Ольга, — сказала она, не называя фамилии.

— Вы, наверное, студентка? — спросил Гриша, не решаясь приняться за свое мороженое.

— Студентка, — ответила Ольга.

— Я тоже, когда увольюсь из армии, обязательно получу высшее образование. Я пойду на радиофакультет, потому что радио — это моя любимая наука и моя военная специальность. А вы на каком факультете учитесь, если не секрет?

— Нет, не секрет. На медицинском.

— А каким вы доктором хотите стать?.. По внутренним болезням или хирургом?

— Хирургом, — ответила Ольга.

— Это очень правильно. — Гриша взял ложечкой немного мороженого и положил в рот. — Хотя хирургами почему-то чаще бывают мужчины.

Он ел мороженое, мучительно раздумывая, что бы еще сказать. Когда он думал о предстоящей беседе, она складывалась так легко, так свободно и красиво, а вот на практике ему не хватало слов.

— Вы музыку любите? — спросил он.

— Люблю.

— И я очень люблю музыку, — сказал Гриша. — И классическую музыку таких великих композиторов, как Людвиг ван Бетховен, Чайковский и Мусоргский, и народные песни.

Мне только не нравятся всякие рок-н-роллы и буги-вуги, потому что они, по-моему, больше похожи на кошачье мяуканье, чем на музыку. А вам они нравятся?

— Нет, мне они не очень нравятся, — ответила Ольга, поднимая на него удивленные синие глаза.

Снова наступила пауза. А мороженое в его вазочке уже подходило к концу.

— Послушайте, Ольга, — вдруг сказал Гриша с той подкупающей искренностью и волнением, какие бывают у людей лишь в редкие минуты особенного нервного подъема. — У меня сегодня такой день... Такой, что и рассказать невозможно. Вы не подумайте, что я хвастаюсь, но не часто случается второй раз подряд получить благодарность в приказе, отпуск да еще и денежную премию. Но дело не в этом. Дело не в премии, а в том, что вот я прохожу этот день по городу, пойду в кино, и он забудется. А вам ничего не стоит сделать так, чтобы он запомнился на всю мою жизнь. Позвольте мне проводить вас, если вы куда-то идете, и пригласить вас в кино или в театр, куда вы захотите... Вы только не подумайте, что я к вам пристаю и что я вообще всегда заговариваю с девушками. Даю вам честное комсомольское слово, что это первый раз в жизни...

— У меня сегодня зачет, — нерешительно ответила Ольга. — Но если я его сдам... ну что ж, я буду рада походить по городу вместе с вами... Или даже давайте условимся проще — приходите к нам в семь часов, и вы вместе с нами пообедаете. Я думаю, вы скушаете по дому. Может быть, вам будет приятно пообедать в домашней обстановке?

— Очень приятно, — с чувством сказал Гриша. — Семьдесят три.

— Что это значит?

— Семьдесят три в международном радиокode обозначает «наилучшие пожелания». Это я вам желаю успешно сдать зачет. А у нас в части когда кому-нибудь говорят «семьдесят три», в шутку отвечают «шестьдесят шесть» — это значит: идите к черту. Но это не обидно говорят, это такая примета...

Они еще немного поговорили, он записал адрес, и Ольга ушла. Он полюбовался, как она вышла за двери, и образно подумал, что в кафе стало темней, словно зашло солнце.

Так и не доев своего мороженого, он покинул кафе и не сразу понял, что вместо того, чтобы пойти в телевизионное ателье, как он собирался, он пошел в прямо противоположную сторону. Он сел на скамейку на бульваре и долго смотрел в одну точку, улыбаясь. Сердце у него билось так часто, как после завершения марша-броска. Ольга. Он всегда считал,

что это самое красивое из всех женских имен. И принадлежало оно самой красивой, самой лучшей, самой доброй и умной из девушек, о которых он когда-либо слышал или читал...

— А, старший сержант Григорий Осипович,— весело встретил его Ибрагимов, когда он пришел в телеателье.— Снова благодарность командования?

— Снова,— серьезно ответил Гриша.— И отпуск на три дня.

— На три? — удивился Ибрагимов.— Это за что же?

— За отличную стрельбу,— улыбнулся Гриша.

— Вот оно что! — подмигнул ему Ибрагимов.— Выходит, еще один такой случай и могут медалью наградить. Или даже орденом.

— Не знаю,— внезапно насторожился Гриша.— А откуда вам известно, что я получил благодарность?

— Хороший слух, как говорит пословица, бежит впереди человека.

— Это вы шутите,— серьезно сказал Гриша.— Вы просто догадались.

— Конечно, догадался,— добродушно согласился Ибрагимов.— Ну, а как движутся самостоятельные занятия?

— Я вам еще не принес книжку,— извиняясь, ответил Гриша.— Ничего, что я ее задержал?

— Что значит — задержал? Как можно задержать подарок?

— Спасибо,— сказал Гриша.— Я с товарищем — сержантом Касатоновым, пользуясь вашей книжкой, отремонтировал телевизор в ленинской комнате. Я вам говорил, у нас там «Темп».

— Да, да, помню. Это вы молодцы. И запомните, если вы и дальше будете так же настойчиво изучать ремонт и наладку телевизоров, когда закончится ваш срок службы в армии, вы сможете поступить на работу в любое телевизионное ателье. Или на завод телевизоров. И не новичком, а мастером своего дела... Это хорошая специальность. С большим будущим.

— В этом деле, видимо, нужен опыт,— сказал Гриша.— Одних знаний недостаточно, чтобы сразу определить, в чем состоит нарушение или чем вызваны помехи.

— Ну, конечно,— подтвердил Ибрагимов.— Так же, как при работе на аппаратуре, которую вы обслуживаете. Если нет опыта, как бы хорошо вы ни знали материальную часть, можно день провозиться, пока найдете, где у вас контакт.

— Бывает,— рассеянно согласился Гриша.— А вы генератор стандартных сигналов с частотной модуляцией получили?.. О котором вы рассказывали в прошлый раз?

— Получили. Пойдемте посмотрите. Мы даже на нем поработаем, а потом вместе пообедаем. Нужно отметить вашу благодарность.

— Я сегодня приглашен на обед,— сказал Гриша с торжеством.— Так что, к сожалению, не смогу.

— Ну, значит, в другой раз,— охотно извинил его Ибрагимов.

...Он очень волновался. Всю дорогу к дому Ольги он обдумывал темы, на которые будет разговаривать. Он намеревался касаться главным образом внешнеполитических событий, в них считал себя особенно сведущим, и немного научной тематики — в основном о космическом пространстве и его освоении человеком. Долго он раздумывал и о том, как представиться родителям Ольги — протянуть руку и назвать себя — Гриша или вытянуться, щелкнуть каблуками и сказать: старший сержант Кинько. В конце концов он решил, что лучше пожать руку.

Была и еще одна почти неразрешимая проблема. Может быть, Олин отец, как это иногда бывает с пожилыми людьми, не прочь выпить. И было бы хорошо, возможно, принести с собой бутылку вина. Но сам он, Гриша, не пьет, и, наверное, принести вино, а самому не пить — неудобно. А принести коробку конфет в первый день знакомства — тоже родители могут неправильно понять. Гриша считал, что конфеты носят только невесте. Во всяком случае, так выходило по книгам. Он решил купить коробку конфет и завернуть ее как книгу. А там уж поступить с нею по обстоятельствам. И еще следовало постричься. Он, правда, недавно стригся, но для такого случая...

Он попросил парикмахера, чтобы на него побрызгали духами, значившимися в прейскуранте как самые дорогие. Они назывались «Красная Москва». Перед тем как выйти из парикмахерской, он снова осмотрел себя в зеркало — и остался доволен. Точно так, как он, выглядел отличник боевой и политической подготовки старший сержант Корольков, изображенный на обложке последнего номера журнала «Советский воин», — бравым, серьезным, со значком «Отличный стрелок» на груди.

Но все оказалось проще и лучше, чем он ожидал. Он пришел минуту в минуту, секунда в секунду к семи часам, и выяснилось, что его ждали. Людей было много, Ольга сама знакомила его со всеми, и за столом она его посадила рядом с собой.

Ему очень понравился отец Ольги — еще не старый человек, который, как он понял из его разговора с каким-то толстым и высоким человеком в очках, был столяром, а может

быть, даже и техником или инженером по столярному делу. Этот толстый и мрачный человек в очках, имени которого он не расслышал, не понравился Грише. Гриша сразу никак не мог понять, кто он такой, и в конце концов пришел к выводу, что он чужой в этой семье — квартирант, который снимает у них комнату. Вел себя этот квартирант за столом некультурно, ел мясо куском прямо из супа, вместо того чтобы, как это сделал Гриша, разрезать его в тарелке на части и брать вилкой, а, главное, говорил о вещах, в которых не разбирается. Так, например, заспорил с человеком, сидевшим справа от Гриши на другом конце стола, — судя по всему, начальником хозяйства, может быть инженером или даже директором завода — звали его Евгением Ильичом, и это был чуть ли не единственный человек, который четко, по-армейски назвал свое имя. Несимпатичный Грише толстяк сказал, что китайский язык изучить значительно легче, чем русский, хотя всякий знает, что китайские иероглифы может прочесть не всякий китаец. Кроме того, он все время смотрел в тарелку, а на вопросы отвечал резко, отрывисто, грубым голосом.

Но зато огромное впечатление произвел на Гришу Герой Советского Союза, сидевший слева от Ольги, веселый и смешливый человек, который уговаривал Гришу выпить вина. Он спросил Гришу, давно ли он в армии, а Гриша его — давно ли он уволился. Выяснилось, что он совсем не увольнялся, что он майор, но в выходные дни надевает гражданский костюм. Ольга рассказала, что Гриша, когда вернется из армии, собирается учиться в радиотехническом институте, а Гриша рассказал, что учиться он намерен заочно, а на работу он поступит в телевизионное ателье, что он осваивает ремонт телевизоров, а пока лучший мастер телевизионного ателье Ибрагимов Александр Александрович помогает ему получше овладеть новой специальностью.

— Вы в части полковника Емельянова служите? — неожиданно спросил Гришу его сосед, майор.

— Да, — ответил Гриша. — А вы, очевидно, в штабе?

— Да, — негромко сказал майор, — в штабе.

После обеда Гриша пошел в переднюю, принес конфеты, но вручил их не Ольге, а ее матери. Она поблагодарила Гришу за внимание и приглашала его, когда он будет в городе, приходить к ним запросто. Мать Ольги Грише тоже очень понравилась. Она была или домашней хозяйкой, или учительницей.

Гриша посидел в этом доме после обеда не тридцать минут, как наметил, а почти два часа. Он вежливо, но решительно осадил этого толстяка, показав, что тот ничего не пони-

мает в политических событиях, происходящих в арабских странах; рассказал Олиному отцу, что у них в части есть один старшина — в гражданке он был краснодеревщиком, — так он так отполировал стол в ленинской комнате, что в него можно глядеться, как в зеркало; сказал Олиной сестре, которую звали, как в «Евгении Онегине», Татьяной, что, когда они ходили в культпоход в театр, то там в пьесе Александра Корнейчука «Платон Кречет» архитектор Лида очень похожа на Татьяну; и в общем произвел на всех самое приятное впечатление: и Ольгин отец, и Ольга, и ее сестра приглашали его завтра снова прийти к обеду — и сам он остался доволен собой.

Очень тактично он намекнул Ольге на то, что собирается в кино и что ему было бы очень приятно, если бы... Но Ольга ответила, что не сможет сегодня уйти из дому.

Вечером этого счастливого дня Гриша участвовал в самодеятельности — читал стихи Маяковского, а затем долго не мог заснуть, снова и снова перебирая в памяти все, что с ним произошло. А утром, когда он, раздумывая, бриться ли сегодня снова, собирался в город, его вызвали в штаб части. За ним явился посыльный с автоматом, и он шел в сопровождении автоматчика по территории части как арестованный.

Гриша был очень удивлен, когда оказалось, что лейтенант, к которому его вызвали, — военный следователь. Перед тем как начать разговор, он предложил Грише подписать протокол дознания. В нем говорилось, что Гриша предупредил о том, что несет ответственность за дачу ложных показаний. После этого Гриша сообщил о годе и месте своего рождения, партийности и прочем, а затем следователь спросил:

— Вы знакомы с гражданином Ибрагимовым?

Гриша сказал, что знаком, и следователь записал.

— Где вы с ним познакомились?

— В кино, — сказал Гриша. — Вернее, еще в очереди к кассе.

Он рассказал о своем знакомстве.

— Спрашивал ли вас Ибрагимов о том, где вы служите, чем занимаетесь?

— Нет, — ответил Гриша. — Прямо он об этом никогда не спрашивал, но, как человек, служивший в армии, в войсках связи, очевидно, догадывался. Но я ему никогда не говорил ничего такого, что касается военной службы. Я давал присягу и знаю, что это военная тайна.

— Вы называли ему фамилию командира части?

— Нет, но он сам ее знает.

— Откуда?

— Он говорил, что чинил нашему полковнику телевизор.
— Таким образом, выходит,— сказал следователь,— что вы подтвердили его догадку о том, кто у вас командир части?
— Нет,— сказал Гриша,— это не было догадкой. Он точно знал.

— Он точно знал, что некую часть возглавляет полковник Иванов, скажем. Но ведь вы говорите, что он не знал, в какой именно части вы служите. Представьте себе, что он назвал наугад, а вы подтвердили. Следовательно, вы косвенным путем сообщили о том, где служите и что командир части то лицо, которое он назвал.

— Да,— упавшим голосом согласился Гриша.— Выходит, что сообщил.

— Сообщали ли вы Ибрагимову о том, что получили благодарность командования?

— Нет, не сообщал.

— А был ли у вас разговор на эту тему?

— Разговор был,— сказал Гриша.

Следователь долго, придирчиво заставлял Гришу припоминать каждое слово, сказанное Ибрагимовым, и каждое слово, сказанное им Ибрагимову. И в конце концов опять повернул дело так, что Гриша намекнул Ибрагимову на то, за что он получил благодарность командования, хотя Гриша совершенно точно помнил, что ни на что такое он не намекал, потому что хорошо знал, что об этом нельзя говорить ни слова даже самым близким людям.

Следователь требовал, чтобы Гриша прочитывал и подписывал внизу каждую страничку протокола дознания. Гриша читал и подписывал страничку за страничкой, с ужасом убеждаясь, что в протоколе все получается будто бы и так, как он говорил, и будто бы совсем не так. И что если этот Ибрагимов является агентом иностранной разведки — а видимо, он агент, иначе бы Гришу не допрашивали,— то он, Гриша, выходит по протоколу, был пособником этого агента.

Допрос продолжался около четырех часов. Когда Гриша подписал последний листок, это был уже совсем другой человек. Не отличник боевой и политической подготовки, член комсомольского бюро, старший сержант Кинько, а усталый, потерявший себя мальчик, с дрожащими губами и руками.

— В казарму вы не вернетесь,— сказал следователь.— До выяснения всех обстоятельств вы будете задержаны.

Гришу отвели на гауптвахту, где у него отобрали пояс, и поместили его в небольшую комнату, всю обстановку которой составляли табурет и железная койка.

Глава двадцать седьмая, в которой генерал Коваль лежит на диване, прикрыв стул журналом „Огонек“

Опаснее всего те злые люди, которые не совсем лишены доброты.

Л а р о ш ф у н о

«После сытного обеда
По закону Архимеда
Не мешает закурить»,—

подумал, но не сказал вслух генерал Коваль.

Советская Армия с ее различными родами войск состояла из десятков и сотен тысяч различных характеров, привычек, взглядов, и все-таки любой человек, служащий в этой армии, начиная солдатом-первогодком и кончая маршалом, плотно пообедав, произносил вслух или вспоминал про себя эти неизвестно кем придуманные, совершенно бессмысленные слова.

«Почему все это в нас так въедается? — думал Степан Кириллович.— Всякая чепуха. При чем здесь Архимед с его законами? Но ведь никто, пообедав, если даже не курит, как я, не вспомнит, что «курение — враг человека» или «одна папироса убивает голубя или лошадь» — уже не вспомню. Привычка. Одна из привычек, которыми, как вехами, размечено поведение человека.

Вот, говорят, профессор Ноздрин занимается теорией поведения. На насекомых. С помощью кибернетики. И говорил в какой-то лекции, что можно будет выработать такую теорию и в отношении поведения людей. Люди не насекомые. Это чепуха. Никакими теориями не предусмотреть того, что может совершить человек...»

Он распустил пояс на брюках и прилег на узком и неудобном диване в своем кабинете, положив ноги на стул, который он предусмотрительно прикрыл журналом «Огонек».

Значит, это не один Семен так думает. Значит, так и другие думают о нем, о человеке, всю жизнь посвятившем тому, чтобы уберечь их от самой большой из всех возможных опасностей.

И ведь так ждал он в этот раз приезда Семена. Жена посмеивалась — он не скрывал, как это бывало в прежние годы, что очень соскучился, что хочет, наконец, посмотреть на не-

стку, на внуку, а главное, на него, на сына. Физика, кибернетика, москвича. Посмотрел. Насмотрелся.

Как он начался, этот разговор? Почему он его допустил? Ах, да, с кибернетики. С темы, над которой Семен работал в своем институте.

— Это, товарищ генерал, тема секретная,— весело отпартовал Сеня на его попытки разведать, чем он там занимается.— Я у тебя никогда не спрашивал о твоих занятиях. Понимал, что это военная тайна.

— Так, может, понимаешь и то, что у меня допуск к делам посекретнее твоих.

— Допуск допуском, а я подписывал обязательство...

Посмеялись. И вдруг, без всякого перехода, Семен сказал:

— А вот что я у тебя хотел спросить... Это теперь, наверное, уже не тайна... В период этих самых нарушений социалистической законности ты применял особые методы допроса?

Степан Кириллович оглянулся на жену. Она поднялась из-за стола так, словно собиралась стать между ним и сыном.

— Дурак,— сказал Степан Кириллович.

— Но почему же дурак?— глядя прямо на него веселыми и злыми глазами, спросил Семен.— Раз такие методы применялись в ведомстве Берия, а ты в этом ведомстве прослужил много лет, значит...

— Уходи,— сказал Степан Кириллович.— Мне не перед тобой оправдываться. И не с тобой объясняться. Уходи.

Нет, он никогда не применял недозволенных методов допроса. Даже не потому, что считал их недозволенными. Просто они ничего бы не дали. Просто они принесли бы вред делу, которому он служил. Когда человека избивают или не дают ему пить, он может сказать все, что угодно. Особенно если он слаб. Если не предан своему делу. Он наведет на ложный след. Запутает следствие. Оклеветает невинных людей... Нет, он не применял недозволенных методов. Но был ли готов Семен ответить так, как сказал он отцу — «это военная тайна», — если бы недозволенные методы следствия применили к нему? На словах — на словах в последнее время появилось столько благородных людей, что хоть пруд ими пруди. А каковы они будут на деле?

Степан Кириллович вспомнил, как он, молодой контрразведчик, еще за несколько лет до событий в Испании, когда он еще и не мечтал о том, что попадет в Испанию, заболел. Аппендицит. Острый, гнойный, такой, что прямо со службы карета «Скорой помощи» доставила его на операционный стол. Он знал, что аппендицит — операция простая, не сложная.



Сказали, что сделают под местным наркозом. И вот он подумал тогда: «Испытаю-ка я себя». Так, чтобы ни разу не застопнать. Чтб только улыбаться. Если попадусь когда-нибудь, так пытки будут побольнее этого аппендицита».

Он лежал на столе и шутил с хирургом, который возился очень долго — операция оказалась неожиданно сложной, а по клеенке под спиной тек пот, и, когда хирург отхватил чем-то кусок кишки так, что болью пронзило насквозь, он не застопнал, а только крепче вцепился руками в края стола и с улыбкой посмотрел на желтый, уродливый кусок кишки, который хирург ему показал. И так же легко перенес отвратительное чувство, когда накладывали швы, — кожа уже разморозилась от этого местного наркоза, и ощущение было такое, словно из живого вытягивали кишки.

Хирург не оценил его терпения. Он, дурак, отнес все это за счет своего мастерства.

— Я ведь вам говорил,— сказал он.— Очень быстро и совсем не больно... А у меня борода не выросла?..

— Какая еще борода? — невозмогая боль, спросил Степан Кириллович.

— А это рассказывают, что одному больному, вот как вам, удаляли аппендикс. Он и спрашивает у врача: «Это больно?» — «Да нет, совсем не больно...» — «А долго?» — «Одна минутка». Операция шла под общим наркозом. «Считайте до тридцати». Больной заснул. Просыпается, видит над собой врача и говорит: «Что же это, доктор, вы меня обманули... Говорили, не долго, а у самого за это время зон какая борода выросла». — «Э, милый,— услышал он в ответ.— Я совсем не доктор...» — «А кто же вы?» — «Я апостол Петр».

Он заставил себя рассмеяться над анекдотом, который, по видимому, хирург рассказывал всем, кто оставался в живых после его операций.

Хуже стало ему в палате. При перистальтике — или как она называется? — кишок. Вот тогда было особенно больно и хотелось хоть немного постонать. Но сдержал себя... Конечно, это чепуха, когда говорят, что аппендицит — легкая операция. Может, хирургам она и легкая. А больным не очень. Или это у него она так тяжело прошла?..

Но через некоторое время... через два года?.. Нет, через три. Да, это было в тридцать восьмом,— он понял, что улыбаться при удалении этого дурацкого аппендикса — чепуха, когда почувствовал, как в самом деле бывает, когда загоняют под ногти иголки. Под самые настоящие живые ногти — самые настоящие швейные иголки. И все равно улыбался и глядел в лицо этому негодяю Косме Райето так же весело и бесстрашно, как глядел на него его сын Семен, когда задавал этот подлый вопрос.

Он почувствовал, что у него заныли пальцы, и подумал о том, какое счастье, что у человека нет памяти на физическую боль — иначе для многих людей жизнь стала бы невозможной... Райето переговаривался со своим подручным Доминго на андалузском диалекте — профессиональном языке тореадоров и бандитов... «Ты нам заплатишь за эту газету...» — твердил Райето.

Он слабо улыбнулся, вспомнив эту свою проделку... Фашистский генерал-фалангист Ягуэ выступил с резкой критикой Франко, обвиняя его в том, что он пресмыкается перед итало-германскими фашистами и разбазаривает национальные богатства Испании. Коваль придумал, как использовать это выступление генерала Ягуэ против Франко. Он организовал

выпуск газеты якобы от имени фалангистов, в которой поместил сильно приукрашенную «речь» генерала Ягуэ. Газету, являющуюся по формату, шрифту, качеству бумаги точной копией, двойником фалангистской газеты, широко распространили на территории мятежников.

И он заплатил... Тогда с ним работала молодая французенка, по имени Мари Сиоран, очень похожая на испанку — с иссиня-черными волосами, с матово-смуглой, без румянца, кожей, с умными и грустными темными глазами...

«Эта женщина... — подумал он.— Эта женщина прекрасная, как испанка, и несчастная, как Испания...» Он никогда не говорил ей, что любит ее. Даже от себя скрывал. Знал, что нельзя. Не до этого было. А Косме Райето как-то сумел это понять. Как-то догадался.

Он ее изнасиловал, Косме Райето, на его глазах. Он и его подручный Доминго — дегенерат и садист... И она кричала: «¡Sierra los ojos, sierra los ojos!» — «Закрой глаза... Закрой глаза!..» Больше всего она боялась, что он увидит. И ей зажали рот, а он закрыл глаза, и фалангисты, которые его держали, били его по голове рукоятками пистолетов, чтобы он их открыл...

Ночью она себе перерезала вену. В подвале, куда ее бросили. Отогнула край железного обруча от валявшейся там винной бочки. Он узнал об этом значительно позже. Сколько же она должна была пилить себе вену этим тупым краем обруча?..

«И вы хотите, чтобы все это — не в счет? — спрашивал он уже не сына, а всех, кто думал, как его сын.— Чтобы все прошло и забыто? Не получится. Мы ничего не забыли. И вы не смейте забывать».

Степан Кириллович тяжело перевернулся на другой, на правый бок, лицом к стене.

«А если я в чем-то виноват, если когда-нибудь руководствовался не интересами дела, не интересами государства, а чувством мести к тем, кто загонял мне под ногти иголки, то пусть обо мне судят не Семены, воображающие, как писал какой-то поэт, что гвоздь у них в ботинке важнее, чем судьбы истории, или что-то в этом роде... Пусть обо мне судят люди, которые тоже имеют право сказать: «Я тогда улыбался...»

Отцы и дети. Новое поколение. Но будет ли оно лучше нас, это новое поколение?..

Семен уехал в этот же день. Он не успел даже полюбоваться своей внучкой и пошутить с невесткой, подарить ей любовно выбранные часики-браслетку. А на следующую

ший день накричал и посадил под арест Шарипова — лучшего своего ученика, в которого верил, которому — знал — предстоит большая судьба в деле безопасности государства.

«Не хотел бы я только, чтобы он женился на этой Ольге Ноздриной, — думал Степан Кириллович. — Лучше всего, если бы эта Ольга вернулась к лейтенанту Аксенову. Тот для нее самый подходящий парень. Плакса, неудачник. Таких женщины особенно любят. А Шарипову нужна бы другая. Просто тихая, не очень красивая и очень добрая женщина. Как моя Люба. Но разве это объяснишь?.. Разве скажешь?..»

Кибернетика. Машины составляют и расшифровывают шифры, но донесение, которое расшифровывают машины, пишут люди. Все дело в том, какими будут эти люди. Такими, как он, или такими, как его сын Семен. В этом все дело.

Он поднялся с дивана и подошел к столу, на котором у него всегда лежали папиросы для гостей. Он закурил, грубо и жадно затягиваясь. Он не курил более двадцати лет. У него закружилась голова.

Глава двадцать восьмая, из которой читатель узнает, околько листов было в деле старшего сержанта Кинько

Лишь отнесся к человеку Павлу, как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку.
К. Маркс

Шарипов читал протокол дознания, написанный четким и крупным почерком лейтенанта Аксенова. На каждом листе внизу стояла подпись «Г. Кинько». Но от листа к листу она менялась. Она становилась все неуверенней и неразборчивей.

«Этот старший сержант Кинько попросту глуп, — думал Шарипов. — И конечно, дураки чаще всего оказываются пособниками врага. Но так вести допрос, как вел его Аксенов, — недопустимо. Все подводится к тому, что Кинько этот виноват в разглашении военной тайны. Хотя фактически, при его ограниченности, он удивительным образом сумел не сказать ничего лишнего. Какое счастье для него все-таки, что он не пьет. Иначе бы он так легко не отделался...

Но откуда у Аксенова, такого нерешительного, слабохарактерного и, как мне казалось, доброго человека, появилась эта собачья злость, это желание кусать, вцепиться зубами, во что бы то ни стало доказать виновность, я уверен, совершенно безвинного человека?.. Мне бы и в голову не пришло, что вокруг этого в общем простого дела можно такое наворотить... Очевидно, когда слабость притворяется силой, она всегда становится силой и злой и опасной. И это плохо. Это очень плохо для человека, работающего в нашем деле.

Такой при удачном стечении обстоятельств может дослужиться до больших чинов. Несколько таких дел могут создать славу хорошего следователя. А там, глядишь, и начнет подтасовывать факты. И так ловко научится это делать, что и не придерешься. И уже никто и не догадается, что он слаб и безволен. Все будут считать его силой... Черт, а ведь это в самом деле плохо. Что это — Аксенов. Что я... не могу. Что не так поймут. Что будь это не Аксенов, а кто-нибудь другой — уж я бы постарался, чтоб следователь с такими задатками перешел на профсоюзную работу... По распространению театральных билетов на предприятиях. Или социальному стра-

хованию... Но все равно нужно в этом разобраться. Нужно разобраться, откуда у Аксенова эти черты и почему я их прежде не замечал. А тогда уже решать...

А с Кинько — что ж, с Кинько и так все ясно. Хорошо бы только разобраться с моей ролью в этой пьесе».

Этот парень чем-то напоминал Шарипову персонаж из комедии Островского. В последнее время Шарипов пристрастился к чтению пьес. Они привлекали его остротой и вместе с тем правдоподобием действия, естественностью столкновений характеров и взглядов и казались искусством, наиболее полно и реально отражающим жизнь. Так вот Кинько напоминал ему героев Островского или некоторых современных фильмов неореалистического направления, в то время как большинство людей, казалось ему, больше походили на героев пьес Шекспира — они были значительно сложнее, тоньше.

«Но, может быть, — думал Шарипов, — я это так воспринимаю потому, что мало знаю этого Кинько и сужу о нем лишь по встрече у Ольги и по протоколу, в котором виден скорее Аксенов, чем Кинько. Наверное, все-таки те, кто говорит, что люди в жизни просты и ограничены, как в пьесах Островского, ошибаются. Или просто они великие лгуны...

Даже в таком простом деле, как дело этого старшего сержанта, — думал Шарипов, — для меня много такого, от чего, вероятно, зависит вся моя работа. А следовательно, и жизнь.

Почему так получилось? Почему я, так решительно отказавшись отвечать на вопросы Степана Кирилловича о семье Ноздриных, сам распорядился немедленно допросить Кинько, с которым я познакомился случайно и от которого случайно узнал, что он встречался с Ибрагимовым? Степану Кирилловичу я сказал, что ходил в этот дом не как сотрудник органов безопасности. А как гость. Но ведь и со старшим сержантом Кинько я встретился не как сотрудник органов безопасности. Следовательно, получается, что я руководствовался только тем, что Ольга и ее семья мне лично очень близки и дороги, а Кинько мне безразличен. Значит, прав Степан Кириллович?..»

Он собрал бумаги и отправился на доклад к Ковалю.

Выслушав Шарипова и бегло просмотрев дело Кинько, Степан Кириллович сказал резко и непримиримо:

— А теперь отложим дело Кинько и познакомимся с другим, которым вы, нарушив, как говорится, долг и присягу, заниматься отказались... Вот, пожалуйста, познакомьтесь.

Это не было для него полной неожиданностью. Когда он думал о том, кем именно интересуется Коваль в доме Ноздриных, он предполагал, что Евгением Ильичом Волынским. Но

ему и в голову не приходило и сейчас не верилось, что этот лощеный Волынский, крупный хирург, мог доставить для Ибрагимова посылку из-за границы. Сам по себе Ибрагимов был фигурой странной и легковесной, но уж в том, что прочел Шарипов, было такое легкомыслие, такое нарушение не только государственных законов, но и правил конспирации, принятых всеми иностранными разведками, что так могли поступать лишь люди, совершенно ни в чем не виновные. Или безнадёжные дураки.

— Вот так, — жестко сказал Степан Кириллович. — А теперь скажите, не кажется ли вам странным, что в доме Ноздриных почему-то встречаются люди, так или иначе связанные с Ибрагимовым?

— Нет, — сказал Шарипов. — Я совершенно точно знаю... я головой могу поручиться, что Кинько попал в этот дом случайно. Его пригласила туда Ольга Ноздрина — моя невеста, как вы знаете. И с равным основанием можно говорить, — Шарипов недобро посмотрел на своего многолетнего начальника, — что и я бываю в этом доме потому, что каким-то образом связан с этим идиотом Ибрагимовым.

— Ни за что не следует ручаться головой, — поучительно заметил Коваль. — Можно и без головы остаться.

— Есть вещи, за которые стоит остаться без головы. Кроме того, я считаю, что допрос Кинько, проведенный по моему указанию лейтенантом Аксеновым, искажает роль Кинько в этой истории. А старший сержант, если в чем-то и виноват, то только в том, что у него в голове мозгов в четыре раза меньше, чем в орехе.

«Чормагз, — подумал Шарипов. — По-таджикски грецкий орех назывался чормагз — «четыре мозга». Ядро ореха и впрямь напоминало мозги».

— А мы все это проверим, — сказал Коваль спокойно. — Распорядитесь, чтобы этого старшего сержанта привели ко мне.

Между ними был только стол, но, если бы сложить на него все то, что их разделяло, старшему сержанту Кинько пришлось бы долго пятиться. И генерал в своем кителе с золотыми сверкающими погонами и орденскими планками с внезапной симпатией подумал о том, каких усилий стоит старшему сержанту преодоление этого расстояния и как смело он взялся за это трудное дело.

Он, Коваль, уже много лет сидел на хозяйском месте за этим или похожим на этот столом и постепенно отучился

даже мысленно ставить себя на место тех, кого он приглашал к себе или кого к нему приводили. Но этот Кинько...

«Почему Шарипов говорил о нем, что он глуп? Это неверно. Шарипов считает себя чересчур большим умником и слишком часто думает о других людях как о дураках. А это плохо. Это плохо и опасно для контрразведчика, и когда-нибудь он за это жестоко поплатится. Если его вовремя не останавливать. Но почему он так говорил об этом Кинько? Когда Шарипов впервые пришел ко мне сержантом, а потом дослужился у меня до лейтенанта, он тогда не был умнее этого Кинько. Может быть, только чуточку сообразительнее. И уж Кинько этот, несомненно, грамотней и обладает большим кругозором, чем Шарипов в то время».

Между тем Гриша, глядя прямо в лицо генералу искренними голубыми глазами, о которых сам он думал, что они у него стального цвета, говорил:

— Даю вам честное комсомольское слово, что я еще и еще раз все это продумал и с полной гарантией заявляю: ни в чем и никому военной тайны я не выдал. Думал я также много и упорно о своем знакомстве с Ибрагимовым, в котором меня обвиняют. У меня мало знакомых на гражданке. Был этот Ибрагимов, и, кроме того, познакомился я с одной... еще с одним человеком. И это все. Я много думал, почему я сразу не обратил внимания, что он одет во все заграничное и говорит на иностранном языке. Но я обратил внимание. Я это точно помню. Но я так понимаю, что агент иностранной разведки должен быть одет просто, так, чтоб на него не обращали внимания, и говорить только на нашем языке. И еще я думал — и скажу по правде, меня, как комсомольца, это очень тревожит — выходит, что серьезные недоработки имеются у нашей государственной безопасности. — Он знал, что этими словами он может настроить против себя генерала, но не мог не сказать того, что считал своим долгом. — Если иностранные агенты ходят в наше кино, как обыкновенные трудящиеся, и работают в телевизионном ателье, если военный служащий получил увольнение в город и сразу натывается на агента — куда же смотрят наши люди, которые отвечают за это дело?..

— Что ж, мы учтем ваше замечание, товарищ старший сержант, — спокойно, без малейшей тени иронии ответил генерал Коваль.

— Ведь с Ибрагимовым фактически мог познакомиться любой солдат или даже офицер нашей части, — продолжал Гриша Кинько. — Потому что у солдата, или сержанта, или

офицера, когда он уходит из расположения части, обязательно есть какие-то знакомые... Но главное, с кем бы ты ни был знаком, не разгласить военной тайны. Я не разгласил. Так почему же меня арестовали?

— Вас не арестовали, товарищ старший сержант, — мягко сказал Коваль. — Вас задержали до выяснения вопроса.

— Я очень прошу, — потребовал Гриша с болью, — чтобы его скорее выяснили. Я не хочу сидеть на гауптвахте, как какой-нибудь нарушитель воинской дисциплины.

— Ваша просьба уже выполнена, — ответил Коваль. — Уже разобрались. Вы свободны. — Он посмотрел в посветлевшее Гришино лицо и добавил то, на что Гриша не смел и надеяться: — Ваши показания окажут нам весьма существенную помощь. Благодарю Вас. Командованию вашей части будет об этом сообщено. Ну, а вы, сами понимаете, никому не должны рассказывать, о чем вас здесь спрашивали. Это тоже военная тайна.

— Я понимаю это, — сказал Гриша. — Большое спасибо, товарищ генерал-майор. Я знал, что так будет.

«Вот и все», — подумал Степан Кириллович, наблюдая за тем, как четко, по-уставному повернулся старший сержант Кинько, как уверенно он отпечатал первый шаг на ковре его кабинета, в какие симметричные складки собрана на его спине туго затянутая ремнем гимнастерка. Перед тем как уйти, старший сержант привычным, машинальным движением провел под ремнем большими пальцами обеих рук, расправляя складки на груди и собирая их на спине.

«Командир взвода не раз учил его, — подумал Степан Кириллович, — идешь от начальства, сделай оборот налево кругом и не оглядывайся. Но он еще оглянется...»

И действительно, Гриша уже на пороге оглянулся, и Степан Кириллович снова увидел его милое, простое, серьезное лицо человека, убежденного, что все в этом мире устроено разумно и правильно, и нашедшего еще одно подтверждение этому своему убеждению.

Степан Кириллович придавал исключительное значение человеческой внешности. Профессия научила его не доверять словам — слишком часто они служили для того, чтобы только скрывать мысли. Жизненный опыт научил его не доверять и поступкам — многие люди часто поступали совсем не так, как им этого хотелось бы. Не доверялся он и человеческой внешности, но считал, что она заслуживает особенного внимания потому хотя бы, что никогда не бывает случайной.

Нужно только уметь понять ее, нужно постоянно наблю-

дать, ничего и никогда не упуская. Больше всего пугали его какие-то пропуски, какие-то упущения в наблюдательности, которые он все чаще стал у себя замечать. Вот и сейчас — он не знал, когда на его столике со стеклянной крышкой сменили почтовую бутылку «Гурджаани» полной. И мысль об этом угнетала его, давила, сутулила плечи.

«Наблюдай, старик, не забывай об этом, не успокаивайся,— твердил он себе.— Иначе ты скоро попадешься. Ты слишком становишься генералом, старик. И когда станешь им совсем — ты будешь генералом в отставке...»

Каждое утро Степан Кириллович ровно пятнадцать минут проводил перед зеркалом. Он брился — тщательно, истово, по старинке широкой, с запасом для точки на десятки лет, золингенской бритвой.

Оно очень изменилось, его лицо. Оно стало красивым, если можно найти красоту в чертах, сложившихся в постоянных столкновениях с человеческой подлостью, глупостью, жадностью. Резкие и глубокие носогубные складки, запавшие щеки, разбухший нос, седые брови, мелкие, лучиками морщины от углов глаз к вискам и, главное, синеватые мешки под глазами придали ему внушительный, генеральский вид.

Как бы ты ни следил за собой, а жизнь накладывает на твоё лицо свой неизбежный отпечаток, и уже давно стерлись с него те мелкие черты, то незначительное выражение, которое столько лет так хорошо и верно ему служило.

Теперь он держался таким старым, простоватым, чуть рассеянным служакой-генералом в чистеньком, с иголочки генеральском кителе, со множеством орденских планок, где иностранные ордена от советских отделяла длинная яркая ленточка ордена «Лавры Мадрида».

Но роль ли это? Не изображает ли он рассеянность потому, что в самом деле утратил наблюдательность? Когда же, черт побери, в самом деле заменили «Гурджаани»?.. Сколько листов было в деле этого старшего сержанта Кинько?.. Он не обратил внимания.

А генеральский мундир... Ему действительно нравилось и было приятно носить этот китель с блестящими генеральскими погонами, нравилось, когда подчиненные с любопытством и почтением поглядывали на ленточку ордена «Лавры Мадрида».

Говорят: «утратить лицо...», «приобрести лицо»... Вот он с годами утратил, а Ведин приобрел. С самого начала Ведин перенял эту манеру Ковалья держаться, как человек незначи-

тельный. Во всем — в манере говорить, в выражении лица. «Пусть другие щеголяют,— подумал Коваль невольно, не разделяя себя с Вединым.— Пусть Шарипов щеголяет эрудицией, интуицией, дикцией и прочей экзотикой... Все это очень хорошо. Но правильно и то, что начальником Ведин, а заместителем у него Шарипов».

«Но сколько все-таки листов в деле этого старшего сержанта? Тридцать один?.. Тридцать два?.. Одно из простейших дел, какие мне попадались за последние месяцы. И все-таки...»

Степан Кириллович развернул дело.

Характеристики... Он прочел все характеристики, какие получил этот Кинько. Но он не помнил случая, чтобы иностранный агент, сумевший устроиться у нас на службу, получал когда-либо плохую характеристику. Искренность. Но никто не говорит искренней и наивней людей, которым грозит наказание за совершенное ими преступление или проступок.

«Повезло тебе, старший сержант Кинько,— едва заметно усмехнулся Степан Кириллович.— Повезло, что попал ты в эту историю в другое время. А лет еще семь-восемь назад даже я оставил бы тебя в тюрьме вплоть до завершения всего дела и не ломал бы себе голову над тем, не делаю ли я ошибку, отпускаю тебя, можно ли тебе верить во всем и до конца...»

Да, так тогда и считали — подумаешь, какой-то сержант. Посидит. И пусть бога благодарит, если легко отделается. Значит, в чем-то прав Шарипов. В чем-то прав, и с этим нужно считаться. Он моложе и лучше чувствует время — новое время, когда больше думают о людях, больше заботятся о них и, главное, больше их любят...

А листов здесь не тридцать один и не тридцать два, а двадцать восемь... Будь внимательней, генерал. Держись, генерал, иначе ты попадешься. И тебя проведут, как последнего дурня...

Глава двадцать девятая, в которой Ольга отвергает историческую науку

...Никогда ни на одном континенте земного шара, ни на одной планете, никогда до зачатия человека, ни в меняющихся периодах жизни, ни в бедствии, ни в расцвете сил — нигде ни при одном жизненном укладе или его преобразовании, никогда и нигде не выросло существо, которое инстинктивно невидело бы правду.

Уолт Унтмек

Паркет разошелся настолько, что скрипел даже тогда, когда по нему ступала кошка. Ольге показалось, что она проснулась от этого скрипа, но она не знала, спала ли она в самом деле или это было то состояние, которое предшествует сну, когда глаза закрыты и слышен каждый ночной звук, и сонно-сонно и медленно-медленно проплывают в сознании какие-то слова и улыбки.

Скрип, скрип — отмечал паркет мягкие шаги Тани на носках к двери. Жирр — проговорила дверь, когда Таня ее открыла. Треск — сказала она, закрываясь. Затем — шлеп, шлеп — босые ноги по коридору. Огрызнулся стул, который Таня задела в столовой, и, наконец, прочь-прочь — пророкотала дверь в кабинет отца.

«Снова к Володе», — подумала Ольга. Она присела на кровать, отбросив простыню, которой укрывалась, и поглаживая босыми пятками коврик на полу.

«Нужно сказать Тане, что я все знаю и что не могу этого понять. Она старше меня, и когда-то эта разница имела значение, и она раньше стала взрослой и уехала от нас. А теперь я могу ей все сказать, и это очень странно, что мы никогда не разговариваем с ней о своих делах, и она не знает, как я люблю Давлята и что это для меня теперь самое важное в жизни. И это совсем другое дело, потому что с Борисом все это было по-детски, и я ему совсем не изменила, как об этом все они, наверное, думают. А просто это было не настоящее, и я это всегда знала, даже тогда, когда он целовал меня в парадном и я его тоже целовала. А настоящее может быть у человека только один раз. Как у меня с Давлятом. И я точно знаю и ничуть не преувеличиваю, что я без него уже не смогу жить. И если бы его не стало или если бы он меня разлюбил, то я не знаю, как бы я жила дальше, что бы я делала.

Потому что я уже никогда и никого не смогу полюбить, кроме него...

У Тани есть муж, замечательный человек, перед которым все преклоняются. И если бы я не любила Давлята, то я бы даже завидовала, что у Тани такой муж.

Когда показывали этот фильм, где он делает митральную комисуротомию, все люди в зале просто затаили дыхание, а когда зажгли свет, я сама видела, что женщина рядом со мной плакала и вытирала платком глаза, хотя она совсем и не понимает, какая это сложная и трудная операция. Но она плакала от радости, потому что Евгений Ильич спас жизнь этой девочке. Он спас ей жизнь и сделал операцию на сердце, чтобы она, когда вырастет, тоже смогла всем сердцем полюбить такого человека, как Давлят или Евгений Ильич.

А это странно, что говорят «полюбить всем сердцем». Это они так говорят потому, что не знают медицины и не знают, что сердце за день перегоняет семь тысяч литров крови и совершает за сутки такую работу и затрачивает такую энергию, что ее хватило бы, чтобы поднять быка на высоту восьмизатяжного дома. Но если у человека митральный стеноз, как у этой девочки, или другое заболевание сердца — он уже не сможет ни любить, ни работать, ни радоваться.

А жалко, что кинофильм не цветной — всем было бы видно, что у больной девочки был акроциноз, что у нее синюшный нос и концы пальцев, а потом, после операции, все стало нормально... И какое благородное и доброе у него лицо, когда он потом входит в палату к девочке и застаёт там ее родителей...

Нет, я не понимаю, как можно променять Евгения Ильича на этого смешного Володю. Конечно, он знает много языков и вообще ученый. Но ведь любят человека не за то, что он ученый, а за что-то другое. И этого другого в Володе вовсе нет».

Ей совсем расхотелось спать, она встала с кровати, подошла к окну и выглянула наружу... Месяц висел над деревьями, и она, как учил ее в детстве отец, мысленно приставила палочку к месяцу, определила, рождается он или на исходе, а затем, вдохнув полной грудью прохладный густой воздух, насыщенный запахом земли, травы, деревьев и еще чего-то очень знакомого, но непонятного, почувствовала такую радость, что захотелось немедленно сделать что-то необычное, и она, поджавшись на руках, попробовала на подоконнике сделать стойку вниз головой, как делала в институте на занятиях по художественной гимнастике, но испугалась, что

не удержится, быстро опустилась на ноги и вернулась на кровать.

«Это потому,— подумала она,— что месяц, и воздух, и этот знакомый, такой приятный запах, и завтра я увижусь с Давлятом...»

«Кибернетика,— вдруг вспомнила Ольга.— Папа считает, что можно разработать теорию поведения этих его тараканов и муравьев, а со временем с помощью кибернетики будет создана и теория поведения человека. Но разве может любая кибернетика предусмотреть, что я встречу с Давлятом, или что Таня пойдет ночью на цыпочках по этому скрипящему паркету к Володе Неслюдову, хотя, если рассуждать теоретически, такой человек должен был бы не понравиться моей сестре — он смешной, неловкий, руки у него красные и далеко выглядывают из рукавов пиджака.

И вообще я не представляю себе, как можно остаться с ним наедине, ведь он ни о чем не способен говорить, кроме этой своей древней истории. Ну, раз можно поговорить об истории, два раза, а потом? И вообще это правильно пишут в газетах, что некоторые научные работники оторвались от жизни. Надо будет как-нибудь при Тане спросить у него, а что изменится, если ему удастся доказать, что этот Бабек, которого, как сам он говорил, не учат не только в школе, но даже в университете, как-то был связан с Таджикистаном. Что же с того, если и связан? Можно проделать такой опыт: стать на улице и спросить подряд тысячу людей, слышали ли они вообще об этом Бабеке? И все до одного ответят, что нет, никогда не слышали. Если даже доказать, что тут действительно проходило какое-то общественное движение по инициативе Бабека, вся тысяча человек об этом не узнает, и им это, как и мне, совершенно неинтересно.

И вообще люди — все люди, — чтобы жить хорошо и счастливо, должны поменьше думать, что было в прошлом, должны, наоборот, постараться забыть прошлое, а заниматься настоящим, сегодняшним днем. Как Давлят. А вот ведь — все люди спят, и никто не думает, что Давлят и такие, как Давлят, оберегают их сон, и это очень хорошо, что есть Давлят и другие люди, которые это делают...

Но как это я о прошлом... Это очень верно, когда все так хорошо и прекрасно, не нужно думать о страшном прошлом, потому что все, о чем помнят и не забывают, может вернуться... Это верно, и нужно сказать это Тане...

Но я не стану дожидаться Тани, потому что хочу уже спать, и мне все равно нужно об этом подумать еще раз ут-

ром. А лучше я сейчас подумаю о чем-нибудь другом. Об этом ковре, который подарил мне Давлят. Даже мама сказала, что такой подарок мог сделать только человек с исключительно тонким вкусом. Даже Таня сказала, что Давлят поэт. А Волода до этого никогда бы не додумался...

Шарипов подарил Ольге большую белую кошму, на которой черной шерстью были вышиты пять нотных линейек, скрипичный ключ, четыре диеза и несколько нотных значков. Ольга не знала нот. «Соль, си, фа, ми,— прочла Анна Тимофеевна.— До, ми, си, ля, ля, ля...» И спела: «Я люблю вас, я люблю вас, Ольга...»

«Как хорошо, когда он говорит мне эти слова! — подумала Ольга.— И вообще, когда он говорит. Никто не говорит так красиво, как Давлят. И я теперь поняла, кто еще так говорит, и надо будет сказать ему об этом. Так говорит Левитан по радио. Только Левитан говорит торжественно, а Давлят просто, как все говорят в жизни, только лучше... И я понимаю, что он ни с кем не может говорить о своей работе, и даже со мной. Но я сдам хвост по судебной медицине и займусь ею всерьез, а когда закончу институт, тоже поступлю на работу в Комитет государственной безопасности...

То есть как это — в комитет?» — испугалась вдруг Ольга.

И она вспомнила, как был арестован отец и как они не знали, жив ли он, а когда они обращались в Министерство безопасности, им ничего не отвечали, и как мама шла из министерства и плакала, не опуская головы. Как трудно и страшно им тогда жилось, как люди, которые прежде им завидовали, стали их жалеть. А потом умер Сталин, и они все: и мама, и Таня, и она, — делали вид, что расстроены его смертью, а сами тихонько ждали лучшего, но все это тихонько — тихонько даже друг от друга. И скоро сообщили, что папа жив, — и он вернулся веселый и страшный, — а ночью Оля услышала, как он сказал маме, что его там били на допросах.

«Нет, нет,— думала Ольга.— Это не Давлят. Это последствия культа личности. И с этим покончено, и не нужно это вспоминать. Как будто этого и не было...

Но обо всем этом я подумаю потом, потому что сейчас я очень хочу спать... А Таня все равно напрасно ходит к этому Володе, потому что, если даже она его полюбила, как я Давлята, хотя это совершенно невозможно, то все равно нехорошо к нему ходить в кабинет отца. И Таня никогда не высыпается. А так хочется спать...»

Глава тридцатая, в которой снова появляется загадочный граф Глуховский

ведь в царстве бытия нет блага выше жизни —
Каи проведешь ее, так и пройдет она.

Гияс ад-Дин Абу-л-Фатх Омар
ибн Ибрахим, называвшийся
Хайямом (палаточником)

«Сколько же ему лет? — думал Степан Кириллович. — Сколько ему лет?.. Очевидно, не меньше, чем мне... Он тогда не выглядел здоровым человеком... Интересно все-таки, какой он сейчас? Трудно думать, что ему жилось легче, чем мне. Хотя, вероятно, легко живется не тем, кто хорошо живет, а тем, кто легко относится к жизни...»

Он встал из-за своего места за письменным столом, перешел к круглому столику и улегся в низком кресле, расставив ноги и вытянув их вперед. Все чаще и чаще сидел он здесь в такой позе. А ведь совсем недавно он сел в это кресло, отбросившись на спинку, расставив ноги и вытянув их вперед в первый раз в жизни.

Он зашел тогда в архив, чтобы пересмотреть одно из старых, давно законченных дел, связанных со спекуляцией лампами к радиоприемникам. В нем косвенно упоминалась фамилия Ибрагимова. Он собирался дать задание проверить, где теперь находятся люди, замешанные в этом деле, но предвзвешенно хотел сам выяснить все его обстоятельства.

Он слышал где-то, что крупные ученые-биологи сами моют для себя пробирки — потому что в сложных экспериментальных работах нет незначительных операций. Этот пример он часто приводил своим сотрудникам. Не гнушаться черновой работой. В ней много такого, что даст вам в руки ключ к открытию. Сам он ею никогда не гнушался.

Он сидел за столом с лампой дневного света, горевшей здесь и днем: в архиве было темно. За соседними столами с такими же лампами работали сотрудники управления, два командированных из Москвы подполковника и ленинградский профессор, специалист по новой истории — пожилая женщина со спущенными чулками на бесформенных ногах — ей был разрешен доступ к некоторой части их архива в связи с ее научной работой. В то утро не было никаких особенных причин для волнений. Во всяком случае, не больше, чем

всегда. Ночью он хорошо спал. В общем день этот ничем и ни в чем не отличался от всех других дней. И вдруг...

И вдруг он почувствовал, как что-то острое и зазубренное погрузилось в сердце — он даже ясно представил, что именно: конец металлического костыля, который вбивают в каменные стены. У него обмякли руки и тело, он хотел вдохнуть воздух, но не смог, и что-то, видимо, было в его лице или в его поведении такое, что люди вокруг него испуганно заматались, кто-то подал ему воды, кто-то проводил к стоявшему у стены дивану (как ни дико это совпадение, но он недавно предложил убрать диван из архива, так как считал, что мебель такого рода совершенно излишня в служебном помещении, но этого не успели сделать).

Боль усилилась. Она уже заполняла все сердце и всю грудь, и он подумал, что умирает. И было очень неловко и противно умирать при посторонних людях, собравшихся вокруг него. Он молча поднялся, вернулся к себе в кабинет, приказав дежурному: «Никого не пускать!» — и улегся в кресле, вытянув вперед и раздвинув ноги.

Ему показалось, что сейчас, сию минуту сердце не выдержит этой боли и разорвется. «Это и будет «разрыв сердца», как говорили в старину, — подумал он, вынуждая себя улыбнуться. — А сейчас говорят — инфаркт».

И вдруг он услышал собственный голос, негромкий, испуганный и стыдливый:

— Ой, не надо... Не надо...

Прежде, когда ему грозила смерть на войне, смерть по воле людей, по воле врагов, он никогда не просил... Но сейчас он был наедине с нею... Только он и она. И она медленно отошла.

Так он пролежал полчаса или час, и не умер, и боль утихла. И он снова занялся делами и не пошел наутро к врачу, как собирался, а сделал это лишь через неделю после того приступа, когда снова почувствовал боль в сердце, на этот раз менее острую, но все же боль...

Стенокардия. Грудная жаба, как проще и выразительнее говорили в старину.

— И не удивительно, — сказал полковник медицинской службы, главный терапевт Эйхенбаум, румяный, уса́тый и бородатый, похожий на деда-мороза. — При вашей работе. Можно считать, что это у вас профессиональное заболевание.

Ну, а как же при его работе? Чем должен заболеть человек, столько лет скрывавшийся, живший под чужим именем в окружении людей, которые ему враги и которым он враг?

Все дело в чувстве ответственности. Ответственность — вот что тяжелым грузом ложится на сердце, давит на него, мнет и превращает из знакомой фигуры, изображение которой, пронзенное стрелой, можно увидеть на многих садовых скамейках, в злобную и капризную жабу. В грудную жабу, готовую в любую минуту подпрыгнуть на всех своих четырех лапах туда, к горлу, сдвинуть его и выжать из глаз слезы, когда по радио исполняют «Закувала та й сыва зозуля» или когда показывают киножурнал, где хирург спасает детскую жизнь.

«Хирург спасает жизнь» — так и назывался этот фильм о работе Волынского. Хорошо все-таки, что в кинотеатре гасят свет. Как бы выглядел он, генерал органов безопасности, с распухшими, заплаканными глазами. Неужели то, что делает этот Волынский, — только техника, только мастерство? Неужели сам он не переживает всего этого?.. И неужели мои слезы — это только «жаба»?..

«Но о чем же я?.. Ах, да, об ответственности. Разная мера. Я отвечаю за безопасность своего государства, значит, за безопасность людей, которые — и это правда! — мне дороже жизни. Я это доказывал на деле. И не раз. А у него другая мера. Он отвечает за себя. Ну, может быть, еще за несколько человек. Хотя трудно думать, что он когда-либо уважал этих своих людей. Или дорожил ими... Другая мера. Совсем другая мера».

Но где он был все эти годы?.. Для чего написал эти дурацкие письма?.. Почему допустил такой глупый промах?..

Разведка и контрразведка. Они всегда шагали рядом. Как рядом всегда шагали наступление и оборона, меч и щит, стрела и панцирь, винтовка и окоп, снаряд и дот. Они шагали рядом до тех пор, пока не появились такие мощные средства войны, как ракетные снаряды и атомные головки к ним. После этого оборона начала неудержимо отставать от наступления. «Спутника-шпиона» не допросишь, как рядового агента. Электронно-счетная машина расшифрует любой код... И все равно, если у него под носом столько лет жил и работал такой человек, система контрразведки тут ни при чем. Это он, генерал Коваль, виноват. Это он плохо справлялся с порученными ему обязанностями. Это он не сумел обеспечить надлежащую безопасность своего государства.

Шарипов позвонил ему домой поздно вечером и попросил разрешения немедленно приехать. Голос его звучал совсем как у Левитана, читавшего приказ Верховного командования. Ну что же, у него было из-за чего торжествовать. Степан Ки-

риллович всегда насмехался над этой «экзотикой», над всеми этими почерпнутыми из учебников криминалистики или даже из детективных романов исследованиями табачного пепла, шерстяных ниток и отпечатков пальцев. Ну какой резидент, скажите на милость, оставит отпечатки пальцев?

И вот оставил.

Шарипов приехал вместе с Вединым. Сдержанно, подчеркнуто-официально Шарипов доложил, что им установлено, кто же автор трех писем о самонаводящихся ракетах. Граф Глуховский. Английский агент, след которого был ими потерян зимой с 1941 на 1942 год. Шарипов положил на стол рядом две фотографии размером с открытку — отпечаток большого пальца правой руки Глуховского, полученный в 1942 году с изразца, подобранного у тамерлановского Ак-Сарая, и неполный — самый край — отпечатка этого же пальца, оставленный на клейстере, которым был склеен один из самодельных конвертов.

Захлебываясь, забыв о своем сдержанном, официальном тоне, Шарипов рассказал, как ему не давала покоя мысль: почему конверты самодельные, кто мог в наши дни пользоваться такими конвертами. Он решил провести анализ и определить, каким клеем они склеены. Анализ показал, что это клейстер из ячменной муки грубого помола. Тогда он решил собрать побольше этого клейстера, чтобы попробовать, возможно, в муку попали частицы песка с жернова, и по этим частицам, возможно, удастся установить, на какой мельнице мололи эту муку. Осторожно расклеивая конверт, он обратил внимание на то, что в одном месте вмятина, будто бы похожая на отпечаток пальца. Он посмотрел в лупу и убедился, что прав. Эксперты из их лаборатории усилили и проявили этот отпечаток, а затем увеличили его. Но частиц жернова не было найдено даже при микроскопическом исследовании. Слишком малую порцию муки удалось собрать с конвертов.

Ну что ж, Шарипов еще раз доказал, что недаром Степан Кириллович считал его одним из самых талантливых чекистов, каких он когда-либо встречал за свою жизнь. И стоило посмотреть, с каким восхищением, с какой радостью слушал уже, наверное, во второй раз этот рассказ друг и начальник Шарипова — Ведин. Как без малейшей зависти — Степан Кириллович хорошо умел отличить даже скрытую зависть — любовался он Шариповым. Друзья! — покачал головой Степан Кириллович.

Это следовало отметить. Люба быстро накрыла стол.

Выпили «Гурджаани» и вспомнили Шахрисябз, армию Андерса, похороны графа Глуховского и то, что, когда значительно позже гроб был осмотрен, в нем в самом деле обнаружили покойника. Видимо, похоронили одного из польских солдат.

И вдруг Шарипов, глядя в стол, сказал, что хочет повиниться в служебном преступлении. Ведин поперхнулся вином. Оказалось — даже он не знал, — что в том, что Глуховский сумел скрыться, виноват был не один Садыков.

— А если бы вы сейчас не нащупали следа Глуховского? — спросил Степан Кириллович. — Вы бы и дальше молчали об этом?

— Не знаю, — откровенно ответил Шарипов.

— Вот это и плохо, — первым вставая из-за стола, сказал Степан Кириллович. — Плохо, что вы это так долго носили в себе. Это опасно, это всегда создает предпосылку для следующей уступки. В нашем деле это недопустимо.

— Но ведь дело это давнее, да и не так велика вина — он случайно оказался на чердаке, не на дежурстве, и мог вообще не обратить внимания на старика, подвозившего дрова, — сказал Ведин.

— Я говорю не об этом, а о молчании, — отрезал Коваль.

«Ничто не проходит даром, — думал Степан Кириллович. — Ничто не проходит бесследно. Конечно, все эти интеллигентские раздумья и раскаяния Шарипова — чепуха. То, что я выгнал Садыкова, не имеет никакого отношения к тому, что его теперь посадили за воровство, а Шарипова, если бы даже дежурил он, а не Садыков, я бы оставил. Я уже тогда понимал, что может из него получиться... Как же мне не хотелось отпускать этих ребят в действующую армию. А Шарипов и до сих пор не знает, по чьему настоянию он попал в школу командиров этих самых «катюш». Но все-таки ничто не проходит даром... Врач говорит: сердце — профессиональное заболевание... А как же Глуховский?..»

Степан Кириллович медленно, тяжело поднялся из низенького кресла, подошел к сейфу, вынул из него папку с письмами и двумя фотографиями отпечатков пальцев.

Да, думал он, это Глуховский. Эксперты в заключении указывали, что это он. Значит, и письма эти отправил граф Глуховский — вернее, человек, который скрывался под этим именем. Писал их, очевидно, тоже он. Следовательно, он каким-то образом связан с Ибрагимовым... Но каким? Для чего написаны эти письма? Ему случалось в жизни не раз встречаться с загадочными, на первый взгляд алогичными дейст-

виями агентов иностранных разведок. Но такая нелепость... Нет, это первый раз в жизни.

Конечно, проще всего было арестовать, наконец, этого нахального красавчика Ибрагимова и спросить его об этом. Но Ибрагимова нельзя было трогать. Ни в коем случае. На Ибрагимова и его связи пока была вся надежда. Нужно было только как можно тщательнее проследить за всеми этими связями. Нужно было ждать. Как всегда, нужно было ждать. Раньше он был терпеливее. Может быть, потому, что всегда верил, что дождется? Что не сидела в груди эта жаба?

«Но где же сейчас граф Глуховский? — думал Степан Кириллович. — Как он к нам попал? Не может быть, чтобы он столько лет находился под боком, чтобы действовал, чтобы вредил и остался незамеченным. Все эти годы он был по ту сторону. И сейчас, только сейчас заброшен к нам. А если это не так, если действительно был здесь и работал, а мы не могли его заметить, значит, я ни к черту не гожусь. Значит, нужно уходить. Значит, нужно уступить место другому. Значит, лучше поскорее околеть от этой чертовой стенокардии».

Глава тридцать первая, в которой Владимир Неслюдов тоже конструирует и изготавливает оружие

Полу взаимных отношений подобрал
и ковер обоюдных увеселений свернул.

Д ж а м и

Володя поступил весьма обстоятельно. В магазине, торгавшем спортивными товарами, он купил метр ниппельной резины. Затем он почистил туфли у чистильщика и, заплатив вдвое против указанной цены, попросил кусочек кожи. После этого он приобрел в писчебумажном магазине перочинный нож и этим тупым, малоприспособленным для такой цели орудием потихоньку, оглядываясь, срезал в самой глубине городского сада тополевою ветку.

Все эти предприятия заняли у него почти полдня, а вторую половину он провел на скамейке перед домом, обрезая у ветки концы так, чтобы она превратилась в рогатик, и приделывая к нему резину и кожу.

Ему нужно было во что бы то ни стало превзойти соседского мальчишку Павлика. У Павлика была рогатка, и ничему и никогда, вероятно, Машенька не завидовала так, как этой рогатке и умению Павлика запускать из нее камни «выше самого высокого дерева».

Володя закончил изготовление своего грозного оружия и приступил к испытаниям. Он вложил в кожу обломок кирпича, оттянул резину и сразу же убедился, что рогатка обладает свойствами неожиданными и опасными. На веранде стоял горшок с большим, очень изысканным, похожим на готический собор кактусом, и этот горшок с треском раскололся и упал на землю.

Машенька запрыгала от радости. Даже Павлику не удавались такие меткие выстрелы. Володя не решился признаться, что он собирался запустить камешек просто вверх, да так, чтобы он улетел за дом, никому не повредив.

Из дому вышла Анна Тимофеевна, не без опасений наблюдая в окно за Володиной затеей, и серьезно спросила:

— Не могу ли я вам чем-нибудь помочь?

— Нет,— сказал Володя.— Спасибо. Я вот только случайно...

— Не следует двум женщинам, да еще в присутствии обоих,— сказала Анна Тимофеевна,— по-разному объяснять свой поступок. Но давайте все-таки пересадим этот злосчастный кактус в другой горшок. Я сейчас вынесу.

Они пересадили кактус, и, забирая его на всякий случай домой, Анна Тимофеевна сказала:

— Я очень рассчитываю на то, что вы не поубиваете друг друга этой вашей штукой.

— Мы будем очень осторожны, бабушка,— ответила Машенька за Володю.

Оказалось, что у Машеньки был больший, чем у Володи, опыт владения рогаткой. Она запускала в воздух один за другим камешки, которые ей подавал Володя, и смеялась при этом так радостно, так звонко и заразительно, как не смеялась еще ни разу за время, проведенное Володей в этом доме.

Ему было беспокойно и хорошо, так хорошо, что звонкий смех Машеньки находил ясный и точный отклик где-то в груди: это был его собственный смех, его собственная радость. Он думал, что встреча с Таней — самая главная и самая большая удача в его жизни, что он больше не сможет жить без нее, без Машеньки, без Николая Ивановича и Анны Тимофеевны, и еще думал, что он со своими слабостями и недостатками, он, толстый и некрасивый, ничем не заслужил такого хорошего отношения этих замечательных людей, он изо всех сил постарается стать лучше, умнее, постарается больше знать, глубже разбираться в своем деле.

Он думал о том, что любви посвятили лучшие свои произведения поэты всех времен и народов и музыканты всех времен и народов, да и в конце концов каждый человек появляется на свет в результате любви, но вместе с тем он понимал, что, как, наверное, и другим людям, ему недостаточно того, что сказали об этом все поэты и композиторы мира, потому что все, все, что он переживает, это совсем не похоже на то, что переживали другие, это совсем особое, совсем необыкновенное.

Он прежде никогда не испытывал потребности рассказывать кому-либо о своих чувствах. Обычно беседы его с товарищами сводились к вопросам, ограниченным тематикой их научной работы. Но сейчас он очень жалел, что нет у него близкого друга, которому он мог бы рассказать о своих переживаниях, с которым мог бы поделиться своей радостью и своими опасениями.

— Машенька,— неожиданно для себя самого спросил он

у девочки, искавшей на земле подходящий камешек,—ты была бы рада, если бы я не уезжал в Москву, а совсем остался здесь?

— Разве вы уедете? — удивилась и встревожилась Машенька.

— Нет, Машенька, очевидно, уже не уеду,— сказал Володя, растроганный и взволнованный ее ответом.

Вскоре к ним присоединился Павлик, и труды Володи были оценены по заслугам: Павлик сказал, что ни у кого на улице нет такой рогатки. Польщенный Володя отдал ему остатки ниппельной резины и кожи. Этот Павлик был занятым человеком. Он был старше Машеньки — осенью он должен был поступить в школу в первый класс, но к Машеньке он относился, как к равной, и точно так же относился, как к равному, и к Володе, и к Николаю Ивановичу, которому он носил пойманных им жуков, бабочек, гусениц. И в этом равном и свободном, без искательности, но и без малейшего панибратства в обращении со всеми было, как казалось Володе, что-то такое, чего не хватало ему самому, Володе. И он думал, как было бы хорошо, если бы можно было забрать к себе не только Машеньку, а и этого чудесного Павлика и, может быть, того карапуза, которого он видел сегодня в городском саду. Этот толстый, чем-то похожий на Володю увалень, очевидно, только недавно начал ходить, и чувствовалось, что он боится остановиться, — а вдруг упадет. И он шагал и шагал по аллее с нянькой, которая поддерживала его за воротничок белой и пушистой кофточки.

Если существовал человек, которого Володе особенно не хотелось видеть в эту минуту, то это был именно он, Евгений Ильич Волинский. Он вышел из дому и, как всегда, легко и стремительно направился к ним.

«Раз он мне не отвечает — сегодня не поздороваюсь», — решил Володя и сказал:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, — ответил Волинский. — Очень рад, что застал вас. Мне необходимо с вами поговорить, но перед этим... Машук, — привлек он к себе и поцеловал в лоб девочку.

И Володя с ревностью отметил про себя, что она прижалась к отцу.

— Пора домой, ты ведь еще не ужинала. Бабушка покажет, какую штуку я тебе принес.

Не попрощавшись с Володей и Павликом, Машенька побежала в дом.

— До свидания, — независимо сказал Павлик, поднял со скамьи забытую Машенькой рогатку, дал ее Володе и ушел, стройный, уверенный в себе, с головой, посаженной так гордо и красиво, как это бывает только у военных моряков.

— Так вот, — сказал Волинский медленно и отдельно, — выходит, что темперамента Тани хватает на нас обоих?

— То есть как?... — растерялся и не понял Володя.

— Фактически. Я избегаю фигуральных выражений.

— Вы жирная свинья! — неожиданно выпалил Володя.

Впоследствии он никак не мог понять, почему он назвал худощавого и легкого Волинского жирным, и решил, что, очевидно, из-за его жирного, обволакивающего голоса.

— Я не думаю, что нам следует разговаривать в таком тоне, — спокойно ответил Волинский. — Тем более что я здесь, вероятно, не самый жирный. А что до животного, которое вы любезно вспомнили... Ну что ж, мне действительно случилось быть близким с вашей любовницей. Но ведь вы бывали близки с моей женой. И трудно, мне кажется, определить, какой из этих поступков более свинский...

Володя молчал, превозмогая желание топтать ногами и кричать: «Молчите! Молчите!.. Я убью вас, если вы не замолчите!..»

— Вам, как историку, возможно, известно, что бывали времена, когда этот вопрос решался дуэлью. В наш век мирного сосуществования, к сожалению, не существует иного пути, как путь переговоров со взаимными уступками договаривающихся сторон. Такой уступкой и является то, что я заставил себя вести с вами беседу. Поверьте, что и мне она не доставляет никакого удовольствия.

Володя молчал, все так же мучительно сморщившись и глядя в землю.

— Неужели вы не понимаете, — сказал Волинский с неожиданно проникновенной и теплой интонацией, — что вас используют для того, чтобы вызвать мою ревность? Хотя — поверьте — и без этого я приехал сюда, чтобы наладить отношения в своей семье. Чтобы Таня не жила без мужа, а Маша без отца... Поймите же, я старше вас и мне трудно и стыдно говорить с вами об этом, но поймите же, что у меня... у меня, кроме них... ничего не осталось в жизни...

Володя молчал совершенно потерянный.

— Я не знал этого, — хрипло сказал он наконец. — Не знал, что вы для этого приехали... Я не могу говорить с вами

об этом... Я не знаю, как относится к этому Татьяна Николаевна... Мы ни разу с ней об этом не говорили,— добавил он наивно.

— Мне непонятно и то, для чего вам это знать,— с горечью ответил Волюнский.— На вашем месте всякий уважающий себя человек немедленно уехал бы из дома, куда он попал случайно и не принес ничего, кроме огорчений. Вы думаете, Николаю Ивановичу или Анне Тимофеевне будет приятно узнать о ваших отношениях с их дочерью?

— Нет,— сказал Володя, снимая очки и близоруко щурясь.— Я знаю это... Я думал... я надеялся, что Таня выйдет за меня замуж. Но я не понимаю, как вы можете...

— А я такой, что в отличие от вас могу,— перебил его Волюнский.— Я многое могу.

— Мне необходимо знать, откуда вам известно о моих отношениях с Татьяной Николаевной,— с трудом выталкивая слова, спросил Володя.

— Как вы знаете, я живу в гостинице. И там иногда, как это вы, возможно, тоже знаете, встречаюсь с моей женой. Думаю, теперь не трудно догадаться, откуда у меня сведения о ваших «отношениях».

Володе никогда прежде не случалось ограничивать себя в расходах. Бывало, правда, так, что хотелось купить какую-нибудь книгу, а денег не хватало. Тогда он вздыхал и брал эту книгу в библиотеке.

Но вообще в деньгах он никогда не нуждался, а значительную часть стипендии одалживал товарищам, так как жил дома на всем готовом, и все расходы сводились к поездкам в метро и троллейбусе да покупкам раз в два года готового костюма, раз в год обуви и почаще рубаш, белья и особенно носков, которые рвались.

Однако в последнее время он ощущал настолько острый недостаток денег, что очень жалел о том, что не защитил еще кандидатской диссертации,— это значительно увеличило бы его заработок. Основной статьей его расходов стали цветы. Ему доставляло огромную радость посылать Тане на сцену цветы, а стоило это уйму денег. «Никогда я раньше не представлял себе,— думал он еще сегодня утром,— что корзины цветов, которые подносят артистам на всех концертах, влетают в копеечку...»

Но сейчас ему прежде всего нужны были деньги. Чтоб уехать. Не только из этого дома. Из этого города. Навсегда. Придется дать телеграмму отцу, думал Володя. Чтоб телеграфом же и выслал. Нужно будет только начать телеграмму

словами: здоров, чувствую себя хорошо. Потому что отец будет удивлен. Он никогда не просил у него денег.

Вечером Володя раньше, чем обычно, вернулся в свою комнату. Таня была в театре. С мрачным и решительным видом Володя несколько раз обошел комнату вокруг, а затем закрыл двери изнутри на ключ и погасил свет.

Он сидел на койке, наклонившись вниз, обхватив руками колени и покачиваясь из стороны в сторону в тупом, бессильном отчаянии.

«Актриса,— думал он.— Я всегда с недоверием относился к этому занятию, к этой способности перевоплощаться. Если человек умеет сыграть роль на сцене, ему, наверное, еще легче сыграть ее в жизни».

Он услышал, как пришла Таня, как стучали в столовой тарелками, как разговаривала она о чем-то с Николаем Ивановичем. Затем все затихло. Спустя некоторое время он снова услышал ее осторожные шаги, затем со скрипом повернулась ручка в двери. Она подергала дверь и снова повернула ручку, но он лег на койку и накрыл голову подушкой.

«Аазаху,— думал он. Арабы знали такое слово, такой коротенький глагол, в переводе на русский значивший: «он убеждал его быть терпеливым в несчастье».— Аазаху,— уговаривал он сам себя,— аазаху...»

Ему казалось, что он не заснет всю ночь, но он сразу же заснул и проснулся на рассвете от того, что сначала что-то стукнуло будто бы по подушке, а затем по животу. Заспанный, с тяжелой головой, он сел на койке и увидел за окном Таню. Она бросала в него камешки.

— Доброе утро,— сказал Володя, натягивая повыше простыню, которой укрывался, взял со стула очки и надел их.

— Вставай,— сказал Таня.— Разве ты не видишь, что тебя ждет дама.

Набросив на плечи простыню, Володя захватил одежду и отошел в угол, к стене, в которой было окно, так, чтобы он не был виден Тане. Там он наспех надел штаны и рубашку и бо-сиком подошел к окну.

— Что случилось?— спросила Таня, всовываясь глубже в окно и держась руками за раму.— Ты разговаривал с Евгением Ильичом? Он тебе что-то говорил?

— Да,— сказал Володя, немного отступив от окна в глубь комнаты.

— И ты ему поверил?

— Да,— сказал Володя.— Ему известно то... то, что он мог узнать только от тебя.

— Мне бы следовало обидеться и уйти,— сказала Таня.— Навсегда,— добавила она жестко.— Ты должен... ты на всю жизнь должен не верить ничему плохому обо мне. Если это тебе не я сама сказала. Но я не хочу тебя терять. Я ни за что не хочу тебя терять. Что бы он ни говорил, это все неправда.

— Откуда же он узнал о наших отношениях? — спросил Володя, поправляя очки.

— Глупый,— сказала Таня.— Ведь у тебя на лице все написано. По-моему, об этом вся улица знает. И все театральное население нашего города. Во всяком случае, все, кто встречал тебя в театре... Помоги же мне взобраться. А завтра скажем родителям, что я буду твоей женой.

Глава тридцать вторая, в которой генерал Коваль ведет допрос без протокола

Никогда никому не достичь высокого положения без помощи трех вещей: либо личным трудом, либо тратой имущества, либо ущербом в вере.

Бахунд ибн Сухвана,
известный под именем
Али ибн аш-Шахал-Фарси

— Прошу извинить,— вставая навстречу Волынскому, сказал Степан Кириллович тоном старого служаки, к которому иногда прибегал в таких случаях.— Но вынужден вас потревожить... Садитесь, садитесь, пожалуйста,— показал он рукой на кресло, а сам сел на свое постоянное место — лицом к двери. Это осталось в нем навсегда со времен испанских событий — даже за обедом, даже в гостях сидеть так, чтобы видеть двери и окна.— Меня попросили, понимаете,— продолжал Степан Кириллович,— задать вам несколько вопросов. Ими, собственно, интересуюсь не я, а наша вышестоящая организация. Но наше дело солдатское: прикажут — выполняешь. Я, как видите, даже секретаря не пригласил, беседа у нас, можно сказать, не официальная... Просто несколько вопросов. Если знаете, ответите.

— Пожалуйста,— сухо сказал Волынский, с сомнением поглядывая на туповатого, добродушного генерала, который, очевидно, был охоч пожаловаться на свою солдатскую судьбу, даже состоя в генеральских чинах.

— Так вот, вопрос первый. С кем вы встречались в Париже во время вашего участия в международной конференции?

— Я не могу всех вспомнить,— удивился Волынский.— Я познакомился там с массой людей, к тому же я плохо запоминаю фамилии и особенно иностранные. И кроме того, там было много банкетов, да и я давал обед по поводу вручения мне премии. И на нем, говоря по чести, было немало людей, которых я видел в тот день в первый и, уж наверное, в последний раз.

— Премию вы получили за такую же операцию, как в кинофильме «Хирург спасает жизнь»? — любезно припомнил Коваль.— Смотрел, смотрел... Очень трогательно. Я, сознаюсь, по-стариковски даже прослезился.— Он ни за что не стал бы говорить жене, Шарипову или другим своим сотрудникам, что

его это так растрогало. Но сейчас не мог отказать себе в удовольствии вспомнить об этом — к роли старого служаки это очень подходило. — Да, так вот, я понимаю, что всех не вспомнишь. Но тех, кого вы помните...

— Что ж, — улыбнулся Волинский, — попробую.

Он начал перечислять одно за другим имена известных хирургов всего мира.

— Вот вы называли такого Дзаванти, — спросил Коваль. — Это какой же Дзаванти?

— Я имел в виду итальянского хирурга. Но я встречался и еще с одним Дзаванти, довольно крупным французским поставщиком медицинского оборудования, — ответил Волинский. — Вы скажите прямо — это он вас интересует? Неужели в посылке, которую он просил меня передать его знакомым, было что-то недозволенное?

— Да, было. И именно недозволенное. И отвечу вам прямо — как вы правильно поняли — именно этот человек нас интересует.

«Косме Райето в роли поставщика медицинского оборудования, — подумал Степан Кириллович. — Уж лучше прямо бы выступал в роли хирурга. В этом у него хоть был опыт».

— Расскажите, кстати, как он сейчас выглядит? — спросил Коваль у Волинского.

— Ну как?.. Это уже пожилой человек, с одышкой, плотный, с редкими седыми волосами, которые он зачесывает вбок, чтобы, вероятно, прикрыть плешь, как это иногда делают.

Ковалю очень хотелось спросить, носит ли он кольцо с печаткой. Он хорошо запомнил эту печатку на руке у Косме Райето. Но он сдержался.

— Он с вами разговаривал по-русски?

— Нет, по-французски.

— Вы владеете французским?

— Да, и очень неплохо.

— Ну и что ж, этот Дзаванти — состоятельный человек?

— Да. И из тех, что стремятся подчеркнуть свое богатство костюмом от очень дорогого портного, дорогой обувью, в галстук у него булава с крупной жемчужиной, на пальце кольцо с солитером...

«Значит, он сменил печатку на бриллиант», — подумал Коваль.

— Почему же вы согласились взять у него эту посылку?

— Я не видел в этом ничего предосудительного. Мне мои знакомые иностранные деятели медицины тоже иногда присы-

лают посылки, свои научные труды, альбомы с фотографиями и даже некоторые инструменты.

— Часто вы встречались с этим Дзаванти?

— Нет. Три или четыре раза.

— Чем же он вас так привлек, что вы согласились передать его посылку?

— Он довольно влиятельное лицо. И очень интересуется состоянием советской медицины. А от него зависит в какой-то степени реклама, а следовательно, и популяризация достижений советской хирургии.

— Достижений хирургии или ваших личных достижений?

— Я не понимаю вашего вопроса.

— А что же тут непонятного? Если в иностранной печати популяризируются, как вы говорите, ваши операции, следовательно, создают славу и вам.

— Меня в этом случае интересовал не мой личный успех, а успех нашей медицины, — зло сказал Волинский. — За свои поступки я готов отвечать. Но злого умысла мне приписать не удастся. Теперь другие времена.

— Да, это вы верно заметили: сейчас другие времена... А с Ноздриным Гаврилой Ивановичем вы встречались?

— Да, встречался. Но не на конференции. Он пришел ко мне в гостиницу в Лондоне, когда я ездил туда просто в туристскую поездку. Каким-то образом он узнал, что я женат на дочери его брата.

— Он вас просил что-нибудь передать Николаю Ивановичу Ноздрину?

— Да, он говорил, что слышал о несчастьях брата. И просил передать предложение приехать в Англию, где он сможет и остаться. Если же он этого не захочет или не сможет, то пусть посылает свои работы — они немедленно будут опубликованы в лучших английских журналах.

Волинский вынул из верхнего кармашка пиджака носовой платок и вытер руки.

— И вы передали это предложение?

— Нет. Вы, простите, за кого меня принимаете? Я сказал, что не желаю продолжать этот разговор, так как считаю это недостойным советского человека.

— Как же воспринял это брат профессора Ноздрина?

— Он попросил меня передать заранее приготовленное письмо. А когда я отказался и от этого, он, не прощаясь, ушел. Больше я его не видел.

— А никаких посылок профессору Ноздрину он не просил вас передать?

— Нет.

— А людей, которым вы привезли посылку от Дзаванти, вы знаете?

— Нет, не имею представления... Это врач-стоматолог, какой-то дальний родственник Дзаванти.

Степан Кириллович еще долго задавал вопросы, делал заметки на листах бумаги, возвращался к тому, о чем уже спрашивал, каждый раз не забывая извиниться за свою рассеянность; постепенно и рассчитанно он добился того, что Волинский окончательно вышел из себя, а в конце простовато сказал:

— Мне очень неприятно читать вам лекции о бдительности. Но, скажем прямо, вы едва не стали пособником врага. Во-первых, передав эту самую посылку от Дзаванти, а во-вторых, умолчав о переговорах, какие вел с вами Гаврила Иванович Ноздрин. Я очень советую вам при следующих поездках быть как можно осторожнее... А сейчас прошу извинить за беспокойство. Ну и, как вы сами понимаете, если возникнут еще какие-то вопросы, придется вас еще раз потревожить. Уж такая у нас неприятная служба. До свидания.

Степан Кириллович передвинул бесшумный рычажок, включающий магнитофон, — он находился у него под крышкой стола, а затем, проводив Волинского к двери, вернулся к круглому столику и отпил из наполовину налитого бокала несколько глотков «Гурджаани».

Он думал о том, что человек может научиться всему, но никогда не научится отличать правду от лжи. Долгие годы его работа состояла в том, что он принимал за ложь все, что говорили люди, сидевшие по другую сторону стола, а потом факт за фактом выискивал в их словах правду. Ну что ж, нередко оказывалось так, даже, пожалуй, чаще всего оказывалось так, что каждое их слово было правдой.

Но как получится с Волинским? Непосредственно к Ибрагимову, по-видимому, он в самом деле не имел никакого отношения. Но все равно предстояла большая работа по проверке его слов. К сожалению, знал Степан Кириллович очень мало. Чересчур мало. И, как всегда в таких случаях, делал вид, что знает все. Вернее, что не он знает, — это бывало опасно, собеседник легко мог определить его слабость, а что знает какое-то высшее начальство, сообщившее ему лишь часть известных фактов.

«Но что же все-таки этот Волинский? — думал Степан Кириллович. — Почему он так заботится о том, чтобы его имя постоянно упоминалось в нашей прессе, заботится настолько

бесстыдно, цинично, что стал уже заботиться об этом и в прессе заграничной. Для чего ему это? Ведь говорят о нем люди сведущие, что это талантливый человек. И международную премию он получил вполне заслуженно. Так в чем же дело?..

Несимпатичен он мне. Очень несимпатичен. Но из этого еще ничего не следует. Может быть, все это погоня за славой? Может быть».

Глава тридцать третья, служащая вдохновенным гимном ослам

Отъезд в дождь, бедность в дни юности,
разлука при первой любви — вот три боль-
ших горя.

Шунасапатти

Каким он был маленьким все-таки, этот Дон-Жуан. С тонкими, хрупкими ножками, с хвостом, заканчивавшимся серой кисточкой. С подвижными ушами и печальным взглядом карих добрых глаз.

Володе показалось, что он мог бы переступить через ослика. И уж во всяком случае, если сесть на него, обломятся все четыре ножки.

— Нет,— сказал он решительно.— Уж лучше пешком.

— Ну, как хотите,— обиделся за Дон-Жуана Николай Иванович.— Уверю вас, что ни реактивный самолет, ни совершеннейшая автомашина, ни чистокровный арабский конь не могут даже в малейшей степени заменить это кроткое и умное существо в такой экспедиции, как наша.

— Он меня просто не выдержит...

— Как вы можете такое говорить?.. Кафир слабее Дон-Жуана, и то вы свободно могли бы на нем доехать хоть в Москву. А это Дон-Жуан! Хамаданской породы! Мне предлагали в обмен на него ахалтекинского коня, которому и цены нет,— и то я отказался. Сто пятьдесят килограммов он и не почувствует.

— Вы меня несколько переоценили,— покраснел Володя.— Во мне нет и ста килограммов. И все же я не решаюсь...

Он сказал неправду. Он весил все сто пять килограммов и очень стеснялся этого.

— Ну что ж... Как хотите.

Каждый год в таких случаях у дома профессора Ноздрина собирались досужие люди, всевозможные охотники до зрелищ, мальчишки. Выезд Николая Ивановича в его ежегодную экспедицию был даже запечатлен на плешку каким-то весельчаком-фотокорреспондентом и опубликован в журнале «Вокруг света».

Зрелище и впрямь было необычное. Профессор в сером пыльнике и широкополой соломенной шляпе на манер украинского бриля восседал на Дон-Жуане, добродушно помахивая

рукой родным и соседям. А за ним на упрямом, раздражительном Кафире (неверном) следовал, не поднимая глаз, красный и потный ассистент профессора или способный аспирант. Поехать в энтомологическую экспедицию с профессором Ноздриным считалось большой честью. Несмотря на ее неофициальный и, по сути, частный характер, считалось признанием, что по возвращении аспирант обеспечен материалами для своей диссертации. Но проводы и характер Кафира многое портили в удовольствии от сознания, что принимаешь участие в ценнейшем, с научной точки зрения, предприятии.

В этот раз Николай Иванович собрался в свою ежегодную поездку как-то неожиданно и значительно раньше, чем обычно. Его интересовали те же места, что и Володю,— район кишлака Митта, и он предложил Володе соединить две экспедиции — энтомологическую и историческую.

— Поверьте мне,— говорил Николай Иванович,— распространенное убеждение, что конь быстрее ишака,— попросту заблуждение. В горах можно передвигаться только шагом. Шаг у коня, конечно, шире, но у ишака он чаще. Ни автомашина, ни телега, как вы понимаете, по выючным тропам не пройдут. Теперь вернемся еще к одному немаловажному аспекту этой проблемы. Коня нужно кормить. И хорошо кормить. Нужен овес или ячмень. Нужно сено или клевер. В горах, далеко от кишлаков, обеспечить коня всем этим бывает подчас крайне затруднительно. Иное дело ишак. Он сам кормится. Всем, что попадает по дороге. Нужно только следить, чтобы он нечаянно не добрался до ваших книг или рукописей. А если при этом вы имеете возможность дать ему время от времени прямо с ладони горсть кукурузы или ячменя, то он считает себя счастливейшим из смертных творений и смотрит на вас влюбленными глазами.

— Все-таки конь...— попробовал возражать Володя.

— Вы когда-нибудь ездили верхом? — перебил его Николай Иванович.— Тряско, жестко. А ишак с его частым эластичным шагом словно по воздуху тебя несет.

В конце концов Володя сдался.

— Прежде всего я вас познакомлю с упряжью или, вернее сказать, с седловкой,— подчеркнуто обрадовался Николай Иванович.

Ослы жили в саду, в небольшом сарае с глинобитными стенами и черепичной крышей. С преувеличенной гордостью Николай Иванович показывал Володе свои приспособления для верховой езды на ослах.

На спину осла укладывался коврик из губчатой пласти-



ческой массы на манер тех, какими в последнее время начали заполнять матрацы. Наверх клалось седло — толстая подушка из того же материала. Все это удерживалось двумя брезентовыми подпругами. Поверх седла перебрасывалась переметная сума — хурджум из домотканой шерсти. Морду охватывало оголовье — чомбур из кожаного ремня, украшенного бляхами. Стременами служила связанная вдвое шерстяная веревка, свободно переброшенная через седло, — в петли на ее концах вдевались ноги.

Володя был несказанно удивлен, когда узнал, что, как и в глубокой древности, ослими поныне управляют с помощью стимула — короткой палочки, заостренной с одного конца. Как объяснил Николай Иванович, достаточно похлопать этой палочкой осла по шее с правой стороны, чтобы он повернул вправо, с левой стороны — влево. Впрочем, вскоре Володя убедился, что на практике все это много сложнее.

В общем все это было очень весело и занятно. Весь дом принимал участие в сборах. Все были посвящены в немислимую Одиссею поисков для Володи подходящих бриджей и сапог. Их выезд остановил все движение на улице. Автомашинны увязли в запрудивших улицу зрителях, как мухи в меду. Володя, наверное, за всю жизнь не видел одновременно столь-

ко смеющихся лиц. Смеялся Николай Иванович. Широко улыбался и сам Володя, в душе мечтая о том времени, когда они, наконец, выедут за город. Огромный Володя, восседающий на ослике как-то боком, уцепившись руками за ослиную холку и обнимая ослиное брюхо ногами, чтобы не свалиться, был зрелищем на редкость нелепым и привлекательным.

Еще долго в Душанбе будут рассказывать анекдоты об их поездке и вспоминать, как Володя пытался повернуть ослика, который вдруг, возможно, сообразил, что не попрощался с соседской ослицей, и решил вернуться домой.

Все это было очень весело, думал Володя, когда они уже очутились за городом и поехали по грунтовой узкой дороге вдоль неглубокой речки Душанбинки. Но если бы ему нужно было описать их выезд, то он должен был бы разделить лист вдоль на две части и над одной половиной поставить «Сказал», а на другой — «Подумал». Примерно вот так:

Сказал

Подумал

Николай Иванович:

Ни TV-104, ни «Волга» не могут заменить осла хамаданской породы в нашей комплексной высоконаучной экспедиции... Он даже не заметит ваших ста пятидесяти килограммов...

Неужели ты не понимаешь, что в этих обстоятельствах уж кому-то, а тебе следовало бы уйти даже пешком. Я не предложил тебе оставить навсегда наш дом. Я старый уже человек, решил сам поехать с тобой в эту экспедицию. Пусть все эти страсти как-то поулягутся да поутраются. Но неужели ты не понимаешь, что мне сейчас совсем не весело, но я и такие люди, как я, всегда особенно веселимся и шутим, когда нам трудно?..

Володя:

...Я никак не предполагал, что на ослах ездят верхом без вожжей... Или, как вы сказали, без поводьев. Странно, но в обширной литературе, упоминающей всевозможные виды восточной упряжи, малейшие подробности устройства и украшения седел, об этом нигде не говорится... Хотя возможно, я это и упустил... Но как же им тогда управлять? Если ему вдруг захочется повернуть в другую сторону?..

...Я понимаю это. Но как мне быть? Еще вчера Таня собиралась сказать вам, что будет моей женой. И хорошо, что она не успела этого сделать. Это только бы усложнило и без того сложное положение... Мы все делаем вид, что ничего не произошло... Что Евгений Ильич не кричал сиплым и визгливым голосом, совсем не похожим на его голос. Я ведь люблю Таню и люблю всех вас, и ничего, кроме огорчений, действительно пока я вам не принес...

...Так что же, Машенька, привезти тебе из этой экспедиции? Живого тигра хочешь? Он мог бы нам очень пригодиться в нашем домашнем хозяйстве. Днем он бы лежал вместо коврика перед диваном, а вечером ловил бы кошек, которых у нас значительно больше, чем мышей...

...А если суд и в самом деле вынесет решение, что Машеньку — вернуть отцу?.. И он увезет ее?.. В Москву?.. Но если этого даже не случится, все равно жизнь этой девочки, и так осложненная ненормальными семейными делами, уже всегда будет носить на себе отпечаток этой ненормальности... И может ли Владимир Неслюдов заменить ей отца?.. Она уже большая девочка и часто понимает значительно больше, чем мы предполагаем...

Володя:

...Спасибо... Большое спасибо, Татьяна Николаевна. Я думаю, я уверен, что все будет благополучно... Я имею в виду эту нашу экспедицию... Мне просто очень повезло, что Николай Иванович собирается в те же места, куда нужно мне... При его знании людей, местности, да и то, что он будет этн дин со мной,— это во много раз облегчит мою задачу...

...Я люблю тебя...

Николай Иванович внезапно скатился с седла, выхватил из переметной сумы сачок и, на ходу раздвигая тонкую трубчатую складную палку, зашел со стороны, откуда светило солнце, и стал подкрадываться к росшему у самой дороги кусту шиповника. Он плавно взмахнул сачком, опустился на колени и осторожно извлек из-под сачка какое-то насекомое.

— Вы знаете, что это? — спросил он у Володи, который спешился, но на всякий случай держал в руках веревку, привязанную к оголовью Дон-Жуана, — он все еще боялся, чтоб ослик не вздумал вдруг вернуться домой.

— Кузнечик, — определил Володя.

— Нет, это саранча. И при этом вид, который, до сих пор так считалось, водится только в Южной Америке. Это уж не первый случай, когда она попадает здесь мне и моим коллегам. И все-таки совершенно непонятно, как она сюда попала. Хотя в практике энтомологов случаются еще и не такие неожиданности...

Он поместил саранчу в садок — коробку со стенкой из органического стекла и с отверстиями для воздуха, и они снова бок о бок отправились в путь.

Николай Иванович, привычно помахивая ногами в такт шагу животного, говорил о том, что один ученый предложил представить историю человечества в масштабе по тому же принципу, по какому составляют географические карты. Если при этом взять масштаб один к миллиону, как карта мира в школьном атласе, то окажется, что со времени появления человекоподобных питекантропов прошло всего полгода, а гомотопиенсу нет и трех недель. Вчера, около полуночи, состоялось восстание Спартака, а сегодня в десять часов утра заработала первая паровая машина. Всего двадцать три минуты назад появился первый автомобиль. Только шесть минут прошло с того момента, как на Хиросиму упала атомная бомба, а со времени запуска первого искусственного спутника Земли не прошло и минуты. И всего несколько секунд назад опустилась на Луну советская ракета.

— Но тараканы, даже при таком масштабе, появились более трехсот лет тому назад на земле, покрытой гигантскими папоротниками и хвойными. Они относятся к древнекаменноугольному периоду. Тараканы имеют много видов. У североамериканского таракана-древоточца Кристоцерии пунктулатус в кишечнике, как, впрочем, и у термитов, обитают бактерии, превращающие целлюлозу — а она наиболее плохо усваивается организмом — в питательные вещества. Этот таракан питается мягким гниющим деревом. Иные виды тараканов приспособились к жизни в человеческих жилищах, они стали тем, что называется «синатропными организмами», то есть такими, какие не могли бы существовать без человека... Но в целом за триста миллионов лет, которые существует таракан, он изменился очень мало. Человек в тысячу раз моложе. Но будет ли он меняться, этот человек, и в дальнейшем? А если будет, то как?

— А как? — спросил Володя, все более заинтересовываясь словами Николая Ивановича. Он хлопнул ладонью по шее Дон-Жуана, чтобы он шел рядом с Кафиром.

— Трудно сказать. Мы очень мало знаем об этом. Можно предположить, что прежде всего будет меняться мозг. В наши дни попадают дети, способные производить математические операции с огромными цифрами, совершенно не зная даже начальной арифметики. Возможно, с дальнейшим развитием мозга эти качества станут присущими ему свойствами... Но могут быть значительные изменения и приобретения и в отно-

шении других органов. И с этой точки зрения огромное значение имеет наука о насекомых.

Серьезно и проникновенно, так, как говорят только о самом важном и заветном, Николай Иванович заговорил о том, что наука о насекомых, занимающих огромное место в жизни природы, только теперь, во второй половине двадцатого столетия, делает серьезные шаги от наблюдений к эксперименту. Да и в области систематики ученым еще предстоит огромная работа. Хотя число известных и учтенных видов насекомых превышает полтора миллиона, специалисты по систематике считают, что нам известна пока лишь примерно половина существующих на земле видов.

Хлопая себя ладонью то по лицу, то по затылку и отмахиваясь от комаров — одного из учтенных, но, несмотря на все старания, неистребленных учеными видов насекомых, — Володя с удивлением узнавал о том, какие трудности приходится преодолевать энтомологам, чтобы разобраться в действиях насекомых.

— Мы должны относиться к ним так, — говорил Николай Иванович, — как, возможно, люди будут относиться к жителям иных планет. Насекомые видят мир совсем другим, чем животные, и окрашен он для них в цвета, которых мы никогда не видели и не увидим...

«Мы к жителям иных планет? — подумал Володя. — Или жители иных планет к нам?»

— Но природа, создав у насекомых органы чувств, часто принципиально отличающиеся от органов чувств животных, наделила эти органы способностью воспринимать ту же объективную реальность, какую воспринимает и человек. Так, например, вкус таракана немногим отличается от человеческого, если не считать того, что таракан никогда не путает сахара с сахарином.

Они свернули на узкую дорогу вдоль старого оросительного канала — она то шла по склону, то спускалась к самой воде, ныряя в гущу тростника и кустарников, над которыми высоко поднимались деревья белой шелковицы — сафед-тута, с обрезанными ветками для корма шелковичным червям. Зеленый тростник, переплетенный выюнками, шелестел и покачивался, отбрасывая на дорогу, на ослон и на лица свою зеленую тень.

— А вот лапки бабочки Данаиды, — продолжал Николай Иванович, — а именно на лапках находятся ее органы вкуса, обладают чувствительностью к сладкому в две тысячи раз большей, чем язык человека. Но как устроены эти органы, мы

еще не знаем. Самки некоторых бабочек могут привлечь самца за десять километров. У них есть привлекающие железы, издающие запах, который, кстати, органы обоняния человека не воспринимают. И раствор этого вещества в радиусе десять километров составляет всего одну молекулу на кубический метр. Поразительно, но достаточно этой молекулы, чтобы привлечь самца. Мы уже установили, что вещество это содержит углерод, водород и кислород и не содержит азота, но как оно вырабатывается и как воспринимается самцом, нам пока неизвестно... Можно привести еще более удивительные примеры... ну, скажем, маленький кузнечик из семейства петтигония способен реагировать на колебания, амплитуда которых равна половине диаметра атома водорода...

Володя внимательно слушал Николая Ивановича, все это ему было очень интересно, но при этом он ни на минуту не забывал о том, что там, дома, осталась Таня, что она сама сказала ему ехать в эту экспедицию, потому что нужно время, пока все они смогут прийти в себя... И о том, что Евгений Ильич кричал на Николая Ивановича, и на Анну Тимофеевну, и на Таню и грозил, что заберет Машеньку, что он не допустит, чтобы его дочка жила в семье, где мать путается с приезжим аспирантишкой... Это был как бы второй план. Но был еще и третий — осел, сидеть на котором было тряско и неудобно, он растер ноги об ослиные бока, и кусались комары, и медленно плыла назад дорога, и впереди его ждали очень интересные и очень важные для него встречи с людьми и местами, ради которых он сюда приехал...

И наверное, все эти три, а может быть, и больше планов ощущал и Николай Иванович, потому что он вдруг среди рассказа о кулигах саранчи заметил проникательно и сочувственно:

— Поверьте мне, так лучше...

И снова продолжал лекцию о саранче.

Какой-то молодой таджик верхом на неоседланной кобыле выгнал с боковой тропинки на дорогу десяток гиссарских баранов — медлительных больших животных с пудовыми курдюками. Покрывая на баранов, он одновременно жизнерадостно, во все горло распевал песню Хафиза о соловье и розе с выводом, что в этом мире счастье невозможно, а зло грозит отовсюду.

«Если бы, — думал Володя, вслушиваясь в такие знакомые слова Хафиза, прерываемые звонкими окриками на неторопливых баранов, — если бы какой-то человек, ни разу в жизни не бывавший на металлургическом заводе, во всех подробно-

стях знал, как устроена мартеновская печь и прокатный стан, в чем заключаются обязанности доменщика и начальника смены, как изготавливают кокс и как проверяют качество руды, какие приборы имеются в лаборатории, как фамилия лаборантки и как она выглядит. И если бы он, наконец, попал на завод... То для него, очевидно, все было бы таким, как он это себе представлял. И вместе с тем совсем иным... Я ведь знал, что стихи Хафиза поют. Но я никогда не представлял, что их так поют...»

Они догнали парня, которому, судя по его песне, в отличие от ее автора Хафиза счастье само давалось в руки, а зло вообще казалось нелепой выдумкой.

Он оглянулся, принял серьезный вид (при взгляде на Володю ему это, вероятно, нелегко далось) и поздоровался по-русски.

— Геологи? — понимающе спросил он у Николая Ивановича. — Или комаров ловите?

Николай Иванович коротко и серьезно удовлетворил любопытство парня. Снедаемый неутомимой любознательностью, Володя стал по-таджикски расспрашивать у пастуха, на какой мотив тот пел Хафиза и так ли он его всегда поет. Парень рассмеялся и только рукой махнул — мелодию он сам придумал сейчас, сию минуту.

— А вы откуда? — спросил он у Володи.

— Из Москвы.

— Не выдумывайте, — отмахнулся парень. — Так и я могу сказать, что я сейчас прямо из Парижа. Но если бы я точно не знал, что ты из Каратегина, потому что только там так произносят «хр», то по тому, как ты сидишь на ишаке, принял бы тебя за москвича...

Переночевали они в чайхане, где чайханщик, знакомый Николая Ивановича, заявил, что он им устроит шахский ночлег. Ночлег и впрямь оказался шахским — с десятков крытых шелком одеял, служивших им матрацами, и такое количество блох, что даже привычный ко всяким насекомым Николай Иванович почти не сомкнул глаз.

На следующий день они вступили в многоцветные горы, сжатые тектоническими движениями в причудливые складки, с островками арчовых лесов, со склонами, по которым кое-где, как испуганные овцы, разбегались кустарники — колючий миндаль и шиповник.

Глубокая, выбитая многими поколениями коней и ишаков выючная дорога вилась по самой вершине хребта, и по соседним склонам двигались две огромные причудливые тени. Николай Иванович предложил передохнуть, поесть самим и

покормить ишаков. Они устроились у края дороги между камнями и принялись за пышные белые лепешки, сыр и жареную баранину, которой снабдил их усердный чайханщик.

Николай Иванович развернул карту и показал извилистую линию, которая вела в кишлак Митта.

— По этой дороге, мне кажется, — сказал Володя, — весной триста двадцать седьмого года до нашей эры или, если пользоваться вашим масштабом, то часов пять тому назад, шли войска Александра Македонского. В ту весну греческий полководец пленился красотой Роксаны и взял ее себе в жены...

Глава тридцать четвертая, такая же, как и во всех остальных шпионских романах

Был плох ты или был хорош,
Но пользы в этом ни на грош,
Когда подступит смерти дрожь.

Р. Фрост

Прямо перед его окном на улицу, на обыкновенном фонарном столбе, на самой верхушке сидел соловей и распевал так громко, так нежно и красиво, что останавливались прохожие.

Он подумал о том, что, когда будет рассказывать обо всем, что он видел, именно это и покажется самым неправдоподобным. Почему птица, чье пение он слышал только в записях на пленку и фотографию видел лишь в альбомах, избрала для своего выступления в городе не дерево, не куст, а фонарный столб? В чем тут смысл?..

Было уже темно, и ему пришлось взять свой бинокль с просветленной оптикой, чтобы рассмотреть белую грудку и горлышко соловья, его бурые крылья, ржавый хвост, его большие выпуклые глаза.

Это был западный соловей, водившийся в Западной Европе, в Закавказье и Средней Азии. От распространенного по всей России восточного соловья он отличался меньшим размером, светлым оперением и, главное, пением: лирически-меланхолическая, полная нежности и мечтательности, грусти о неразделенной любви мелодия западного соловья была совсем не похожа на торжествующую, безгранично оптимистическую песню соловья восточного. «Тюй-лют, тюй-лют, тюй-лют, ю-ли, ю-ли, ю-ли, ю-ли, ци-фи, ци-фи, пью, пью...» — пел соловей на своем звучном и понятном языке.

За дверью в коридоре уронили что-то гулкое — ящик или пустой чемодан. Он подошел ближе к двери и прислушался к удаляющимся шагам.

В комнате стояли металлическая кровать, почему-то называвшаяся полутораспальной, хотя, наверное, в ней никогда не случалось лежать полтора человекам, письменный стол такой работы, что тот, кто хоть раз в жизни держал в руках рубанок и топор, мог бы его сделать за час, три стула и большой фанерный шкаф, скрипевший, даже когда его не трогали, а душевая и уборная были общие, в конце коридора. Это был далеко не лучший номер в гостинице.

Только бы не было войны, подумал он. Еще хоть одиннадцать дней. Или даже девять. Пока он успеет возвратиться. Потому что после его сообщений эти умники могут решить, что уже пора...

Хорошо, что эту ночь он проведет один. Человеку нужно хоть ночь побыть одному. В его положении. Чтобы отдохнуть...

Он передвинул кровать поближе к окну, зажег лампу на тумбочке, отклонив абажур так, чтобы свет падал на дверь, и погасил лампу, висевшую посреди комнаты в матовом стеклянном шаре. Аккуратно, в давно усвоенной последовательности он сложил на стуле одежду, поставил возле кровати чемодан, лег и брезгливо до половины укрылся простыней, заклеившей черной печатью гостиницы.

Соловей не умолкал: «Фи-чурр, фи-чурр, фи-фи, фи-фи, люи, люи, люи».

Он приподнялся, вынул из кармана пиджака плитку шоколада, на которой были изображены два футболиста, прочел название «Спорт», распечатал плитку, отломил дольку и положил в рот.

«Акра,— подумал он.— Или С. Томэ... Слишком сладко. Один сахар. Сахар и еще черт знает что. Не поймешь. Но отец сказал бы... Отец,— подумал он.— Отец...»

...Я лично никогда ничего не имел против Советского Союза. Я радовался его успехам в борьбе против нашего общего врага — фашистской Германии. Мне лично было очень приятно узнавать о его успехах в хозяйственных делах. Это просто моя работа. Мне платят за время, что я пробыл здесь, по тысяче долларов в день. Как кинозвезде. Плюс наградные. А такие деньги на земле не валяются. В прошлом году в Соединенных Штатах было всего 1882 человека, которые получали такой большой годовой доход, как я.

Но я не капиталист. Я сам из рабочей семьи. Я родился 7 марта 1920 года в городе Чикаго. Отец мой чистокровный американец, из тех, что называются янки, работал простым рабочим на предприятии, выпускавшем газовые плиты, а мать русская, была домашней хозяйкой. Она еще жива, а отец умер в прошлом году от рака желудка. Как и многие другие рабочие в капиталистических странах, много раз он оставался без работы, и тогда нашей семье приходилось особенно плохо, так как, кроме меня, у нас было еще два брата и две сестры. А зарабатывал один отец. Между прочим, в нашей семье одинаково свободно разговаривали на английском и русском языках все дети, и даже отец немного научился по-русски у матери. Больше всего отец боялся безработицы и голода и бил нас,

если мы чего-нибудь не съедали за обедом. Так он поступал даже тогда, когда положение нашей семьи улучшилось, когда отец оставил работу на заводе и поступил компаньоном в мастерскую, занимавшуюся ремонтом всяких бытовых приборов...

Ариба, — подумал он, — ариба, тринидад, каракас и ма-ракаибо...

...Я с отличием закончил среднюю школу и готовился вступить в армию, так как хотел попасть в школу военных летчиков. Но мне предложили поступить в специальную разведывательную школу, и я дал согласие. В этой школе я тоже был одним из первых учеников. Считалось, что я делаю хорошую карьеру...»

Он вспомнил, что его особое положение в армейской разведывательной школе в Монтерей, штат Калифорния, когда он обратил на себя внимание генерала Уильяма Питса, началось со случая с двумя зонтиками... Это было на практических занятиях, когда учащийся должен был пробраться в оборудованную для этой цели в здании школы квартиру, открыть с помощью специальных приспособлений замки в дверях, произвести обыск в квартире, да так, чтобы не осталось следов, найти и отобрать нужные документы, изменить свою внешность, оказать сопротивление людям, изображавшим агентов полиции, и скрыться.

Он заметил в передней учебной квартиры на вешалке среди всякой одежды и шляп два обыкновенных зонтика. И вот тогда он оставил в дураках курсантов, изображавших агентов полиции. Это было на третьем этаже, но он не побоялся выкинуть отчаянную штуку. Он выбрался в окно, захлопнул за собой створки, раскрыл оба зонтика и спрыгнул вниз. Он благополучно приземлился, а одураченные «агенты полиции» долго ходили по квартире, заглядывая во все шкафы и под кровати.

Да, зонтики... Это они помогли ему перейти в высшую школу, в особый пансион. А затем этот спор... Он был тогда еще настолько наивен, что вполне искренне вступил в диспут. Он даже не догадывался тогда, что в этой школе-пансионе на каждых двух слушателей приходилось по меньшей мере по одному человеку, который жил рядом, учился, как и все остальные, но был призван следить за каждым шагом порученных ему людей, провоцировать их, проверять, проверять и обо всем доносить начальству.

Это было на занятиях по ночным затяжным прыжкам с парашютом. Они лежали на летном поле, в густой и пыльной

жесткой траве, курили. И вот тогда один из этих парней, Ллойд, что ли, — у всех были такие фамилии, какие чаще всего встречались в телефонном справочнике, — заговорил о том, что атомная бомба — такая штука, что с ней войны не может быть. Его поддержал кто-то горячо и искренне — очевидно, заранее договорились: да, затеять войну — это значит, что от мира и щепок не останется, это значит устроить такой пожар, на котором сгорят даже те, кто только собирался погреть руки. Представляете себе, ребята, как горячо под этим грибом.

Их возили незадолго перед тем смотреть на взрыв атомной бомбы. И когда вспыхнуло пламя, о котором он столько раз слышал, и поднялся гигантский гриб взрыва, снимки которого он столько раз видел, он испытал то же чувство, которое бывало у него, когда в детстве мать его водила в церковь, — чувство бессилия, страха и приниженности и вместе с тем торжествующей уверенности, что никто не уйдет от возмездия.

— Галактики, — сказал этот Ллойд, глядя в небо. — А знаете ли вы, что они движутся от нас со скоростью шестьдесят тысяч километров в секунду? Но было время, когда они составляли одно целое. И может быть, когда-то вся вселенная составляла одну землю, но началась атомная или водородная война, пошла цепная реакция, все к черту взорвалось, и части до сих пор летят во все стороны. А потом из этих частей и образовались все эти галактики, туманности, звезды и планеты...

Он еще что-то торочил об астрономии. Может, сам заинтересовался ею, а может, его этому и учили. Каждый здесь, кроме своего прямого дела, изучал какую-нибудь специальность — медицину, металлургию, строительство, а сверх того полагалось обязательное увлечение — «хобби»: музыка, цветоводство или, как у него, орнитология. Считалось, что человеку, интересующемуся повадками и классификацией птиц, удобнее, не обращая на себя особого внимания, пользоваться биноклем и фотоаппаратом. Да и вообще инженер-геолог, увлекающийся в свободное время орнитологией, — фигура приятная...

— И если начнется атомноводородная война, — продолжал Ллойд, — из нашей планеты снова может образоваться десяток-другой новых...

— Не знаю, как планеты и эти галактики, а люди передохнут все до одного. Вот почему я и говорю, — снова поддержал Ллойда горячий и искренний голос, — что, пока мы не договоримся об уничтожении атомного оружия, войны не будет.

— Глупости,— не выдержал он и вмешался в этот бесполезный разговор.— Война неизбежна. И чем дальше она будет оттягиваться, тем хуже для нас. Все эти разговоры о мире во всем мире и голубках с оливковой веточкой в клюве — красная пропаганда. Им это выгодно. Сколько стран мы потеряли за последнее время. Мы утрачиваем, а они приобретают. Китай, Корея, вон что черномазые в Африке устраивают, да и в Европе не лучше. Слишком много красных. Во Франции, в Италии, везде. Мы упускаем время. Нужно было грохнуть еще тогда, когда мы получили в руки атомную бомбу, а у них ее не было. Больше нельзя оттягивать. Чем скорее мы начнем, тем лучше. Середины тут нет: или они нас, или мы их...

— А если пропадем и мы и они?

— Не пропадем... Только нужно спешить. Мой старик еще во время войны написал письмо в конгресс. Но они не очень прислушивались к таким письмам. А он писал, что мы должны помогать и русским и немцам. Пока они не истощат все силы. А тогда мы приберем к рукам и тех и других. Но все эти наши красные, розовые и евреи — я лично ничего не имею против евреев. (Он добавил это потому, что Ллойд, как ему казалось, был из них — нет, не внешность этого розовощекого и светловолосого парня и не язык уроженца Манхэттена, а что-то другое... Он не знал что, но что-то такое в нем было.) Красные, розовые и евреи оказались для нас страшнее Гитлера, потому что они втавили нас в помощь одной России и в войну с Германией...

Да, после этого разговора он быстро пошел в гору.

Но об этом нельзя помнить. Об этом и о дешевых африканских сортах бобов какао: С. Томэ и акра, и о дорогих сортах: тринидад, каракас, ариба, и о том, что отец сегодня получил его письмо и читает его с сестрой Ребеккой, — он оставил двадцать писем с адресами, и в управлении уж позаботились о том, чтоб они регулярно поступали со всех концов Штатов, — он был хорошим сыном...

«...Я проходил обучение только в Монтереи. Считалось, что я делаю хорошую карьеру. В России я второй раз. Посылали меня с самостоятельным заданием, и встретился я только с одним или двумя людьми. Они должны были оказать мне помощь». Да, он назовет этого чудака, которого в Америке можно было бы показывать за деньги. Если бы только его передали в самом деле не перехватывались... Но как бы то ни было, а он передал...

Вот что он скажет, если попадется. А от этого никто не

гарантирован. Но ампулу он не станет раскусывать. Пусть это делают другие. Те, кто не умеет выкручиваться. А он выкрутится в любых обстоятельствах...

«Но почему у меня такие мысли? — думал он. — Да нет, это не плохие мысли. Просто в моем положении нужно быть готовым ко всему. И знать, что скажешь даже в самых трудных обстоятельствах.

Но все-таки, — думал он, — в этом есть какой-то комплекс. Я только забыл какой. В общем неприятное предчувствие».

Он вспомнил, как утром у него спрашивал, откуда он приехал и долго ли здесь собирается пробыть, парикмахер-еврей. А он евреев не любил еще больше, чем негров. Какой-то темнокожий таджик или узбек дворник сделал ему замечание, когда он бросил окурочку папиросы на улице...

Скорей бы вернуться. Только бы вернуться. Увидеть отца и сестренку. Ему было неприятно, что в самой последней, разработанной для него «легенде», той, что он должен был рассказать, если не успеет раскусить ампулу, если не сумеет отстреляться, по этой последней легенде отец его умер. Отец, добрый, смешливый поставщик бобов какао, жив, а умерла мать — в самом деле русская, Хохлова, в Соединенные Штаты она попала в 1918 году. Она всегда рассказывала, что принадлежит к старинному дворянскому роду, и только после ее смерти из картотеки разведывательного управления при подготовке своей «легенды» он узнал, что она была из купеческой семьи. У нее тоже была своя «легенда». Словно мы бы ее меньше любили, если бы узнали, что она из купцов... Только бы вернуться...

И снова он подумал о том, что как бы там ни было, а главное свое задание он выполнил. И если уж действительно быть войне, то русские еще не раз вспомнят его третий приезд сюда.

Он задремал. Проснулся он от того, что кто-то разговаривал за его дверью, затем дверь резко, рывком открылась, хоть он хорошо помнил, что повернул ключ в замке, и в ней показался милиционер.

— Что вам нужно? — спросил он, приподнимаясь на постели.

— Вас, — ответил милиционер громко.

Тогда он выхватил из кармана, скрытого под майкой широкого нательного пояса, газовый пистолет и тампон, прыгнул с кровати навстречу милиционеру и, прижимая к лицу левой рукой ватный тампон, одновременно нажал спуск. Раздался негромкий щелчок, милиционер присел и схватился за горло. А он наспех забаррикадировал дверь кроватью, натянул шта-

Глава тридцать пятая, которая заканчивается чтением шестой главы корана

Дале поплыли мы в сокрушении великом о милых
Мертвых, но радуясь в сердце, что сами
остались живыми.

Гомер



ны и пиджак, выхватил из-под подушки и ткнул в карман свой боевой пистолет, швырнул за окно чемодан, вылез сам и стал быстро спускаться вниз по водосточной трубе. Он почувствовал внезапно, как звено, за которое он ухватился, медленно отваливается, и оттолкнулся руками. Это было не очень высоко, не выше четырех метров, но он не успел выровняться и опустился на одну ногу. Нога подвернулась, он упал, но сейчас же вскочил и, тяжело хромая и тихонько повизгивая от боли, побежал через двор гостиницы к проходу, который, как он заметил днем, вел на соседнюю тихую улицу.

— Тому, кто обрабатывает землю правой рукой и левой рукой, она всегда приносит богатство,— сказал Шаймардон.

Володя в замешательстве надул щеки и поправил очки. Это была почти дословная цитата из Авесты. Он хорошо помнил это место: «Тому, кто обрабатывает землю правой рукой и левой рукой, левой и правой, она приносит богатство...» И дальше: «Человек, вспахивающий меня правой рукой и левой рукой, левой и правой, я буду вечно помогать тебе, принести всякую пищу, все, что смогу принести, не говоря уже о зерне полей...» Удивительно, но старик повторял слова из священных книг Авесты, написанных никак не позже шестого века до нашей эры.

— Это все так говорят? — спросил Володя, неожиданно для себя грубо нарушив правила вежливости и перебивая старшего. — Это пословица?

— Нет, — удивленно ответил Шаймардон. — Это я так говорю.

— Извините, извините меня, — пробормотал Володя.

«Очевидно, — подумал он, — Авеста просто осталась в языке незаметно для самих людей. Не может быть, чтобы это было совпадение...»

Деду Давлята Шарипова старому Шаймардону было семьдесят лет. Белая холеная борода его скрывала надетую под халат клетчатую венгерскую рубашку, какую обычно носят велосипедисты. Но, наверное, комната эта — мехмонхона — помещение для гостей, была такой же и тогда, когда еще живы были отец Шаймардона, и его дед, и прадед, и во времена Тамерлана. Может быть, только прибавилось ватных одеял — сложенные высокой стопой, они лежали в нише. И глиняный пол не был покрыт камышовыми циновками, а поверх них огромным превосходным белым войлочным ковром.

Но блюдо для плова было, должно быть, то же самое —

бесценное кашгарское блюдо из толстого фарфора, украшенного выпуклыми цветами, окрашенными ярко и причудливо. И кувшин с водой для мытья рук — кованный из бронзы, узкогорлый и такой работы, что мог бы занять место за стеклянными витринами любого музея.

И тема беседы тоже была такой, что могла она происходить и века тому назад: речь шла о трудолюбии. Старый Шаймардон рассказывал, как в юности он заметил однажды в горах на страшной крутизне узкую ровную площадку, засеянную ячменем. И на площадке этой он увидел огромного быка. Он не поверил своим глазам. С большим трудом по почти непроходимой обрывистой тропке он добрался до ячменного поля. Пожилой таджик, каждый раз с трудом разгибая спину, жал ячмень серпом.

— Монда нашавед! — Не уставайте! — что, как отметил про себя Володя, соответствовало русскому «бог на помощь», приветствовал его Шаймардон. — Но как сюда взобрался бык?.. Если даже для человека эта тропинка крута и опасна?..

— Я принес его сюда на руках, когда он был еще совсем маленьким, — ответил жнец.

Шаймардона почтительно слушали мулло Махмуд — худощавый желтолицый человек в белой чалме с выпущенным из-под нее длинным куском ткани — головном уборе людей признанной мудрости, однорукий пастух Раджаб и его сын Аллан — парень лет двадцати, с хмурыми честными глазами на красивом лице, правильном, как в работах греческих скульпторов классического периода.

Николай Иванович, который сейчас где-то за кишлаком расставлял свои световые ловушки для насекомых, посмеивался над Володей и утверждал, что ни его самого, ни его ослон никогда в жизни ни в одном кишлаке не принимали так хорошо, как с Володей, и что он теперь без него в жизни не выедет в экспедицию. Письмо Шарипова — его здесь, видимо, очень уважали и любили — и особенно знание языка сделали Володю желанным гостем не только в доме старого Шаймардона, но и во всем кишлаке. Уже в день их приезда Володя заслужил имя домулло (ученый) и дружбу Аллана, колхозного бригадира. Такого с Володей еще не бывало, но, узнав от Аллана о том, что его невеста вышла замуж за другого, Володя, в свою очередь, поделился с ним своими опасениями и горестями.

— Так, — сказал мулло Махмуд и привычно провел обеими

руками по бороде, как бы пропуская ее сквозь пальцы. — Трудолюбие. Им решается все на земле.

— Нет, мулло, — покачал головой Аллан. — Трудолюбие — очень много. Но не все в жизни человека. Нужна еще и удача.

Володя заметил, как мулло усмехнулся и опустил глаза.

— Если бы счастье на земле определялось только удачей, — строго возразил отец Аллана Раджаб, — этот мир был бы самым несправедливым из миров.

Красивым, изящным жестом Шаймардон взял с расшитой скатерти — достархана пышную белую лепешку, разломил ее на части. Затем он стал заваривать чай, наливая его в пиалу и снова выливая в круглый фарфоровый чайник.

— Что считать удачей? — сказал Шаймардон. — Если человек шел по тропе, поскользнулся, свалился в ущелье, но уцепился за кустик и удержался — то это удача. Хотя без воли аллаха ни один волос не упадет с головы правоверного, — он посмотрел на мулло Махмуда, и тот согласно кивнул головой. — Но когда весь мир над пропастью и его еще пытаются столкнуть в эту пропасть... Вот я слушаю радио, — он обернулся назад и снял вышитое покрывало с батарейного радиоприемника, который Володя сначала принял за сундучок, — что враги наши снова грозят нам атомными бомбами. А одной такой бомбой можно уничтожить целый город. И говорят, что люди создали уже такие бомбы, что можно уничтожить целый мир...

Он налил в пиалу и отпил немного чаю. Все молчали, ожидая продолжения, но старик только задумчиво покачивал головой.

— У нас тоже есть бомбы, — сказал Аллан. — И не слабее, чем у них...

— Бомбы, бомбы, — перебил его однорукий Раджаб. — Что ты понимаешь в бомбах? И в войне? Война страшна не бомбами.

— А чем же? — спросил мулло Махмуд.

— Другим. Тем, что делает она с людьми. И когда я вспоминаю войну, я думаю не о бомбах, не о взрывах, не о выставках и крови, а о другом...

Он задумался.

— Продолжай, — предложил Шаймардон.

— Я был ранен осколком в руку. Не сильно. В мякоть. Если бы я не попал в плен, у меня рука осталась бы. Нас, пленных, согнали в лагерь — на отгороженное колючей проволокой поле. Это было осенью. Шел дождь. Люди ложились кучами один на другого прямо на мокрую землю. Чтоб хоть немного

согреться. Чтоб хоть немного поспать. Утром нас выстроили. Приказали выйти из колонны всем евреям и комиссарам. Вышло человек тридцать или сорок. Вдоль колонны пошли конвоиры. Они выдергивали из строя то одного, то другого человека.

«Иуде!» — страшно закричал немец, когда остановился возле меня. Иуде — это по-немецки еврей.

— Нет, — сказал я, — таджик.

Подошел переводчик. Я показал солдатскую книжку, и меня вернули в колонну. Евреев и комиссаров тут же на наших глазах расстреляли. А я остался жив, хоть понимал, что имею право на жизнь не больше, чем эти евреи и комиссары...

Он отпил глоток чаю из поданной ему Шаймардоном пиа-лы и продолжал, глядя в одну точку:

— Но я не это хотел рассказать... Нас гнали пешком по тридцать и больше километров в день. Тех, кто отставал, тут же убивали. Ни разу нас не кормили. Поили только из луж. Ели мы то, что бросали нам по дороге крестьяне — они бросали нам хлеб, вареную картошку. Они, разутые, раздетые, голодные, бросали нам все это, когда мы проходили через села. Или через проволоку лагерей — открытых площадок, где мы останавливались на ночь... Но не так страшен был голод, как то, что нельзя было опорожнить желудок. Многие болели. И если останавливались, чтобы освободиться, конвоиры в них просто стреляли...

Он посмотрел на Аллана, поднесшего ко рту крупный, розоватый, привядший виноград сорта «тайфи» — его умеют здесь сохранять до нового урожая, — и безжалостно продолжал:

— Только в лагерях были ямы. Глубиной в три человеческих роста, узкие, длинные. К ним пускали партиями...

Все молчали. Володя, у которого затекли ноги от сидения на полу, осторожно переменил позу.

— Как я уже говорил, крестьяне приходили к лагерю и бросали нам еду через проволоку. Десятки людей, сталкиваясь друг с другом, бросались за каждой картофелиной. Мы погибали от голода. Но вот в тот раз... В тот раз охранник, низкорослый толстый человек, — я его запомнил — не позволил женщинам бросать нам еду. Он показал им знаками, что сам это сделает. Они поставили свои корзины, и он стал бросать куски хлеба, картошки, мяса в сторону ямы, так что люди, толпа голодных, измученных людей, все приближались и приближались к ней. Затем он начал бросать еду то за яму, то перед ней. И случилось неизбежное — несколько человек свалились. Я не знаю точно сколько — может, десять, а может

быть, больше. Я сам едва удержался на краю... Эти люди кричали. Они страшно кричали. Но им нельзя было помочь. Сами они не могли выбраться. А если бы мы их вытащили, все равно их бы застрелили охранники. В этих лагерях не было воды. Они не смогли бы сменить свою одежду. Они были обречены на смерть. И все-таки мы хотели им помочь. Несколько человек связали пояса, я дал сохранившееся у меня полотенце, мы связали все это и опустили в яму. Но тогда охранник начал в нас стрелять. Он убил одного человека, и пуля опять задела мою руку — раненую руку... Они погибли в этой яме. В этой зловонной яме. Они утонули в ней...

Аллан опустил голову. Мулло Махмуд смотрел прямо перед собой, худой, желтолицый, неподвижный. Старый Шаймардон перебирал пальцами кисточку на замшевых ножнах своего ножа.

— Я иногда вижу этого низкорослого охранника во сне. А когда просыпаюсь, думаю: что он делает сейчас? Лучше всего, если бы он погиб. Но если он остался жив, быть может, у него есть семья и есть дети. И это тихий добросовестный человек, который хорошо работает на своем месте. И может быть, он живет где-то, и имеет друзей, и старается не вспоминать о том, что он когда-то делал. Ведь память человеческая так устроена, что человек может забыть то, о чем не следует помнить. Но таким он стал только потому, что сейчас на земле мир. Мир может заставить даже очень плохих, очень страшных людей быть такими же, как все. Обыкновенными людьми... Вот чем страшна война.

Все молчали. И в этой особенной, горной, бесконечной тишине печально и протяжно закричал петух, а ему ответил где-то на краю кишлака другой и третий.

Володя незаметно взглянул на часы — было уже около часа ночи.

— Намози хуфтан, — сказал мулло Махмуд. Это была последняя вечерняя молитва из тех пяти молитв, которые правоверный мусульманин должен совершить в течение дня. Володя отметил про себя, что мулло назвал ее не по-арабски: «саят ал-иша», а по-таджикски — «намози хуфтан».

К удивлению Володи, мулло произнес по-арабски и затем медленно перевел на таджикский не обычную молитву «фатиху», а первый стих шестой суры корана «Одобрение». «Именем бога справедливого, милосердного. Слава богу, который создал небеса и землю и устроил тьму и свет. И даже те, кто заблуждается, будут судимы богом со справедливостью».

Глава тридцать шестая, которая называется „А в это время...“

Невходи, не нужно...
Заслони окошко
Сонкой этой ветвью,
Сном, упавшим в ветви...
...Скорбь горы под сиегом,
Кровь зари на кебе...

Г. Лорка

Окно заслоняли два перепутавшихся кронами высоких тополя, и было слышно, как лопочет их листва. Время от времени по потолку скользил луч света — по улице проезжала автомашина.

— ...Немного есть на свете людей,— продолжала Зина,— к которым я бы пошла полумойкой. Но вот к Шолохову пошла бы. За Аксинью, и за Григория, и за всех остальных...

Ведин лежал на спине на самом краю широкой кровати, согнув ноги в коленях, и смотрел в потолок, а рядом, у стены, повернувшись к нему лицом и поддерживая голову рукой,— Зина.

— Может, все-таки съешь чего-нибудь? — неожиданно перебила себя Зина.

— Да нет, чего же это я вдруг буду кушать среди ночи... — Он так устал, что не обедал и не ужинал. — А что у тебя есть?

— Ну что ж, можно котлету с хлебом или жаркое согрею... Или просто кусок мяса из борща, как ты любишь, с солью и луком.

— Может, и в самом деле перекусить?.. Только смешно это ночью.

— Некому смеяться. Пропусти, сейчас принесу.

— Я на кухню пойду.

— Не нужно. Я сама принесу.

Она сошла на пол и зашлепала босыми ногами. Спустя несколько минут Ведин прищурил глаза — Зина зажгла свет и подала ему глубокую тарелку, в которой лежал кусок вареной говядины с приставшими к нему ломтиками свеклы, разрезанная на четыре части луковица, солонка и два ломтя хлеба. Она присел на кровати и с аппетитом принялся за мясо.

— И вся их жизнь, и любовь, и все такое прошли в войне, в смертях и увечьях... И играла в их жизни война самое главное значение,— сказала Зина, переложив с сиденья стула на

спинку гимнастерку Ведин и сев, как садятся на пол, обхватив руками колени и опираясь на них подбородком. — Только не знаю, как другие, а я мечтаю про них, как бы они жили, когда б протекала их жизнь в другое время, мирное и спокойное... Все было бы по-другому. Все бы у них было как следует... А ты вот не думал,— неожиданно спросила она,— что бы делал ты, если бы не стало больше этих самых воров в доме? Ну вот, если бы в самом деле наступил мир на земле?

— Не знаю,— ответил Ведин, прожевывая мясо, лук и хлеб. — Наверное, пошел бы в водопроводчики. Хорошее дело... Кстати, у нас кран на кухне заменили?

— Нет еще. Я его веревочкой обвязала, чтоб не текло.

— А запить чем? — спросил Ведин.

— Согреть чаю?

— Нет... Компота не осталось?

— Сейчас принесу.

Она принесла ему кружку холодного компота. Он выпил его залпом, поставил кружку на тумбочку и с удовлетворением заметил:

— Спасибо. Ох, и засну же я теперь.

— Так и отметили, что ты сегодня уже не майор, а подполковник, компотом.

— Не до этого теперь. Вот немного дела наладятся, обязательно отметим. Банкет устроим. В ресторане.

— А когда Шарипову присвоят подполковника? — ревниво спросила Зина.

— Не знаю. Скоро, наверное, присвоят... Ну, давай спать.

Он погасил свет, лег в постель к стенке и сразу же заснул.

Его разбудила Зина, но он уже сам проснулся перед этим. Звонил телефон. Он заторопился в соседнюю комнату, на ходу взглянув на светящийся циферблат часов, которые он ночью не снимал с руки. Было еще не поздно — около часа ночи. А ему казалось, что спал он долго и хорошо отдохнул.

— Я слушаю,— сказал он. — Хорошо. Я уже внизу.

Одевшись с той непостижимой скоростью, какая доступна лишь людям, прошедшим полковую школу в довоенной армии, он сказал:

— Когда вернусь, не знаю. Позвоню, если будет откуда.

Вынул из кобуры пистолет, проверил, есть ли в патроннике патрон, сунул пистолет в карман и поспешил вниз по лестнице к автомашине, которая, не заглушив мотора, уже ждала его у дома.

«Может быть, это и есть тот счастливый случай,— подумал он,— в который я всегда не верил и который так нужен?»

Как любит напевать Шарипов: «Потом его передали властям НКВД, с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде»? Ладно, сейчас разберемся...»

Рядом с шофером сидел дежурный — лейтенант Аксенов, а дверцу ему открыл устроившийся в глубине машины судебно-медицинский эксперт, юркий и нетерпеливый врач по фамилии Суматров. Аксенов не успел даже кратко рассказать о случившемся, как они уже подъехали к гостинице. Ведин увидел два милицeйских автобуса и милицeйскую «Волгу» с красным пояском на кузове.

— Опаздываете, товарищ майор, — весело и озабоченно сказал ему милицeйский капитан Маркарьян. Ведин часто с ним сталкивался по своей работе и любил его за находчивость и веселый нрав. — Э, да вы уже подполковник? Поздравляю... — Маркарьян стоял у своей машины с красным пояском, готовясь сесть в нее. — Сейчас сюда прибудет все наше начальство. Пока со всех сторон не начали поступать указания, поедете по следу. Я привез двух собак. Они впереди...

— Я сяду с вами, — сказал Ведин. — Хорошо?

— Пожалуйста.

— А моя машина пойдeт следом.

Маркарьян открыл дверцу, пропустил Ведина и сел рядом.

— Что здесь произошло? — спросил Ведин.

— А вам еще и не доложили? Отстаеете, товарищ подполковник.

Маркарьян торопливо, захлестывая Ведина потоком слов, стал рассказывать о происшедшем.

— Не похоже, чтобы уголовник, — сказал он. — Уголовники, бывает, режут милиционеров ножами. Но чтобы газом травить, такого случая я не знаю. Поэтому приказал позвонить в вашу контору, а пока пустил собак.

— Хорошо, — одобрил его Ведин и посмотрел сквозь заднее стекло: его машина шла следом.

Они повернули в переулок вслед за двумя собаководами, которые бежали так, словно собаки — большие и сильные овчарки — тащили их за собой. Затем свернули влево, к окраине, и подъехали к большой, обнесенной местами глиняным, а местами деревянным забором строительной площадке будущего комбината строительных изделий. Собаки со своими проводниками скрылись за забором.

— Побежим, — предложил Маркарьян.

Они перелезли через невысокий глиняный забор и побежали в темноте, без дороги, спотыкаясь о какие-то плиты и бревна, а вслед за ними, шаг в шаг бежали лейтенант Аксенов, ме-



дицинский эксперт Суматров и еще какие-то люди, выгрузившиеся из двух автомашин, которые прибыли следом за ними. Собаки остановились у небольшого сарайчика еще без крыши — его, очевидно, сооружали для того, чтобы там складывать цемент, так как он находился рядом с раствором узлом, но не закончили. Площадку неясно освещал укрепленный на стоявшем метрах в пятидесяти от них башенном кране электрический фонарь.

— Отведите собак назад, — негромко сказал Ведин.

И проводники отошли назад, к нему и Маркарьяну, а тем временем подошли еще шесть человек из управления милиции.

— Не стрелять, — сказал Ведин. — Только в крайнем случае в ноги. Вы и вы, — сказал он Маркарьяну и еще одному лейтенанту, — зайдите за сарайчик. С тыла. Не стрелять, — повторил он, — а в крайнем случае только в ноги. Вы, — сказал он собаководу и еще двум милиционерам, — вот сюда, влево, к раствору узлу. Вы направо, — сказал он остальным и задержал Аксенова и рослого старшину милиции. — А вы со мной.

— Я подойду к двери и предложу ему выйти, — волнуясь и неловко рассеивая висевшую сзади на поясе кобур, предложил Аксенов.

— Не нужно. Ложитесь. И не спускайте глаз с двери.
Ведин сунул руку в карман и, слегка пригнувшись, направился к сарайчику. Он подошел к двери сбоку и громко, резко сказал:

— Выходите!

Выстрела он не услышал.

Выстрел услышал Аксенов, которому показалось, что у Ведины раскололась голова и разлетелась на части. И когда он приподнялся, чтобы броситься к Ведину, раздался еще один выстрел.

Пригнувшись так, как это только что сделал Ведин, Аксенов пошел к сарайчику.

Глава тридцать седьмая, о монете, украшенной изображением безбородого царя вправо

Кто в этом доме, в этом селении, в этом
кишлаке человек враждебный, отними у его
ног силу, омрачи его разум, сонруши его ум.
Авеста, Ясна

Володя сидел на свернутом особым образом вчетверо ватном одеяле, сложив калачиком босые ноги, и таял от удовольствия. Мулло Махмуд отлично разговаривал на арабском языке, на классическом арабском языке, которым написан коран, четко и выразительно произнося гортанный «айн».

Он наслаждался беседой с мулло и горьковатым вкусным чаем, который мулло подливал ему в небольшую фаянсовую серую пиалу, каждый раз наполняя ее на треть, и удивительно вкусной, удивительно сладкой штукой, оказавшейся попросту халвой местного приготовления, и особенно нишалло — белым, пенистым, похожим на крем лакомством. Мулло Махмуд объяснил, что его готовят особым образом из сахара и сбитых белков с прибавлением мыльного корня.

К тому же мулло Махмуд оказался любителем и знатоком стихов Абу-л-Атахия — арабского поэта восьмого века. Поочередно, строку за строкой, как это делают люди, играющие в «байтбарак», они стали вспоминать эту касыду Абу-л-Атахия.

Жизнь и смерть очень близки,
А время, если бросить стрелу, то угодит в цель.
Время учит всех, кто в нем живет,
Но шло ли кому-нибудь на пользу это учение?
Свойствами времени являются мудрость и совершенство,
Оно лучший поэт и проповедник.
Я вижу тебя измеряющим долготу твоей жизни,
А ведь она приносит тебе мучения, старит тебя и истощает.
Я вижу тебя опытным,
Но разве научил тебя твой опыт, как нужно поступать в дальнейшем?
Разве сделал он для тебя доступным язык времени —
Ведь в битвах времени ты слышишь только стон и плач.
Ты настойчив в исканиях юности,
А смерть, хоть ты пренебрегаешь ею, близка.
Ты стал опытным, но не вижу в тебе признаков этого опыта.
Ты все еще ищешь жизни, а к истине ты не стремишься.
Но вот ты успокоился в доме ином (превращенном)...

— Не знаете ли вы, что значит в «доме превращенном»? — спросил Володя.

— По-видимому,— ответил мулло Махмуд,— смысл этого слова следует искать в дальнейших строках: «Но и это превращение — тлен и прах», то есть что жизнь тебя ничему не научила и не научит, пока ты не превратишься в прах. Ведь далее, как помнит домулло, говорится, что «все поднимается для смерти», иными словами, все живет, чтобы умереть.

— И все-таки,— возразил Володя,— Абу-л-Атахия воспекает не смерть, а жизнь, потому что он спрашивает: «Разве ошибками украсилась жизнь твоя? — О нет, куда уж там...» И огорчается: «Как беспечно растратил ты свою жизнь...» Мне думается, что смысл этой касыды именно в том, что впоследствии выразил Хайям строками: «Ведь в царстве бытия нет блага выше жизни, как проведешь ее, так и пройдет она».

— Все мы ищем в стихах,— доброжелательно и печально сказал мулло,— то, что подтверждало бы наши собственные мысли и намерения...

Володя одолевал уже второй чайник чаю. «Это похоже на собаку, которая ловит собственный хвост,— думал он.— Чем больше ешь этой халвы, тем больше выпиваешь чаю. А чем больше пьешь чаю, тем больше съедаешь халвы. Пора бы и остановиться. Мулло, наверное, еще не попадались люди, способные съесть такое количество сладкого».

Разговор тем временем перешел на вопросы, которые, как с удивлением отметил про себя Володя, в те дни служили темой даже передовых статей в газетах,— на вопросы связи науки с жизнью.

— Конечно,— сказал мулло,— теперь уже всем, даже детям, известно, что Земля кругла, как отрубленная голова. Но что изменилось в мире от того, что мы это узнали? Стало ли от этого лучше? Как и прежде, люди или верят, или не верят в бога, и тот, кто стал безразличным, сделался таким не потому, что отказался от веры, и тот, кто вышел на путь добродетели, ступил на него не потому, что поверил в бога. И как прежде, люди рождаются, и умирают, и трудятся, и боятся войны и разорений, и воюют и разоряют друг друга; и как прежде, мир разделяется на женщин и мужчин, на добрых и злых, на богатых и бедных, на запад и восток. И то, что мы узнали, что он круглый, не помогло им соединиться. Запад так и остался западом, а восток — востоком. И они не соединятся.

«Авеста — это понятно,— подумал удивленный Володя.— Она могла остаться в таджикском языке хотя бы потому, что была у одного из его истоков. Но Киплинг?..»

— Это вы так говорите?.. О западе и востоке? Или это старая пословица? — спросил он.

— Нет, это я так говорю. А почему вы об этом спрашиваете?

— Редьярд Киплинг,— ответил Володя, снова испытывая неловкость за свой вопрос,— английский поэт, написал когда-то почти такие же слова: «Запад есть запад, а восток есть восток, и им не сойтись никогда».

— Что ж, и среди кафилов (неверных) было немало мудрых людей,— прищурился мулло Махмуд.— И как писал Хасан-ибн-Сабит: «Лучший стих тот, о котором говорят: это правда». Он помолчал минутку и продолжал:— Но объединить людей знаниями никогда и никому не удавалось и не удастся. Их можно объединить только верой в Ису или Мухаммада, в коммунизм или народовластие. Вера всегда была выше знания, и знание всегда только вредило вере.

— Смотря что мой досточтимый собеседник называет верой,— вежливо, так, чтобы не обидеть хозяина, возразил Володя.— Вера может быть построена на знаниях, и тогда она становится тем, что называют у нас научным предвидением. Может она базироваться и на заблуждениях, и тогда — я не имею в виду убеждений моего уважаемого собеседника — может превратиться и в суеверие.

— Религии, как об этом, должно быть, хорошо знает домулло, суеверие еще более противно, чем неверие,— сказал мулло Махмуд.— И не думает ли домулло, что его попытки получить точные знания о человеке, жившем тысячу лет тому назад, столь же далеки от нужд всей массы людей,— он не нашел подходящего слова и сказал,— всех, кто населяет эту землю, или, как вы говорите, этот шар, как попытки получить точное знание о человеке, который будет жить через тысячу лет после нас.

Володя ответил, что ему было бы очень приятно согласиться с его многознающим собеседником, но он не может этого сделать, так как счастлив каждой крупинке знания, ибо придерживается того мнения, что знание дороже самых больших алмазов.

— Ну что ж,— сказал мулло Махмуд,— тогда, быть может, моему мудрейшему гостю поможет в его розысках воды, испарившейся тысячу лет тому назад, монета, которую принесла мне старая и больная женщина в обмен на пучок травы,— в наше время, когда верующих так мало, он занимается врачеванием тел, а не душ.

Мулло вышел за дверь и, немного замешкавшись, вернулся с монетой в руках. Он протер ее пальцами и протянул Володе. У Володи похолодело в груди. Он взглянул на монету, вскочил на ноги, поближе к окну, чтоб получше ее рассмотреть.

На первый взгляд она напоминала саксо-бактрийское серебро. Лицевая сторона была украшена изображением безбородого царя вправо. На реверсе, вокруг фигуры всадника — надпись шрифтом, похожим на греческий, замкнутая слева тамгой, напоминающей латинское S. Монета была небольших размеров, но массивная, полновесная, хорошо сохранившаяся. Головной убор царя в короне в виде орла напоминал головной убор Ардашира Первого.

— Это удивительно! — сказал Володя. — Я боюсь утверждать — я не специалист в этой области, — но так как в китайских хрониках упоминается о коронах среднеазиатских царей в виде птиц, то можно думать, что эта монета примерно третьего века по христианскому летосчислению, когда такие головные уборы были очень распространены в Средней Азии, потому что в парфянское и кушанское время головные уборы царей имели более простые формы...

Володя рассказал, что во всем мире имеются всего две подобные монеты: одна в Британском музее, и вторая — значительно худший, сильно потертый фрагмент — в нумизматической коллекции Эрмитажа.

— Вы не узнавали, как попала к этой женщине монета? — спросил Володя. — Где она ее нашла?

— Спрашивал, — равнодушно ответил мулло Махмуд. — Она получила ее в наследство от своей матери, а та, может быть, от бабушки или прабабушки.

— А где живет эта женщина?

— Не знаю... Где-то в Горном Бадахшане. Но я вижу, что этот предмет очень вас занимает... Так возьмите его от меня в подарок на память об увлекательной и поучительной беседе, которую мы с вами сегодня вели.

— Я не могу принять такого подарка, — искренне испугался Володя. — Вы просто не представляете себе, какая ценность попала вам в руки! За эту монету любой музей даст не менее тысячи рублей, а может быть, и больше.

Мулло Махмуд несказанно удивился.

— Мой ученый друг, вероятно, преувеличивает, — сказал он, поглаживая бороду. — Как может этот жалкий серебряный кружок стоить таких денег?

— Стоит, — сказал Володя. — Поверьте мне. Ведь это сак-

со-бактрийская монета... Примерно времен Ардашира Первого, то есть 224—241 года...

— И все-таки, — сказал мулло, — прошу вас принять эту монету в подарок, так как я не стал бы ее продавать. Ибо считаю несправедливой столь значительную цену за такой ничтожный предмет.

— Хорошо, — невозмогая нерешительность, сказал Володя: уж слишком большое потрясение среди нумизматов должна была вызвать находка. — Я передам монету Академии наук, а там уж решат, куда ее поместить. Я думаю, что скорее всего она попадет в Эрмитаж как ваш дар.

— Я подарил эту монету вам, а не Академии наук, а вы вольны поступать с ней как вам заблагорассудится.

— Спасибо. Большое вам спасибо, — сказал Володя.

— Нет, это вам спасибо за то, что вы открыли мне, несведущему, глаза, рассказав о значении этой монеты для того, что у кафиров называется наукой.

Когда они расстались, мулло Махмуд свернул достархан с лепешками и халвой, заварил свежий чай, затем принес из очага горящий уголек, переложил его на донышко перевернутой пиалы, вынул из жестяной коробочки из-под зубного порошка кусочек анаши или гашиша, называвшегося также бангом или чарсом, величиной с горошину, положил гашиш на уголек и, когда послышался приторный запах горячей конопля, стал вдыхать дым через трубочку, свернутую из новенького рубля и перевязанную ниткой. Дым медленно и мягко туманил сознание. Мулло лежал на ватном одеяле, то потягивая сквозь трубочку дым, то отпивая маленькими глотками горьковатый чай, и думал о толстом нелепом ученом, которому он только что, повинувшись неожиданному порыву, сделал подарок.

Он был искренне удивлен, когда услышал от Володи о стоимости показанной им монеты, но не стоимости, а тому, что человек, сумевший так точно определить время, когда она была выпущена, ее исключительность, не попытался хоть немного приуменьшить ее цену.

Да, этот молодой ориенталист не ошибся. Действительно, только один экземпляр такой монеты имелся в Британском музее, и он получил в подарок именно этот экземпляр, а в музее его заменили точной, искусно приготовленной копией. Ее и два листа редчайшего кувинского корана вручили Френсису Причардсу, когда он под именем графа Глуховского был направлен в армию Андерса.

Глава тридцать восьмая, в которой Шариков остается бесстрастным

Не говори: от бога мой грех. Бог сначала создал человека, а затем предоставил его собственным побуждениям. Перед тобой огонь и вода: можешь протянуть руку куда хочешь. Перед человеком — жизнь и смерть, и что ему нравится, то ему будет дано.

«Премудрости Бен-Сирь»

Шариков поворачивал в замке ключ. Туда и назад, туда и назад. Так это и было. Чтобы закрыть эту дверь, нужно было притянуть ее посильней и лишь после этого повернуть ключ в замке. Иначе запор не попадал в предназначенное для него отверстие, ключ проворачивался вхолостую, и дверь на замок не закрывалась.

...Ему и Ведину иногда случалось вместе ходить осенью и весной по полям или по немощеным, залитым жидкой вязкой глиной улицам кишлаков. У него сапоги бывали забрызганы грязью доверху, до колен, а у Ведина ни пятнышка. Как выходил он из машины или из поезда в начищенных сапогах, так и приходил на место. Он выбирал, куда поставить ногу. Он считался медлительным человеком, его многолетний начальник. Но это была медлительность человека, всегда знающего, куда и на что идет, и умеющего рассчитать каждый шаг.

...Да, это подтвердил и милиционер. Он скоро пришел в себя. Пистолет был заряжен патронами с безопасным для человека газом. Когда милиционер потянул к себе дверь, она открылась. Он попал не в тот номер, этот милиционер. Какой-то приезжий напился в ресторане и повел к себе в номер девушку довольно подозрительного вида и поведения. Когда портье воспротивился такому нарушению порядков, принятых в гостинице, приезжий довольно сильно стукнул портье кулаком по голове, а девушку, вздумавшую улизнуть, силой потащил к себе. Портье вызвал постового милиционера.

«Так стоит ли за это ложить жизнь?» — спросила когда-то Зина. Чью жизнь?.. И за что?.. У этого человека было много приспособлений для того, чтобы лишить себя жизни. Ампулы с ядом. Он должен был раскусить такую ампулу, если попадется. Игла, заправленная кураре. Он должен был уколоть себя, если увидит, что нет выхода. Пистолет, из которого он застрелился... Но перед тем как застрелиться, он убил Ведина.

Шариков распорядился, чтобы, прежде чем начнут осмотр оставленных вещей, обыскали номер: не успел ли убийца спрятать что-либо в выходе вентиляционного канала, в постели, за батареей водяного отопления или просто под потертым ковриком, лежавшим перед кроватью.

«Очевидно, он стрелял по звуку. Их там обучают. Но почему он выстрелил только один раз в Ведин и сразу же вслед за тем в себя? Сдали нервы?.. Боже мой,— подумал Шариков,— как я буду жить без Ведина?.. Говорят, что людей часто начинают ценить лишь после их смерти. Но мы все при жизни Ведина знали, какой это человек. Какой это человек! И вот ему разнесли голову так, что хирурги не смогли сложить частей, и он лежит в управлении с головой, закрытой белой тканью... Ждал ли он, что в него выстрелят? Не знаю. Очевидно, ждал. Иначе бы он не оставил на месте Аксенова, который просился вперед. И я бы не пустил Аксенова, а пошел сам, если был бы там старшим начальником, как был там Ведин. Такая у нас работа. Это наша работа».

Он внимательно перелистывал книжечку, которую нашел в столе. Это был краткий рецептурный справочник. Незвестно, принадлежал ли он последнему жильцу этого номера. Он искал в нем какие-то отметки. Никаких отметок не было. Справочник производил впечатление совершенно нового. Возможно, им ни разу не пользовались.

Говорят, легкая смерть. Когда человек умирает во сне от сердечного заболевания. Или как погиб Ведин. Суматров подсчитал, что он не слышал выстрела, а Суматрову можно верить в таких расчетах. Значит, он даже не понял, что умер. И говорят, что это легкая смерть. В утешение. Чепуха. Человек не должен так умирать. Даже от инфаркта. Человек должен знать, что он умирает. Должен обдумать, что он успел сделать и чего не успел. Должен знать.

Под кроватью нашли губную помаду. Он осмотрел ее и положил на стол, где лежал рецептурный справочник и пистолет, из которого убили Ведин. Ведин не увидел этого пистолета. Когда-то он рассказывал Давляту о предложении немецкого инженера Герлиха сделать ствол конической сверловки, сужающийся в калибре от казны к дулу с 8,73 до 6,19 миллиметра. При этом скорость пули увеличивается почти вдвое — до 1700 метров в секунду. Пули, чтобы они могли двигаться по коническому стволу, снабжены двумя поясками. По мере движения по каналу ствола пояска сжимаются и входят в кольцевые заточки на корпусе пули... На пулях к пистолету, лежавшему на столе, было по два пояска и кольцевые заточки.

Они обладали огромной пробивной способностью, эти пули к пистолету со стволом системы инженера Герлиха.

...Сказать — не поверят. Но для него внезапная смерть Веди́на была особенно неожиданной еще и потому, что он не успел с ним поговорить так, как хотелось бы. За столько лет! Что он о нем знал?.. Очень мало. Почти ничего. Он, человек, профессия которого состояла в том, чтобы знать о других людях как можно больше, так мало знал о своем многолетнем и, пожалуй, единственном друге. Что же он знает о других? О врагах, а не друзьях. Если он часто не мог понять, почему так или иначе поступает Ведин, как понять, почему так или иначе поступают люди, по всему чуждые ему и враждебные... А понять — это их работа. Это их самая нужная работа.

«Нужно будет найти чертежи Веди́на,— подумал Шарипов, взглянув на стол,— и передать их специалистам. Пусть сделают пистолет, которого он не успел сделать. Чтобы был ему памятник. Пистолет системы Веди́на. Или просто «Ведин». Надолго. Или хотя бы до тех пор, пока в нас стреляют из пистолетов».

На тумбочке лежала початая плитка шоколада «Спорт», а в чемодане — еще четыре плитки. Возможно, он любил сладкое, этот человек. Любил сладкое и заботился о своей прическе. В чемодане у него обнаружили единственный предмет нерусского происхождения — купленное в первой же попавшейся аптеке немецкое средство для ращения волос — «Биокрин»... Он стоял в стороне и, часто стряхивая пепел с сигареты в гостиничную плоскую алюминиевую пепельницу, наблюдал за тем, как следователь вынимает из чемодана рубашки, носки, носовые платки, осматривает каждый шов, а оперативный дежурный их отдела торопливо составляет опись.

«В газетах известят: «Трагически погиб при выполнении служебного задания». А может быть, даже без слова «трагически», как еще посмотрит на это слово военный цензор. На похоронах все скажут правильные, продуманные речи. И я, наверное, скажу все, что нужно. А потом, на разборе операции, Степан Кириллович предложит почтить вставанием память подполковника Веди́на, а затем скажет, что Ведин допустил такие-то и такие-то ошибки, что он не должен был сам подходить к двери сарая и кричать: «Выходи!» Нет, он не крикнул! «Выходи!», Аксенов засвидетельствовал, что Ведин крикнул: «Выходите!», хоть точно знал, что там один, а не двое. Он был очень вежливым человеком, Ведин... Что не должен был сам подходить к сараю, а следовало послать присутствующего здесь на разборе лейтенанта Аксенова. Потому,

что место руководителя операции является таким же элементом операции, как место командира в бою. И еще что-нибудь в этом роде. Что не нужно было подходить к двери сарайчика, а предложить ему выйти оттуда из милицейской машины. Для этого достаточно было включить мегафон... Но сам бы он поступил так, как Ведин. И я бы действовал так же. И даже Аксенов. Но причины, почему каждый из нас поступил бы так, у всех были бы разные. Что-то такое было у Веди́на. Какой-то надлом. Как у многих людей. Но какой, я не знаю и не узнаю никогда. И даже такой историк, как этот толстый и большой Неслюдов, если бы захотел узнать об этом в будущем, не узнал бы ничего, как не узнает он, что думал Бабек перед его страшной смертью, о которой он рассказывал. И когда мы говорим, что он думал так-то, то мы ставим себя на его место и думаем, как мы, а не как он...»

Дежурный подал ему документы, найденные в кармане пиджака.

«С какой же «легендой» он приехал?» — думал Шарипов, внимательно рассматривая паспорт. Это был довольно потрепанный паспорт, бессрочный, выданный в Москве на основании метрической выписки и орденской книжки. И то, что не забыли указать номер орденской книжки, а орденосцы любого возраста имеют право на бессрочный паспорт, делало его еще более похожим на подлинный документ. Во всяком случае, только эксперты смогут, может быть, отличить этот паспорт от настоящего.

Не один день сочиняли для этого человека то, что на языке разведчиков называется «легендой». Над ней работали специалисты в разных областях жизни Советского Союза. В ней были взвешены и продуманы тончайшие биографические детали, и все, что придумали для этого человека, и что придумал он сам и потом запомнил до мельчайших подробностей, могло быть и подлинной биографией. Мог где-то существовать такой Алексей Григорьевич Павлов, проживший такую же или примерно такую жизнь, как та, о которой рассказывалось в «легенде», подготовленной для этого человека.

Все люди, которые так или иначе были связаны с разведкой, имеют свою «легенду». И вся работа его заключалась в том, чтобы установить правду. Работа эта наложила свой отпечаток и на него: иногда ему становилось уже невмоготу от лжи, с которой он постоянно сталкивался, казалось, что неправда и является самым главным, и самым грозным, и самым коварным оружием, которое постоянно приставлено к его горлу, и даже небольшая ложь, фальшь со стороны людей, каким

он особенно доверял, надолго портила настроение, утомляла и разочаровывала. Для чего Ольга сказала, что не виделась с Аксеновым, в то время как навестила его в госпитале?.. К чему эта ложь?.. Чтобы он не ревновал ее? Но ведь он не ревнует. Не ревнует, но хочет, чтобы ему говорили правду. И всегда.

И дело в общем не в Ольге. И даже не в этом убийце, разозлившем себе голову. Дело в том, что в мире появилось слишком много неправды, которая правдоподобнее самой светлой истины. Что слишком много людей сделали своим занятием не изготовление сапог и самолетов, хлеба и стульев, а ложь, а неправду, хитрую, дутую, бессовестную. И иногда ему казалось, что весь мир взывает об одном: правды! правды! Так больше продолжаться не может! Уже невтерпеж! Хватит!..

— Эти запонки развинчиваются,— сказал следователь.— Но еще нужно будет разобраться экспертам — может быть, они так и изготавливаются фирмой. Может быть, он сам не знал, что они развинчиваются. Посмотрите, уж слишком маленькое остается отверстие.

Шарипов осмотрел запонки.

«Нет больше Ведина,— подумал он с таким отчаянием и горечью, что ощутил желание завывать и хватать пыль на дороге и сыпать ее себе на голову и в лицо. Так однажды делал его дедушка Шаймардон, когда узнал, что брат дедушки — неграмотный поэт Латфуло — умер от черной оспы.— Нет Ведина, и этого не поправить уже ничем: никакими мыслями, никакими словами, никакими поступками. И что бы там ни говорили о том, что смерть во имя правого дела — святая смерть: святой бывает только жизнь... И неужели люди — все люди, все человечество — никогда не научатся так ее строить, чтобы она не обрывалась преждевременно, чтобы людей не убивали, не мучили, чтобы с ними поступали справедливо, чтобы каждый поступал с другим так, как он бы хотел, чтобы поступали с ним».

Осмотр вещей, оставленных в номере убийцей, подходил к концу.

«Если бы этот негодяй, убивший Ведина, сам остался жив, мне бы не дали вести следствие. Я бы не смог. Я все понимаю. Но я ненавижу его так... Я ненавижу его так, что... — ненависть переполняла его, и он ощущал ее, как ощущают физический предмет, она угловатая, царапающая комом собралась в горле, и нужно было проглотить ее или выплюнуть.— Бандит. Подлый убийца. И все-таки... Вот он струсил в последний мо-

мент и застрелился. Если сопоставить время между выстрелами, он не знал, убил ли он кого-нибудь. Наверное, не знал даже, ранил ли. Хотя, может быть, он прошел такую тренировку, что стрелял по звуку совсем без промаха. Бывают такие. Но если бы он интересовался результатами выстрела, он бы выждал, чтобы проверить. Скорее всего он выстрелил с испугу. Бывает и так. И даже за секунду до выстрела он, вероятно, не знал, что выстрелит в одного из людей, окруживших сарайчик,— если бы он готовился отстреливаться, он бы продолжал стрельбу... А что сам застрелится, он уже, возможно, знал.

И если быть справедливым, может быть, через несколько дней где-то там... кто-то будет думать о нем так, как мы думаем о Ведине. И виноват в общем не он, а те, кто его послал. Вот уж до кого я б добрался! — подумал Шарипов с яростью.— Вот кого я бы собственными руками... Но пока мир так устроен, как он устроен сейчас, если даже для некоторых людей смерть этого убийцы такая же страшная утрата, как для меня смерть Ведины, все равно мне он враг. Кровавый и подлый враг. И я не хочу... я не буду ни в чем сравнивать его с Вединым. Я буду думать о нем как о фашисте, как об одном из тех, кто загонял людей в печи Освенцима, кто способен схватить ребенка за ноги и разорвать его на части... И может быть — вполне может быть,— он таким и был, этот человек, так хорошо стрелявший по звуку».

Он стоял посреди комнаты с пепельницей в руках и курил, а люди, занимавшиеся осмотром номера и вещей его последнего жителя, поглядывали на него со скрытым удивлением, не понимая, как Шарипов, утративший самого близкого своего друга, может оставаться таким спокойным, таким откровенно равнодушным к этой страшной смерти.

Шарипов где-то читал, будто были ученые, считавшие, что бог существует, но его роль свелась лишь к тому, что он дал первый толчок, вызвал движение, а дальше уже все развивалось в соответствии с законами природы, без участия бога. И вот перед ним стоял этот «бог», давший первый толчок ряду таких роковых событий.

Тоший, костлявый человек с очень скучным лицом, с большим, сплюснутым с боков носом и мигающими глазами с красноватыми веками, по фамилии Параконев.

— Кто вы такой? — спросил у него Шарипов.

— Я непьющий,— торопливо ответил Параконев неужи-

данно высоким голосом.— Поверьте мне, я совсем непьющий, как все дегустаторы. Я совсем не пью вина, я приехал сюда в командировку — дегустировать новый марочный портвейн винсовхоза. Я выпил всего три маленьких глотка вина, как все дегустаторы... Но вечером устроили ужин и уговорили меня выпить водки, которая ко всему еще оказалась теплой. Я могу вам предъявить справку со службы, что я непьющий...

От испуганного вида и писклявого голоса этого «бога» Шарипову стало не по себе.

— Хорошо,— сказал он Параконеву.— Вы свободны.

— Значит, меня не обстригут?— с надеждой спросил «бог».

— То есть как?— не понял Шарипов.

— Не дадут мне пятнадцать суток?

— А вы думаете, что полагается?— в свою очередь, спросил Шарипов.

— Думаю, что полагается,— заморгал глазами «бог».— Но лучше бы я заплатил штраф. У нас недавно постригли одного дегустатора тоже за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. И сейчас же: раз — и перевели его на другую работу.

«Нет,— с горечью подумал Шарипов.— Дело не в этом «боге». Он не причастен к смерти Ведины. Просто теплая водка, которую он выпил, дала толчок ряду случайностей, а уж они, в свою очередь, вызвали явления, очевидно неизбежные при таких обстоятельствах».

И все-таки Ведин погиб, а этот непьющий дегустатор жив.

Глава тридцать девятая, в которой мулло Махмуд встречается с лордом Расселом

В этом мире еще не было сделано ни одного доброго дела, которое осталось бы безнаказанным.

Абдаллах ибн ал-Хуссейн
ал-Латахари

«Иезакиил увидел колесницу...» — вспомнил мулло Махмуд.— Но как же дальше?

Иезакиил увидел колесницу,
По воздуху несущуюся вдаль.
Согласно и стремительно колеса
Вращались на попроще воздушном.
Передние вращались верой,
А задние — по милости господней».

Мулло Махмуд вспомнил этот слышанный им в далеком детстве евангелический гимн и снова подивился про себя чистоте и наивности веры людей, способных отличать, какую силу двигались передние и задние колеса экипажа, увиденного Иезакиилом. И подумал он об этом на английском языке, хотя обычно избегал вспоминать его. Он постоянно думал на таджикском, случалось ему думать на арабском и даже на русском, которым владел он недостаточно хорошо, только бы не на английском. Но сны ему постоянно снились английские: с туманом и Темзой, с газонами и бобби, с рисовым пудингом и яблочным джемом.

Он не скучал по Англии. Она ему просто часто снилась. С этим уж ничего нельзя было поделать.

Лорд Рассел, подумал он. Не Бертран Рассел, и не этот юрист, а Рассел, которого они звали «канарейкой». Это он ему приснился. Рандольф Рассел, уверявший, что в старенькой автомашине, на которой приехал за ним дядя Френсиса, колеса, как в колеснице Иезакиила, вращаются «по милости господней».

Да, это было еще в Харроу. С ним учился тогда великовозрастный болван Рандольф Рассел, сноб, хваставшийся тем, что на нем нет ничего отечественного. Костюм из голландской ткани, а шит в Париже, сорочка из Испании, носовые платки из Лиона, и башмаки чуть ли не из Америки, из бизоньей кожи. Он тогда очень завидовал этим бизоньим башмакам.

Но вот теперь на нем самом нет ни одного предмета, изготовленного на расстоянии большем, чем в километр от порога его дома. Рубаха и штаны из карбоса — белой, грубой, похожей на бязь, сотканной на ручном станке хлопчатобумажной ткани, полосатый халат из алачи подбит ватой, подкладка из маты, а верх тоже домотканый, но получше — алача с хлопчатой основой и шелковым утком. Башмаки коричневые, из сыромятной, грубо выделанной кожи. На всем, что на нем падет, не найдешь и одной пуговицы — все завязывается шнурами или удерживается поясом.

В этом, подумал он, тоже своеобразный снобизм. Только его здесь некому оценить. К этому, как и к тому, что он курит гашиш, и ко многому другому относятся здесь как к стариковскому чудачеству, с редким терпением и снисходительностью. Они считают его своим. Детям кажется, что он жил тут всегда и будет всегда жить. Взрослые гордятся его лекарским умением и преувеличивают это умение. И когда он умрет, о нем еще долго будут помнить. Если он сумеет хорошо умереть...

Но почему он вспомнил об этой «канарейке» Рандольфе Расселе? Ах, да, в связи с этим Расселом-юристом.

Он неторопливо пробирался тогда между ослими и велосипедами, автомашинами и лошадьми. Шум стоял такой, что человеческий голос пропадал даже вблизи: на гуденье автомобилей пронзительно отвечали ослы, ржанию лошадей вторили вздохи верблюдов, и на самой высокой, самой звонкой ноте звучали голоса продавцов лепешек и сладостей, пробиравшихся сквозь всю эту сумятицу со своими корзинами.

Но если бы звуки порождались красками, то именно такой гул стоял бы над этим базаром: голосом продавцов лепешек кричали бы груды оглушительного яркого красного перца — калампуре; по-ишачьему ревели бы горы желтого лука, по-лошадиному ржала бы зелень — дикий ревень бураково-красный внизу и темно-зеленый сверху, редиска, петрушка, укроп, и полосатые, всех цветов радуги халаты перекликались бы звонкими человеческими голосами.

Он прошел к ряду, в котором продавали темно-зеленый крупчатый жевательный табак — нас. Его готовили, смешивая растертые в порошок табачные листья с золой и известью. Небольшую щепотку наса бросали в рот, под язык, постепенно рассасывая. Мулло Махмуд попробовал табак у нескольких продавцов и остановился на том, который продавал пожилой пажон в дорогом халате, с бородой и ладонями, окрашенными хной.

Продавец свернул маленький фунтик и двумя руками, как делают это в знак почтения, подал его Махмуду. Мулло пере-сыпал табак в выдолбленную и отполированную тыквочку величиной с грушу, какая обыкновенно служит табакеркой, и машинально взглянул на листок, из которого был свернут фунтик. Он прочел:

«...Женщины часто прятали детей под одеждой, оставленной на вешалке, чтобы не брать их с собой в газовую камеру. Поэтому команды из заключенных, обычно под наблюдением эсэсовцев, обыскивали одежду и обнаруженных там детей отправляли в газовую камеру. В новых камерах усовершенствованного типа...»

— Разрешите посмотреть бумагу, в которую вы заворачиваете свой превосходный табак, — попросил он продавца.

— Пожалуйста, — ответил тот и дал ему книгу. Из нее было вырвано уже много страниц — она начиналась со 185-й. Это была книга лорда Э. Рассела «Проклятие свастики».

— Я хочу купить у вас эту книгу, — сказал мулло Махмуд.

— Она не продается, — погладил продавец красными пальцами красную бороду. — Но если она вам нужна, возьмите ее от меня в подарок, — добавил он великодушно.

Лорд Рассел. Из Ливерпуля. С. В. Е. — кавалер ордена Британской империи второй степени. Он попытался вспомнить этого видного юриста, но никак не мог предстать его лица, а вспоминался только голос, чуть гнусавый, негромкий и волнующий.

Разыскивая имя автора, мулло Махмуд посмотрел последнюю страничку, над которой стояло «Заключение». Он медленно, мысленно переводя слово за словом на английский язык, прочел его:

«Существовал концентрационный лагерь, который в 1945 году, после того как из него убрали все следы смерти, мог посещать народ. Лагерь находился в Дахау, недалеко от Мюнхена, и посетитель уходил оттуда с незабываемым впечатлением.

Единственные заключенные, которых он там видел, были немцы, обвиняемые в военных преступлениях и ожидавшие суда или освобождения. Каждый из них жил с комфортом в светлой, удобной камере, пользовался электрическим освещением, а зимой — центральным отоплением, имел кровать, стол, стул и книги. Вид у них был упитанный и холерный, а лица выражали легкое удивление. Их, должно быть, действительно удивляло, что же происходит, где же они находятся.

Покинув жилые помещения, ставшие такими чистыми и



опрятными, посетитель отправляется на другой конец лагеря, где находился крематорий. Там еще полностью сохранился весь механизм смерти, которым так долго пользовались, чтобы избавиться от тех, кто осмеливался стать поперек пути фюреру.

Исчезли трупы, которые когда-то лежали в пристройке, ожидая сожжения, потому что в газовых камерах умерщвляли больше, чем пропускали печи; исчезли и несчастные человеческие существа, ожидавшие своей очереди, чтобы войти в камеру смерти. Они исчезли навсегда, но призраки их остались, и все напоминало о них.

А дальше можно было видеть чистым и прибранным помещение, где жертвы раздевались; газовую камеру с глазком, в который смотрел оператор, дожидаясь последних минут агонии, чтобы включить затем электрический вентилятор для очищения воздуха от смертоносных газов; примыкающее здание крематория и носилки на железных колесиках, сбрасывавшие трупы в пасть печи; небольшую комнату, где трупы были навалены до потолка и где на оштукатуренных стенах еще оставались отпечатки их ног; машину, перемалывающую кости для удобрения соседних полей, и помещение, где хранили прах.

Проходя по этим помещениям и обзревая сцену столь многих страданий и трагедий, посетитель еще ощущал смрад разлагавшихся трупов и запах горелого мяса, но что же он видел,



когда, выйдя на чистый свежий воздух, поднимал глаза к небу, чтобы освободиться от этого кошмара? К шести на крыше крематория была прибита маленькая, грубо сколоченная скворечня, которую устроил здесь какой-то страдавший раздвоением личности эсэсовец.

Тогда и только тогда можно было понять, почему нация, давшая миру Гёте и Бетховена, Шиллера и Шуберта, дала ему также Освенцим и Бельзен, Равенсбрюк и Дахау».

Он вернулся тогда домой, наспех написал три письма и поехал в Душанбе.

«Если в конце концов установят, кто же автор этих писем,— думал он,— то и обо мне скажут, что я страдал раздвоением личности. Но, может быть, кто-нибудь при этом подумает, что я хотел спасти не скворцов, а людей».

Глава сороковая, в которой не происходит ничего такого, что влияло бы на ход повествования

Уже горит дом соседа Уналегона...

Вергилий

Ибрагимов не верил в бога. Во всяком случае, в такого, в какого верили христиане, магометане или евреи. Но у него был свой бог — удача. Когда человек берет билет в лотерею, ему может повезти, если ему мирволит этот бог. Этот человек найдет кошелек с деньгами, останется единственным на горящем самолете, врезавшемся у самого аэродрома в телеграфный столб, это его товарища, а не его убьет шальная пуля.

И сейчас всем своим естеством, каждой жилкой он взывал к великому богу удачи: «Помоги! Вызоволь! Докажи, что ты существуешь,— ведь я так верю в тебя и так надеюсь на тебя!..»

Он медленно шел по улице, а ему хотелось бежать, и разогретый асфальт — теплота его чувствовалась сквозь подошвы легких дорожных туфель — и был той землей, которая горела под ногами.

Прежде ему часто случалось нарушать правила конспирации, но в этот раз он им последовал, и это хорошая примета... Да какая к черту примета — это просто спасло его. Пока, во всяком случае. Он договорился, что они встретятся в десять часов утра на центральном почтамте, хоть вначале у него было желание щегольнуть перед этим приезжим своей независимостью и сказать, что он придет прямо к нему в гостиницу. Он представил себе, как открывает дверь номера, как глядят на него из комнаты черные беспощадные зрачки пистолетов и насмешливый голос предлагает: «Входите, входите. Вы не ошиблись дверью». И силой воли он заставил себя замедлить шаги, участвовавшие в такт ударам сердца.

Дорогу перебежала черная кошка. Женщина, которая шла перед ним, оглянулась и замедлила шаги. Он странно улыбнулся, остановился, поправил шнурок на туфле и дождался, пока какой-то мальчишка обогнал его и пересек невидимую и роковую черту, оставленную кошкой.

«Вот видишь, я выдержал твое испытание... Хотя сейчас дорога каждая секунда. Помоги же мне!» — молился он своему богу удачи.

— Эй, такси! Свободен?

Он сел рядом с шофером, оглянулся, не сворачивает ли за ним другая машина, и назвал адрес.

«Что со мной?— вдруг удивился Ибрагимов.— Почему я сразу не сел в такси? Но это возле гостиницы. Нет. Ничего. Следовало немного отойти пешком. Так правильней...»

Он внимательно посмотрел на водителя такси, молодого парня-узбека в перешитых, намеренно зауженных китайских хлопчатобумажных штанах и в рубашке навывпуск из той же ткани, из какой жена его (если он женат) сшила для себя домашнее яркое платье. Тоже хорошо. Пока хорошо.

Значит, сейчас домой. Убрать все лишнее. Хотя ничего особенно лишнего дома нет. Подготовить все, что нужно в дорогу. Изготовить телеграмму. Хотя бы от сестры из Новосибирска, вернее, от брата — сестра опасно больна, прошу немедленно приехать. Показать телеграмму в телеателье. Взять недельный отпуск за свой счет. Затем на вокзал. Ни в коем случае ни самолетом, ни автомобилем. Поездом. И на вокзал не самому... Попросить съездить за билетом кого-нибудь из сотрудников. Сказать, что не хватает времени. А там, в дороге, на первой же узловой станции пересесть в другой поезд.

И главное, не выжидать. Действовать.

«Я буду очень стараться,— просил он,— только помоги мне. Только сделай так, чтобы дома меня никто не ждал. Ты дал мне благополучно пройти по лезвию бритвы самый первый, самый опасный участок. Дай же мне пройти второй...»

Он поднял глаза на свое окно, не заметил ничего подозрительного и поспешил к себе. Он спросил у хозяйки квартиры, не узнавал ли кто-нибудь, когда он вернется, пожаловался, что тяжело заболела сестра в Новосибирске — что-то такое с сердцем — и что в связи с этим он должен будет уехать на несколько дней, и лишь после этого вошел в свою комнату.

«А почему я так испугался?— думал он, торопливо заглядывая в ящики стола.— Быть может, пронесет?.. Нет,— ответил он себе,— я правильно испугался. На этот раз не пронесет. На этот раз потянется вся ниточка. И главное, не опоздать. Главное, успеть, пока еще есть время. Пока они не разобрались...»

Он выдернул из дорогого мощного радиоприемника вилку наушника и спрятал наушник в карман, чтобы выбросить его по дороге. Он сам перестроил этот радиоприемник так, чтобы вместо динамика работал при желании наушник. Так он слушал «Голос Америки». В еженедельном обзоре литературы третья и седьмая фраза предназначались для него, для Ибра-

гимова. Прежде он задумывался: неужели никого не удивляет, какую чепуху им приходится болтать в этих литературных обзорах, чтобы составить фразы, предназначенные для него. А может быть, думал он тогда, четвертая и одиннадцатая фраза адресованы еще кому-нибудь.

Самое трудное было со связью. Но сейчас только бы исчезнуть. А потом уже организовать связь и сообщить, что «брат Коля» пропал.

Они там очень беспокоились о «брате Коле». С ума сходили. Прислали даже письмо. Этот приезжий был большим ловкачом. Сумел даже передать важные сведения. После этой передачи в Пентагоне, наверное, поднялась сумятица, как в муравейнике.

Он вспомнил Пентагон, в котором ему случалось бывать несколько раз,— лабиринт из бетона и камня с коридорами общей протяженностью в двадцать восемь километров, с коммутатором на сорок тысяч телефонных номеров, с тридцатью двумя тысячами сотрудников, с тысячей человек младшего обслуживающего персонала, с четырьмя людьми, занятыми весь рабочий день только тем, что сменяют перегоревшие электрические лампочки, с мусорными корзинами, в которые ежедневно выбрасываются девять тонн несекретных бумаг. Вот где сейчас, наверное, паника.

«Я против войны. Я за мир. Но если бы они начали сейчас, все было бы решено. Тут уж было бы не до меня». Ибрагимов представил себе, как беззвучно несутся ракеты с атомными головками, и невольно втянул голову в плечи.

Он вынул из шкафа бутылку коньяку, приложил к стене плоскую диванную подушку и ударил бутылку доньшком о подушку так, что сорвался сургуч и пробка на три четверти вылезла из бутылки. Сколько раз поражал он этим своим точным мастерским ударом дам, так ему благоволивших. Он вынул пробку, налил треть стакана коньяка и с отвращением выпил — он не любил спиртного. Коньяк лег в желудке комком горячего, непропеченного теста. Он запил его водой и стал укладывать чемодан.

«Нужно еще изготовить телеграмму,— подумал Ибрагимов.— Но стоит ли на это тратить время?.. А черт с ней! Скажу, что получил телеграмму. И все».

Сгребая с туалетного столика в чемодан мыло, зубную щетку, пасту, электрическую бритву, он на секунду взял в руки фотографию Марго в рамке из органического стекла, странно, с облегчением усмехнулся и бросил фотографию в чемодан.

«Если только обойдется...— думал он.— Если только про-

скочит... Если только ты мне поможешь, я напишу Максиму Сергеевичу такое письмо, что благороднее он не получал за всю жизнь... Черт с ним, я ему зла не желаю. Только помоги мне,— молил он бога удачи,— и я осчастливорю этого человека. Я напишу ему, что уехал, чтобы не разбивать его семью...»

Он дружил с мужем своей любовницы Марго — умным и медлительным Максимом Сергеевичем, видным работником республиканской прокуратуры. Максим Сергеевич признавался ему однажды даже в том, что прежде у него и Риты не было близких друзей, не с кем было даже посоветоваться по всяким личным вопросам и что поэтому и он и Маргарита Аркадьевна особенно ценят его отношение.

Но Марго было уже недостаточно того, что она чуть ли не ежедневно посещала его комнату, что хозяйка его квартиры знала об их отношениях и сплетничала о них вволю, это уже не щекотало ее нервы. Ей нравилось целовать его у себя дома, чуть ли не за спиной у мужа. Он был против этого. Он не хотел этого. Но вот с неделю тому назад Марго неожиданно прижалась к нему и впилась в губы, а в это время открылась дверь. Она мгновенно отодвинулась. Максим Сергеевич сделал вид, что ничего не заметил. Когда он вышел на кухню, Марго шепнула Ибрагимову, что муж ничего не заметил. И в самом деле, Максим Сергеевич вел себя любезно и ровно, как всегда. Как это случалось и прежде, он долго извинялся перед Ибрагимовым за то, что оставляет его, что вынужден уйти на заседание. Когда он ушел, Марго подтвердила, что он еще утром действительно предупреждал, что вечером у него какое-то заседание. Ибрагимов отчитал Марго. Он ушел очень не скоро. Но на улице, за квартал от своего дома, он увидел Максима Сергеевича. Тот поджидал его, усталый и смущенный.

— Я и раньше догадывался об этом,— сказал ему Максим Сергеевич.— До меня доходили сплетни, но я не хотел этому верить. А сегодня я сам убедился. Вы знаете, как я люблю Риту и Сережу. Но я хочу ей счастья. По роду своей работы я каждый день сталкиваюсь с людьми, несчастными в браке. Я не желаю ей такой судьбы. Если у вас это зашло далеко, если это действительно серьезно, я готов уйти... Я прошу вас только — попробуйте ее уговорить — быть может, она согласится отдать мне Сережу... Если же это случайность, я готов все забыть, но только прошу вас: пусть это больше никогда не повторится...

Когда Ибрагимов сказал, что это «случайность», он пожал ему руку и взял с него слово, что он будет приходить к ним

по-прежнему и ни в коем случае ни малейшим намеком не покажет Рите, что между ними состоялся этот разговор. Этот чудак не понимал, что его жена — легкомысленная и похотливая бабенка с голодными и жадными глазами — не стоит его мизинца.

Ибрагимов торопливо сменил рубашку. Старую он просто бросил за тахту. А новой он не надевал ни разу. В уголок воротника была вшита маленькая, круглая, немногим более булавочной головки ампула. Он нащупал ее пальцами и почувствовал, как рот заполняется кисловато-горькой слюной. Он сплюнул на пол.

«Поеду в ателье прямо с чемоданом»,— решил он, еще раз проверяя карманы костюмов, которые он оставлял в шкафу — оставлял навсегда и без сожаления. Такси его ждало. Он сел в машину, предварительно бросив чемодан на заднее сиденье, и на вопрос «Куда ехать?», поколебавшись, ответил:

— На вокзал.

«Напишу письмо,— решил он.— Напишу по дороге на службу письмо, что заболела сестра и я уехал к ней. А сейчас главное — не задерживаться».

Глава сорок первая, в которой заведующая райздравотделом Ашурова разблачает мулло Махмуда

Да сохранит аллах нас и тебя от сомнения, и да не возложит он на нас того, что нам не под силу!.. Да не поручит он нас нашей слабой решимости, немощным силам, ветхим построениям, изменчивым воззрениям, злой воле, малой проницательности и порочным страстям.

Абу Мухаммад Али ибн
Ахмад ибн Хазм

Ашурова смотрела на мулло Махмуда с выражением, какое бывает у целящегося комендантского взвода. Теперь он попался. Он сам захлопнул западню. Этот Протопопов из райфинотдела значительно умнее, чем может показаться. Непомерно высокий лоб, вместо того чтобы создавать видимость ума, придавал его худому, вытянутому лицу, обезображенному крошечными, далеко отстоящими друг от друга глазками, глупый вид, но он совсем не дурак. Мулло Махмуд утверждал, что не берет платы за лечение. Подсчитав его дневные потребности, Протопопов вынудил его сознаться, что колхозники приносят ему продукты питания в оплату за лекарства.

Но фокус состоял не в этом. Фокус состоял в том, что мулло Махмуд попался: он признал, таким образом, что занимается недозволенным лечением людей, не имея на то никаких прав.

Заведующая райздравотделом Ашурова уже давно добиралась до этого знахаря. Но его поддерживали в колхозе. Скрывали, что он занимается лечением, а сами брали у него травы, вероятно противопоказанные при их болезнях.

Пусть теперь попробует отказаться... Недаром она создала такую авторитетную комиссию. В нее вошел сам Маскараки, главный врач лепрозория, Протопопов из райфо и она, заведующая райздравотделом. Теперь она по-другому поговорит и со своим дальним родственником и однофамильцем — председателем райисполкома. Прямо на бюро райкома она расскажет, как коммунист Ашуров через своего дядю обращался к знахарю. Она не забыла, как Ашуров насмеялся над медицинской. А потом посылал за лекарствами к мусульманскому священнослужителю...

«Сам мулло, видимо, еще не понимает, что он попался,—

подумала Ашурова.— Но этот колхозный счетовод, этот Саид Садреддинов с рубцом от кожного лейшманиоза, от пендинской язвы на грустном лице, уже понял. Ишь как он защищает этого знахаря. Ничего у тебя не получится. Протопопов просто молодец. А казался таким тихоней».

Они сидели на камышовых циновках, укрывавших глиняный пол в маленьком, покосившемся доме мулло Махмуда с потемневшими, никогда не белеными саманными стенами.

«А может быть, он и в самом деле не берет денег,— вдруг подумала Ашурова.— Уж слишком бедно живет. Как говорит пословица, когда мулло душой чист, у него и зубочистка чиста. Но дело не в этом. Дело в том, что он знахарь. И сам сознался. Протопопов молодец... Но почему Маскараки все время морщится? И молчит? Что с ним?»

— Что с вами?— спросила Ашурова у Маскараки по-русски: Маскараки понимал таджикский язык, но говорил с трудом.

— Изжога, черт бы ее побрал,— поднимаясь на ноги, ответил Маскараки.— Что бы ни съел — изжога. Как будто штык проглотил...

— Что говорит этот русский доктор?— спросил мулло Махмуд у счетовода.

— Он жалуется, что ощущает такое жжение в животе, как будто за обедом проглотил большой нож,— серьезно ответил Садреддинов.

— Почему вы не носите с собой соды?— с досадой спросила у Маскараки Ашурова.

— Сода уже не помогает. Я проверял кислотность. Был на рентгене. Думал уже, язва. Все в норме, но хоть не обедая...

— Скажите доктору, что от этого легко избавиться,— обратился мулло Махмуд к Садреддинову,— нужно пожевать пять зерен неочищенного овса...

— Я человек, а не конь, и овса не употребляю,— сердито огрызнулся Маскараки, не дожидаясь перевода.

— Принесите для доктора пять зерен овса,— спокойно, с достоинством предложил мулло Махмуд.

Счетовод вышел за дверь и сейчас же вернулся с горстью овса. Мулло Махмуд отсчитал пять зерен и протянул их Маскараки.

— Переведите ему,— обратился он на этот раз к Ашуровой,— что нужно взять эти зерна в рот и жевать их, глотая слюну, пока останется одна шелуха. Шелуху нужно выплюнуть. Это очень просто.

Не дожидаясь перевода, Маскараки уничтожающе посмот-

рел на мулло Махмуда, сунул в рот зерна и принялся их жевать. Все молчали.

— Помогло,— удивленно прислушиваясь к себе, сказал вдруг Маскараки.— Не знаю почему, но помогло. Прошла изжога...

Ашурова пожала плечами.

— Все это очень приятно,— сказала она сухо.— Но наша комиссия приехала сюда совсем не для этого. Значит, вы признаете,— в упор спросила она мулло Махмуда,— что занимаетесь лечением людей, не имея для этого ни соответствующих знаний, ни разрешения?

— Я даю свои травы только тем людям, которые не очень больны,— медленно ответил мулло Махмуд.— Только тем людям, которые держатся на ногах и ходят на работу. А в случаях тяжелых заболеваний я всегда советую обратиться к настоящим врачам. И они уж обязательно излечивают от любой тяжелой болезни.

«Он еще и насмехается»,— с яростью подумала Ашурова.

— А ведь и в самом деле помогло,— вдруг повторил Маскараки.— Скажите,— с трудом подбирая таджикские слова, обратился он к мулло Махмуду,— этот ваш овес лечит или только приносит временное облегчение?

— Ин ша алла — если аллах соизволит — сначала приносит облегчение. А потом, если жевать его каждое утро на протяжении месяца, то и лечит.

— Никогда не слышал ничего подобного!

— Позвольте,— недовольно прервала Маскараки Ашурова.— Выходит, что вы прописываете больным травы без рецепта врача. А ведь среди них могут оказаться и ядовитые,— снова обратилась она к мулло Махмуду.

— Любую из трав, которые я даю людям, можно купить в аптеке. И тоже без рецепта врача. Но мои травы все-таки лучше, чем в аптеке.

— А чем лучше?— искренне заинтересовался Маскараки.

— Они свежие, значит лучше сохраняют целебные свойства, а главное, они вовремя сорваны...

— Что значит «вовремя»?

— Некоторые весной, некоторые летом, а некоторые осенью; некоторые на рассвете, некоторые в полдень, а некоторые и в полночь.

— Знахарство,— пренебрежительно отмахнулась Ашурова.

— Осенью или весной — это я понимаю,— вежливо заметил Маскараки.— Но неужели вы в самом деле думаете, что имеет значение время суток?

— Младший сын Саида, у которого я выгнал глистов,— сказал мулло Махмуд, и счетовод закачал головой, подтверждая его слова,— ходит в школу. Очень сведущий мальчик. И он рассказывал мне, что в школе их учили, будто бы растения дышат, как и мы с вами. Но днем будто бы они дышат одним воздухом, а ночью другим. Может быть, мальчик неверно понял своего учителя?

— Нет, это верно,— ответил удивленный Маскараки.— Но какие травы вы все-таки применяете? И как?— в голосе его слышалось нескрываемое любопытство. Он оживился и повеселел.

— Прежде всего джерабай, что означает по-казахски «целитель ран». Как говорил Шейх ар-Раис, эта трава лечит от девяноста девяти болезней.

— Кто такой этот Раис?— спросил Маскараки у Ашуровой.

— Все тот же ибн Сино, Авиценна,— презрительно поморщилась заведующая райздравотделом.— У нас на него любят ссылаться. Покажите нам эту траву,— предложила она.

Мулло Махмуд улыбнулся, вышел в сени и спустя несколько минут вернулся с пучком трав.

— Вот она,— сказал он, протягивая Ашуровой цветы с желтыми лепестками.

Ашурова, видимо, хотела сказать что-то резкое, но удовольствовалась тем, что сжала губы и приподняла брови, глядя на пол. Маскараки взял у нее цветок и размял лепестки пальцами — они сразу же окрасились в фиолетовый цвет.

— Да это же зверобой,— обрадовался он.— Гиперикум полатыни. Его употребляют в научной медицине...

Ашурова выходила из себя. Сначала Маскараки, а затем и этот Протопопов, все время обращаясь к ней за переводом названий трав и болезней, торопливо записывали в свои блокноты рецепты старого мошенника. При этом Маскараки каждый раз прочитывал вслух свои записи, проверяя, не допустил ли он ошибки.

«При язвах, ранах, экземах берется масло арчовое пополам с льняным (джигирным) и настаивается на зверобое и чистотеле».

«При болезнях печени зверобой, бессмертник (бобуна) и кора крушины (обязательно не свежая, прошлогоднего сбора) заливаются сырой водой на ночь. Утром прокипятить и пить пять раз в день по пиале».

«При поносе — чай из зверобоя и тысячелистника (хазан-бала)».

«От глистов — тыквенные семечки (кадудона), очищенные, не жареные, четыре стакана, после них ревень (чукри)».

Чтоб как-то поставить все на место, Ашурова спросила:

— А базрулбач вы применяете?

— Что это — «базрулбач»? — немедленно заинтересовался Маскараки.

— Белена.

— Употребляю. Правда, очень редко, — спокойно, очевидно не подозревая ловушки, ответил мулло Махмуд. — Я готовлю настойку на листьях, собранных во время цветения. Даю две капли на ложку воды при конвульсиях.

— Вам известно, что это яд?

— Известно.

— И все-таки вы...

— Нужно прикрепить к нему врачей, — решительно перебил заведующую райздравотделом Маскараки. — Чтоб они настоящему занялись изучением опыта этого человека. Травы мы действительно продаем в аптеках. А как их применять, знаем очень мало...

— Ну, мы об этом еще поговорим отдельно, — отрезала Ашурова.

Так, подготовленная Ашуровой победа обернулась поражением, что, как заметил про себя мулло Махмуд, случалось уже не раз и с более крупными стратегами и в более значительных сражениях.

Когда посетители ушли, мулло Махмуд вынул из картонной коробки пучок сухих кудрявых листьев индийской конопли и принялся готовить для себя анашу. Он видел однажды в Англии темный, похожий на мозольный пластырь наркотик, но лишь здесь, в Таджикистане, научился его готовить. Это было не слишком сложное производство.

Он натянул на большую глиняную глазированную чашку кусок грубой ткани — маты и стал протирать сквозь нее листья, как сквозь сито. На дно чашки осела зеленая пыль. Он собрал ее пальцами, и она склеилась в плотный комок величиной со сливу. Он снова расправил ткань над чашкой и протер остатки листьев вторично. На этот раз собранная им пыль склеивалась хуже и представляла собой уже «второй сорт». Теперь для того, чтобы довести первый сорт до высшей кондиции, следовало завернуть комок анаши в тряпочку и положить на дно сыромятного башмака. Если так походить с неделю, анаша, перемятая босой пяткой, приобретает тот темный цвет и плотную консистенцию, которые так ценятся любите-

лями этого наркотика. Впрочем, он предпочитал анашу, не доведенную до высшей кондиции.

Устроившись на сложенном вчетверо одеяле и втягивая в себя приторный дым, он, как, впрочем, и многие другие, думал, что в любую минуту мог бы отказаться от своей привычки к наркотику, но не хочет этого. Так же, как не захотел отказаться от привычки жить. Даже здесь. Даже в этом кишлаке.

Помнили ли люди, которые его окружали, что мулло не только его звание, а в какой-то степени и занятие? Едва ли. Слишком прочной и безупречной была его слава целителя. Недаром к нему приезжали из далеких районов и даже из Узбекистана. Даже в очень далеких кишлаках его звали мулло Букрот — арабизованной формой греческого имени Гиппократ — врача, оказавшего большое влияние на развитие восточной медицины. Если бы он брал плату за лечение, он бы мог сколотить порядочное состояние.

Мулло Махмуд вспомнил, как однажды на рослом, откормленном коне к нему приехал старик в нарядном халате из банораса — серовато-белой полупелюшечной ткани с муаровым отливом. Долго разговаривал о погоде, о видах на урожай, а затем, наконец, сообщил, что у него заболел племянник. Не сможет ли мулло Букрот помочь.

Мулло ответил, что не сможет. Нужно, чтобы племянник сам приехал к нему. А если он настолько болен, что не может приехать, то следует обратиться в поликлинику.

Старик снова долго рассуждал о погоде, о видах на урожай и отгонных пастбищах, а затем, словно между прочим, заметил:

— Нет, приехать мой племянник не сможет. Но я могу рассказать все признаки его болезни.

Он долго рассказывал об этих признаках.

Мулло Махмуд колебался. Судя по всему, это было какое-то заболевание печени.

— Но ваш племянник работает? — спросил он наконец. — Ходит? Делает все, что полагается делать мужчине? Ездит верхом? Или лежит в больнице?

— Нет, нет. Он здоров, только иногда у него бывают боли.

С благодарностью, двумя руками взял старик из рук Махмуда завернутую в газету сушеную траву и трижды повторил инструкцию, как ее применять.

Через две недели он приехал снова и пригнал двух жирных гиссарских баранов с пудовыми курдюками.

— Я не беру платы за лечение, — отказался мулло Махмуд.

— На этот раз вы должны будете взять, — решительно возразил старик. — Мой племянник раис. Председатель райисполкома. Он не поверил сначала в ваше лекарство и дал его на пробу в аптеку. Но в аптеке сказали, что это хорошие травы. Пусть принимает. И вот он здоров. Неужели вы захотите обидеть раиса?

Да, он многих людей спас от поноса, от язв на теле, от экзема и глистов. Многим помог. Но ведь приехал он сюда совсем не для этого. Он приехал сюда, чтобы помочь этим людям создать здесь новый центр восточной культуры, который — как знать — совместит когда-нибудь в себе достижения западной цивилизации с восточным, воспитанным тысячелетиями интеллектом.

Что ж, здесь сложился новый центр восточной культуры. Но, чуждый и враждебный мулло Махмуду, сложился без его участия и вопреки воле тех, кто его сюда послал.

Он прибыл сюда в те дни, когда Черчилль — и не только он, — когда все руководители государства, армии, разведки были убеждены, что Советский Союз не устоит. Когда они были уверены в том, что распадется и фашистская Германия и Советская Россия. Что в этой войне они раз и навсегда уничтожат друг друга. И вот тогда-то была выдвинута ответственной задачей — собрать силы, которые в этих обстоятельствах могли бы сохранить советскую Среднюю Азию для западного мира.

Кем должен был быть человек, на которого возложили такую задачу? Партийным или хозяйственным деятелем? Научным работником? Или инженером? Нет, скорее всего мусульманским священнослужителем, который мог бы объединить вокруг себя людей на религиозной почве.

Было признано, что Френсис Причардс является для этого самым подходящим человеком. В свое время он закончил Оксфорд, продолжал учебу в Египте и Иране и считался одним из самых способных молодых ученых-ориенталистов.

Френсиса манил Восток. Внешне сдержанный, трезвый и молчаливый, в душе он был романтиком и мечтал стать новым Лоуренсом. Довести до победного конца его миссию. Он учился в том же колледже, который закончил Томас Эдуард Лоуренс, он не расставался с портретом этого загадочного человека.

Он сам предложил свои услуги «Интеллидженс Сервис». Сначала он был привлечен в качестве консультанта, а затем стал выполнять все более сложные и ответственные задания английской разведки на Востоке. О нем знали немногие, не-

сколько его на шумевших научных работ были выпущены анонимно и не в Англии, а в Ватикане (востоковеды до сих пор приписывают эти труды то одному, то другому ученому члену ордена иезуитов). Но в кругу тех немногих людей, которые знали о его деятельности, этот вдумчивый ученый пользовался большим уважением.

Перед второй мировой войной на него было возложено руководство среднеазиатским подотделом «Интеллидженс Сервис», а после того, как фашистская Германия напала на Советский Союз, он был направлен в Среднюю Азию. Даже руководство разведки армии Андерса, на которое было возложено задание принять его под видом графа Глуховского и оставить в Таджикистане, не было осведомлено о том, кто же таков в действительности этот человек.

Что ж, тогда он гордился своей миссией, которая имела более чем столетнюю историю. В период с 1820 по 1842 год в Бухарское ханство проникли различными путями такие представители Англии, как Муркрофт, Борнс, Вуд, Стоддарт и Конолли. И каждая из этих миссий заканчивалась полной неудачей. Когда после англо-афганской войны правительство Англии направило в Бухару через Иран Стоддарта с дипломатическим поручением, эмир Насрулло отдал приказ о его аресте. Все попытки спасти Стоддарта, предпринятые английским правительством через турецкого султана, через виднейших представителей мусульманского духовенства в Мекке, персидского шаха и царское правительство России, не дали результатов. После четырехлетнего тяжелого тюремного заключения Стоддарт, а вместе с ним и Конолли, который был вначале у хивинского хана, а потом приехал в Коканд и здесь попал в руки Насрулло, были казнены.

В 1852 году Англия предприняла неудавшуюся попытку под знаменем газзавата создать союз трех среднеазиатских ханств: Бухарского, Хивинского и Кокандского — против России.

При участии Лоуренса, превратившегося тогда уже в «рядового Шоу», в Афганистане был организован мятеж Баче-Сакао. Он тоже закончился неудачей.

— Теперь иное время, — уверяли Причардса на Даунинг-стрит. — Вам нужно только выждать, и яблоко само упадет. Дерево трясут другие люди.

Но все складывалось много сложнее, чем это представлялось высоким дипломатам.

«Перечитывают они когда-нибудь свои предсказания? — подумал мулло Махмуд. — Едва ли. Иначе любому из них

пришлось бы признать себя ничтожным дураком. А это среди выдающихся дипломатов не принято».

Вначале он с большим трудом сумел ускользнуть от русских контрразведчиков и замести следы. Затем оказалось, что война не только не вызвала недовольства против советской власти и восстаний среди местного населения, но, наоборот, укрепила, как правильно писали советские газеты, сцементировала дружбу советских народов и их волю к победе. В Англии считали это пропагандистским трюком. Он в своих донесениях сообщал, что это не только пропаганда. Что это факт.

И наконец, Советский Союз не только не распался, но уже на второй год войны показал, что неизбежно победит фашистскую Германию. И ученый-востоковед Причардс, подполковник граф Глуховский, мулло Махмуд остался в горном кишлаке, из которого время от времени поддерживал связь со своим руководством с помощью портативного передатчика.

Вначале он чисто случайно приступил к лечению — в свое время его работы по истории восточной медицины принесли ему известность в научных кругах. У него было немало теоретических знаний, но не хватало навыков, а впоследствии он искренне увлекся новым для себя и, несомненно, полезным во всех отношениях делом. Руководство разведки весьма одобряло его деятельность в качестве гомеопата — его легко, не вызывая ничьих подозрений, могли посещать посторонние люди.

Первые годы он стремился вернуться на родину и напоминал об этом в каждой своей передаче. Но его отъезд все откладывали, он нужен был разведке, как человек, исключительно хорошо знающий местные условия, человек вне всяких подозрений и, наконец, как человек, у которого имелась радиостанция, расположенная в такой зоне, что работа ее фактически не подвергалась перехвату, а со связью было особенно сложно, и для разведки это был чуть ли не основной вопрос.

Время от времени у него появлялись «больные» — неразговорчивые усталые люди, которые вручали ему бумажку с рядами цифр. Он передавал эти цифры в эфир, затем записывал на бумажку несколько ответных цифр, давал бумажку посетителям, они молча забирали ее и исчезали. С каждым годом все реже думал он о возвращении на родину. А когда ему, наконец, предложили вернуться, он отказался. Наотрез. У него никого не было в Англии: ни жены, ни детей, ни родных. В 1960 году ему исполнилось 62 года, а чувствовал он себя глубоким стариком. Ничтожным и нелепым стариком.

Мулло Махмуд помнил время, когда люди уже начинали смотреть на историю как на состояние длительного мира, временами прерываемое войной. Но теперь, думал мулло Махмуд, многие политики стали представлять себе мир лишь как тревожный антракт между войнами, случайно выдавшийся в силу равновесия взаимного страха. Мир висел на лезвии войны. И мулло Махмуду казалось, что достаточно хоть небольшого груза на одну из чашек этих весов, чтобы атомные бомбы проросли своими страшными грибами. Он не верил миролюбивым словам руководителей коммунистических государств. Но еще меньше доверял он миролюбивым намерениям руководителей Америки и Англии. Он думал, что, как только одна из сторон получит в свои руки оружие, дающее преимущество перед противником, она развяжет войну, потому что, как ему казалось, современный мир — это равновесие взаимного страха, испытываемого вооруженными противниками.

Ему, человеку далекому от современной техники, показалось, что таким оружием могут оказаться ракеты, самонаводящиеся по частотам радаров.

Он никакой не политик, хотя обстоятельства толкнули его на путь нелепой, как бред опиемана, военно-политической деятельности. Но, видит бог, он не хотел бы, чтобы Аллан, или его однорукий отец Раджаб, или мудрый и добрый старик Шаймардон зависели от таких опасных людей, как этот американец, имени которого он не спросил, а если бы спросил, то тот бы ответил — Смит или еще что-нибудь в этом роде.

Они приехали к нему ночью, Ибрагимов, с которым он уже встречался прежде, и этот тип. От Ибрагимова он и услышал о ракетах, самонаводящихся по частотам радара. Они пробыли у него почти сутки. В первый раз он отказался принимать шифровку. Он сказал этим людям, что он думает о них, а заодно и своей деятельности. И тогда Смит очень сдержанно сказал, что шифровку примут они сами, но соседи мулло Махмуда не скоро поймут, куда же он исчез.

Мулло Махмуд принял шифровку.

Глава сорок вторая, в которой говорится о перипатетиках и траурном марше

Процессия прошла,
Взяв гроб, со скрипом по душе.

Э. Диккенсон

Это и было лучшее его рабочее время — пятьдесят минут, которые занимала дорога от дома до управления. Здесь в течение этого часа принимались самые важные решения, отыскивались ответы на наиболее запутанные вопросы. Он никогда не ездил на службу в машине. Он выходил из дому ровно в девять часов утра и без десяти десять открывал входную дверь управления. Он часто говорил своим сотрудникам: «А философы греческие — перипатетики — не дураками были, когда занимались своей философией только во время прогулок. В движении человек думает иначе. И вам советую: вот пройдитесь немножко, скажем, до вокзала и назад, подумайте, а потом придете и доложите».

Но сегодня привычный путь не радовал, а казался томиительно длинным, в груди с левой стороны покалывало, и ко всему этот проклятый траурный марш, который сопровождал мысли и замедлял шаги в такт своему тяжелому, безнадежно-торжественному ритму.

Как это нередко бывает с людьми, лишенными музыкального слуха и страдающими тем, что врачи называют «истощением нервной системы», Степан Кириллович иногда не мог избавиться от хорошо запомнившейся ему мелодии. Когда он только вышел из дому и дошел до перекрестка, ему пришлось задержаться, так как улицу пересекала похоронная процессия. За гробом, установленным на ехавшем на первой скорости грузовике, шел духовой оркестр. Он играл траурный марш Шопена, и ему показалось, что грузовик движется рывками, в такт маршу. И вот он уже привычной, неизменной дорогой приближался к управлению, а марш этот настойчиво сопровождал его.

Траурный марш, думал Степан Кириллович, именно сегодня траурный марш. И еще одно... Когда он подходил к пересекающему улицу бульвару, сзади громким, нестройным хором вдруг раздалась детские голоса, много детских голосов — двадцать или тридцать: «Остановитесь! Остановитесь!»

Он оглянулся. Детский сад. Ребятишки в одинаковых белых грибочком шапочках-панамках, с воспитательницей. Несколько ребятишек ушло вперед, и перед перекрестком воспитательница, видимо, их позвала, и вслед за ней закричали и все дети.

Он не был суеверным человеком. И по характеру своему был прежде совершенно чужд рефлексии. Но смерть Ведины, и этот траурный марш, и дети, которые кричали «Остановитесь!», — все это путало мысли, и кололо, кололо в боку.

Остановитесь! Остановитесь! На всех языках. Во всем мире. Все дети. И все равно не слышат. Не хотят слышать.

Он принадлежал к числу тех немногих в стране людей, которые были ближе всего к войне, — он охотился за ее первыми вестниками. Он, как никто другой, постоянно ощущал их присутствие. И платной работой его и делом его жизни была беспощадная с ними война. Она никогда не прекращалась. В те дни, когда отношения ухудшались, публиковались даже снимки оружия, радиооборудования, парашютов и денег, которыми их снабжали. Но они были все время, и на их содержание из государственных бюджетов выделялись суммы, на которые можно было бы обеспечить молоком и этими белыми шапочками-панамками и всем остальным, что еще там полагается, всех детей мира.

Что сделать, чтобы выбить из головы этот проклятый траурный марш? Так можно действительно окончательно одуреть. Он попробовал запеть про себя «Бандьера роса», но песня эта не получилась, а все звучали и звучали траурным маршем медные трубы.

Они убили Ведины... Сволочи, ах, какие сволочи! Уже отправляясь на тот свет, один из них убил Ведины. Вот он дожил до седых волос, и у него грудная жаба, но ему хотелось жить. Ему очень хотелось жить. Да что там говорить — в старости люди больше дорожат своей жизнью и своим положением, чем в молодости. Но, честное слово — это правда! — если бы только это было возможно, он, генерал, заслуженный человек, закричал бы Ведины своей грудью.

Он вспомнил, как придирчиво строг он всегда был с Вединым, как поручал ему постоянно самые трудные, самые неприятные задания, как безжалостно и резко выговаривал ему за каждую ошибку и как искренне испугался Ведин, когда однажды Степана Кирилловича собирались переводить в Москву. «Неужели вы уедете? — спрашивал он, нарушая субординацию, которую всегда так соблюдал. — Я не потому спрашиваю, — говорил он, извиняясь, — что боюсь нового на-

чальства, а потому, что вы... что я... что все мы хотим работать с вами...»

«Неужели никогда не наступит время,— думал Степан Кириллович,— когда люди перестанут убивать, когда убийство человека станет для людей таким же редким, таким же чудовищным событием, как случай людоедства?..»

Небольшой черный мяч глухо ударил в стену. Он приостановился. Двое мальчишек с загорелыми лицами — темнее глаз — били по очереди мячом о белую стену дома, ловили мяч и снова били в стену, а на стене оставались пятна.

Степан Кириллович вспомнил надпись, какую он видел на многих домах и каменных заборах в испанских селах и городках: «В pelota играть запрещается!» У стен домов и каменных заборов играли в pelota все испанские мальчишки, а взрослые играли перед специально выстроенными белыми стенами высотой в пятиэтажный дом. Эта баскская игра была распространена на всем протяжении, где говорили по-испански,— между Сарагосой и Бильбао, между Танжером и Аргентиной. Массивный резиновый мяч швыряли в стену либо руками, либо дубинками, которые назывались паля. А pelota-мастера били мяч перчаткой в виде пращи, она вдвое удлиняла руку и заканчивалась углублением, напоминавшим разливательную ложку. Как же называлось это приспособление?.. Почему-то так же, как корзина для рыбы. Чистера. Оно называлось чистера. А впрочем, этим словом называли еще и шляпу... Мяч отлетал за шестьдесят метров и попадал именно в ту точку, куда направлял его игрок...

Вот так же тогда мальчишки, только не два — их было четыре — играли в pelota перед стеной их дома. Черномазые и веселые испанские мальчишки. Пролетел самолет — немецкий «юнкерс» — и вдруг нырнул вниз и открыл по мальчишкам стрельбу из всех пулеметов. И убил всех четырех. На его глазах... Убийцы... Убийцы... Они похоронили мальчиков. Смерть. Всегда рядом с ним гибли люди. А он оставался. «Но неужели Семен никогда не поймет, что оставался не потому, что трусил? Не потому, что берегся. Что мне тогда было не легче, чем ему... Когда я сказал, не ходить больше к Ивановым... Но как объяснить, что я не мог иначе?.. Что в этом — моя жизнь. Что пока мир так устроен, я должен этим заниматься. Что это для меня дороже меня самого, и дороже сына, и жены, и всего, что есть у человека дорогого. Что в то трудное время, когда действительно никто не был гарантирован от произвола, когда шпион и разоблачавший его чекист оказывались иногда в одной камере, я ловил агентов иностранных разве-

док и никогда не знал, не буду ли и я завтра посажен. Но я ловил.

Две тысячи, а может, и больше лет тому назад в библии было написано: «Вы соглядатаи, вы пришли выглядеть наготу земли сей». Это верно сказано: наготу. Открытые, слабые, незащищенные места. Чтобы потом в них ударить. С тех пор соглядатаев ненавидят и презирают. Презирают и ненавидят. Но ведь их не стало меньше. Их становится все больше. Они научились лучше, чем прежде, высматривать «наготу земли сей». Нашей земли... Нет, я иначе не мог. И Ведин бы это понял. Но Ведина убили...»

А ведь она помешалась, внезапно подумал Степан Кириллович о жене Ведина, вспомнив, как странно та вела себя на похоронах. Правда, говорили, что и прежде она была нервнобольной. Не мог выбрать себе в жены кого-нибудь понормальней, подумал он о Ведине так, как думал иногда о нем живом, требовательно и придирчиво. И вообще, состоя на нашей службе, лучше не жениться, подумал он, снова вспомнив о сыне. Но Ведина убили, и если бы не этот траурный марш, он бы смог думать сейчас не о Ведине и не об этих ребятишках, а об Ибрагимове, который сменил уже десяток поездов и, наверное, не меньше паспортов. Почему он так мечется? Неужто только с перепугу?.. Но этот траурный марш, и Ведин, и придется прийти и выслушать, что скажут Шарипов и другие его сотрудники, а потом уж принимать решение.

А вообще надо было вызвать машину. Этим «перипатетикам» не грозили атомной войной. Не стреляли из крупнокалиберных пистолетов в их сотрудников. Да и машин у них не было. Вот и ходили пешком.

Глава сорок третья, в которой Владимир Неслюдов спасает свои зубы

Врагов я описал. Друзей я описал.
Я описал царей. Князей я описал.
Фирдоуси

Я описал кузнечина. Я описал пчелу.
Я птиц изобразил в разрезах полага-
ющихся...

Алейкинов

Домам и садам было тесно в кишлаке Митта. Ступенями взбирались они по реке вверх по склону горы, переходили один в другой, и часто плоская крыша нижнего дома была террасой верхнего. Переулочкам было оставлено так мало места, что иной едва пропускать всадника, руками отводящего от своей головы сплетенные ветви шелковиц и абрикосов.

Володя прижался к чьей-то калитке. Запрудив узкую улицу, в кишлак возвращалось стадо. Улица в этом месте проходила на уровне крыш нижних домов, и каждая корова считала долгом своим лизнуть крышу — ее посыпали солью, чтоб она не протекала во время дождей.

Пастух подогнал коров, и они прошествовали дальше — тучные и грациозные, как балерины, оставившие сцену.

В глиняном дувале был сделан проход. Возле него яма, наполненная вязкой глиной, смешанной с мелко рубленной соломой — саманом, золотыми, сияющими блестками. Коровы бережно обошли яму. В ней топтались, разминая ногами глину, два человека.

— Салам алейкум, — сказал Володя. — Монда нашавед — не уставайте.

Старик с таким правильным библейским лицом, какое Володя встречал только на иконах работы Рублева, ответил ему из ямы:

— Валейкум ас салам. — И вам мир. — И, опираясь спиной о стенку ямы, он начал выковыривать глину между пальцами ноги.

Когда глину достаточно разомнут, ее будут подавать из рук в руки влажными тяжелыми кусками и слепят стены. Глиняные стены быстро высохнут, и тогда на них положат стволы кленов — стропила, а поверх стропил тонкие жерди, которые засыпят хворостом. И снова все обмажут глиной,

получится плоская крыша. А когда вставят окна и навесят двери, дом будет готов.

«Конечно, — подумал Володя, — он будет очень отличаться от высотных домов Москвы. Конечно, в нем очень недостает ванны, и уборной, и мусоропровода, и многого другого, без чего городские жители плохо представляют или вообще не представляют себе жизни. Но люди, которые в нем поселятся, будут жить не менее полной, не менее счастливой и трудовой жизнью, чем те, кто живет в высотных домах, и для будущего историка их жизнь будет не менее важной, чем жизнь жителей высотных домов».

Он вспомнил новую квартиру отца в высотном доме (старую он оставил предпоследней мачехе Володи), и молодую свою мачеху Алису Петровну, и намеки ее, условные и прозрачные, как платье балерины, на то, что ей скучно, что отец в командировке, и он, Володя, мог бы за ней поухаживать, и подумал о том, что больше никогда туда не вернется...

Таня. Его ждала Таня. И самое большое, самое настоящее чудо из всех, какие могут быть в этом мире, — любовь Тани. Он снова вспомнил отца и молодую мачеху и думал о том, что многие люди так и заканчивают долгую жизнь, не узнав любви и принимая за нее совсем другое — половой голод, взаимную симпатию или даже выгоду, чувство признательности или еще что-нибудь... Но что потом? Косточка, фаланга пальца с перстнем? Или новые жизни, в которые незримо воплотилась эта любовь?

Он вышел за кишлак и направился к излучине реки, к тому месту, где в нее впадал горный ручей — сай.

«Чей это перстень? — думал Володя. — Чью память оберегали так тщательно? Жена? Любимая?.. Этот изумруд ей надели на палец еще в детстве... И все-таки сюда нужно настоящую археологическую экспедицию».

Когда он учился еще на первом курсе университета, профессор-археолог прочел им лекцию, главной темой которой было то, как много вреда принесли исторической науке археологи-любители. «Эти охотники за кладками, — сверкая очками, провозглашал профессор, — своими сапогами втаптывают в землю то, что для настоящего археолога представляет наибольшую ценность, и своими лопатами швыряют в отвал то, за что настоящий историк прозакладывал бы собственную голову...» И вот Володя тоже стал «кладоискателем»... И не жалеет об этом, хотя многие люди в кишлаке считают, что он в старых рукописях нашел план, нашел место, где спрятан клад, и теперь приехал за ним в кишлак Митта.

Все началось с того, что, осматривая кишлак, Володя попытался представить себе, где же находился замок — кала: обнесенное стенами здание с башней, с бойницами. Начиная с четвертого века нашей эры люди в этих местах жили в таких замках. Судя по всему, он должен был стоять на берегу Мухра, в излучине, там, где в реку впадал горный ручей; в этом месте благодаря природным условиям он становился почти неприступным, а это и было главным требованием к местам, на которых строили замки. Правда, с того времени река могла изменить свое русло, и не раз... Но как же обрадовался Володя, когда увидел, что река после весенних дождей размывла площадку, на которой, как он предполагал, мог находиться замок, и он убедился, что в нагроможденных тут рекой булыжниках неровными, прерывистыми валами заметны линии фундаментов стен. Особенно ясно они были видны в косых лучах заходящего солнца — настолько ясно, что Володя смог зарисовать планировку здания.

Володя вовсе не собирался заниматься раскопками. Да это было и невозможно для одного человека — нужны были значительные денежные средства на оплату рабочих, нужны были рабочие и специалисты, нужно было оборудование, нужен был, наконец, в больших количествах поливинил — бесцветный лак, которым теперь обязательно покрывают срезы и обильно смачивают любые органические вещества, найденные на месте раскопок: бумагу, дерево, пергамент, ткань. Но археологические экспедиции планируются, как количество детей в небогатой мещанской семье. Когда еще и кто предложит организовать здесь раскопки. И Володя не удержался. Он поговорил с Алланом, а тот взял еще двух парней из своей бригады, и они вчетвером, захватив кетмени, отправились на берег реки Мухр.

Володя решил сделать раскоп в том месте, где, как он полагал, сходились углом две стены.

Они долго перетаскивали камни, очищая это место, а затем заработали кетменями. Это был нелегкий труд — только кетменем и можно было врубиться в эту плотную, влажную глину. Они углубились в раскоп уже почти на два метра, уже приходилось в два приема выбрасывать глину, но никаких следов старых стен они не находили — только глина и булыжники: время от времени о них со скрежетом ударялись кетмени.

Володя вылез из раскопа и присел на корточках, разминая руками выброшенную глину — нет ли в ней каких-нибудь органических остатков. Он уже собирался предложить прекра-

тить работу — у него не хватило бы решимости перенести раскоп на другое место, — как вдруг Аллан закричал:

— Посмотрите, что я нашел!

И Аллан подал ему серебряную коробочку величиной не более двух спичечных коробков, положенных один на другой. Володя сумел подавить нетерпение, осмотрел коробочку со всех сторон и лишь затем открыл плотную крышку. В коробочке лежала темно-коричневая, почти черная кость, на которую был надет узкий серебряный перстень с большим зеленым камнем, загоревшимся вдруг глубоким внутренним светом, который так отличает изумруд от стекла и пластмассы. Володя попробовал осторожно снять перстень с темной, но хорошо сохранившейся фаланги пальца, однако оказалось, что сделать этого нельзя — очевидно, женщина, которой он принадлежал, носила его с раннего детства, и перстень был уже, чем концы фаланги.

— По-моему, это изумруд, — нерешительно сказал Володя. — Смарагд. Очень дорогой камень. Я где-то читал, что он дороже алмаза.

Услужливая память, точности которой Володя иногда сам удивлялся, немедленно подсказала ему описание изумруда в одной из средневековых иранских рукописей: «Много есть сортов изумруда: силки, зеленый цвет которого похож на ботву свеклы... зубаб, похожий по цвету на крыло мухи, в котором просвечивает зелень... рейхани, зелень которого по оттенку подобна цвету базилики... курасси, цветом похожий на зелень лука-порей».

— Если это действительно изумруд, — продолжал Володя, — то это того сорта, который называется «курасси»... Но теперь нам нужно осторожно собрать глину с того места, где Аллан нашел коробочку. Ее следует сохранить.

Когда они собрали и сложили глину — Аллан дал свой поясной платок, — Володя предложил:

— Что ж, теперь давайте присядем и обсудим, что будем делать дальше. Прежние методы работы уже не годятся... Не знаю даже, следует ли нам вообще продолжать раскопки...

Аллан и его товарищи неохотно уселись на камни перед раскопом. После этой удивительной находки они были готовы продолжать раскоп хоть до центра земли. Недоверие, с каким они начинали работу, вдруг сменилось у них уверенностью, что впереди их ждут сказочные клады. И даже Володя с трудом подавлял в себе желание немедленно, не упуская ни минуты, продолжать раскопки.

Володя рассказал, что прежде всего нужно будет устано-

вить, к какому же времени относится эта их находка. В этом до известной степени поможет найденная ими коробочка, которая представляет собой предмет не менее удивительный, чем эта кость, и этот перстень, и этот драгоценный камень, так как она является крохотной моделью оссуария-астодана, причем, сколько ему известно, это первая такая находка в мировой археологии.

Увлеченный Володя подробно говорил о том, что в оссуариях-астоданах — небольших ящиках с отдельно вылепленной крышкой — хоронили кости покойников зороастрийцы. Религия огнепоклонников запрещала погребать трупы — их оставляли на съедение диким животным. Оссуарии-астоданы были известных трех типов: глиняные, ящичной формы — типично согдийские, алебастровые на ножках — хорезмийские и глиняные в форме юрты со срезанной крышей — семиреченские.

Так как оссуарии были связаны с представлениями зороастрийцев о загробной жизни, то своей формой и рельефами на стенках они отражали современные им формы строительства жилых домов. Так, в оссуариях четвертого века стенки делались глухими, без окон, но в пятом веке появились узкие окна в виде бойниц. Иногда на согдийских оссуариях археологи встречали четырехскатную крышу, а не плоскую, как повсеместно в Средней Азии. Но, как возможно знают присутствующие, четырехскатные крыши до сих пор встречаются в некоторых горных таджикских селениях.

На серебряной коробочке — миниатюрной модели оссуария — вычеканены узкие бойницы и в середине длинной стенки — дверь. Таким образом, можно предполагать, что изготовлена эта коробочка уже после пятого века. Специалисты, несомненно, проведут сложное радиоуглеродное исследование кости и органических остатков, какие имеются в выбранной ими глине. Таким образом, они смогут определить степень распада радиоактивного изотопа углерода C^{14} с точностью до четырехсот лет. А это, понятно, не слишком большая точность. Поэтому необходимо вести дальнейшие поиски. И новые находки — остатки стен, предметы искусства, монеты, надписи, выбитые на камне, а может быть, и рукописи — помогут понять, какие люди и в какое время здесь жили.

Во всяком случае, коробочка эта, несомненно, принадлежала человеку, исповедующему зороастризм. А еще в 755 году в этих местах происходило восстание Сунбада против Аббасидов. Известно, что к Сунбаду присоединились группы зороастрийцев и последователи маздакизма — хуррамиты, которые

называли себя также людьми сурхалам — краснознаменными потому, что знамена их были окрашены в красный цвет. Таким образом, археологические раскопки в этом месте, возможно, прольют свет и на движение хуррамитов...

Но главное, что теперь, после находки Аллана, сюда, несомненно, прибудет настоящая археологическая экспедиция. Им же следует засыпать раскоп, потому что дальше работать кетменями уже недопустимо — кетмень слишком грубое оружие, им можно нарушить предметы или документы, представляющие наибольшую ценность для историка. Когда здесь начнутся настоящие раскопки, каждый комочек глины будет перебран пальцами. Он уверен, что экспедиция обязательно привлечет их к своей работе.

Аллану и его друзьям предложение засыпать раскоп, в котором они нашли такое сокровище, должно было показаться чудовищным. Но авторитет Володи был так непререкаем, что они заполнили раскоп камнями, а после этого еще принялись разбивать на куски и перебирать вынутую ими глину.

— Как ученый, я вас понимаю, — сказал впоследствии Володе Николай Иванович, — но как человек понять не могу. Как можно удержаться от того, чтобы самому не продолжать раскопки? Что же в таком случае дала вам эта поездка?..

— Не так уж мало, — ответил Володя. — Находка Аллана еще долго будет обсуждаться учеными всего мира.

— А хуррамиты?

— Возможно, археологические раскопки помогут и в этом... А что в крепости Митта зороастрийцы были, это уже и сейчас можно сказать с уверенностью...

О хуррамитах тут действительно не сохранилось никаких устных преданий. Но о движении Маздака, происходившем в царствование Кобад Первого (488—531 гг.), бывшего предшественником хуррамитов, здесь знали, и довольно хорошо. Старый Шаймардон рассказал о том, как были казнены Хосровом Первым маздакиты — их закопали в землю вниз головой, так что ноги торчали наружу, как чудовищный лес, и было их, по преданию, двенадцать тысяч.

Но вскоре Володя убедился, что о Маздаке здесь знают только потому, что о нем писал в «Шах-наме» Фирдоуси.

Жил муж, и Маздаком он был наречен,
Речист и разумен, советом силен,
Премудрым и доблестным мужем он был,
И храбрый Кобад к нему слух свой склонил...

И принял ученье Маздака Кобад.

Он думал, весь мир их делам будет рад...
И вера Маздака весь мир обошла,
И дерзкий не смел причинить ему зла,
Расстался богач с достойным своим,
Все бедному отдал, сравнившись с ним.

И может быть, не так уж не прав был Фирдоуси, когда в сатире на султана Махмуда писал:

Врагов я описал. Друзей я описал.
Я описал царей. Князей я описал.
Их слава унеслась. Могила их тиха.
Но я их воскресил бессмертием стиха.
Властители! Твой удел — безмолвная гробница.
Но я тебе помог в грядущее пробиться.
Я передал векам твой властный лик вождя.
Разрушатся дворцы от ветра и дождя,
А я из строф моих воздвиг такое здание,
Что входит, как земля, в господне мирозданье.

Нет, здесь, в кишлаке Митта, о хуррамитах никто не слышал. Но они оставили свой след, и не только в земле, не только в этой глине их раскопа, а в душах людей; их мечта о равенстве, их борьба за свободу не прошли бесследно. Ничто не проходит бесследно, думал Володя.

Володя стыдливо прятал свои босые ноги под себя, но каждый раз, когда он поворачивался, они вылезали наружу, большие, розово-белые, и, как казалось Володе, обращали на себя общее внимание.

Они сидели босые на белом войлочном ковре и перебирали рис. Володя набрал уже с горсть неочищенных зерен — шалы, крошечных, похожих на просо зернышек курмака — если рис не поливают, он так родит — и мелких камешков.

— О баракалла! — О молодец! — сказал старый Шаймардон, когда Володя показал крупный, величиной с горошину камень. — Своею зоркостью ты спас собственный зуб или зуб кого-нибудь из людей, которые будут есть этот плов вместе с тобой. Потому что каждый камешек — спасенный зуб.

Володя видел, как очищали этот рис от оболочек. На берегу Мухра стояли две колоды — ступы, наполненные до половины неочищенным рисом. Два деревянных песта, утяжеленных привязанными к ним сверху камнями, попеременно опускались в колоды, обивая кожуру. Их поднимало вверх вращение примитивного водяного колеса, затем они срывались, доходя до выемки, сделанной в грубом деревянном вале, падали вниз и снова поднимались вверх. Во всей этой машине не было ни одного гвоздя.

— Я бы не променял его и на десять баранов, — продолжал однорукий пастух Раджаб. — Никогда нельзя знать, кто больший пастух — человек или собака. Но мой пес понимает каждое слово. Еще скажу: он понимает даже то, что не сразу может понять пастух — с каким намерением подходит к стаду человек. Это все-таки удивительный пес.

Володя видел эту собаку. Это была горная овчарка величиной чуть ли не с теленка. Со страшной кудлатой мордой, из желтовато-серой грязной шерсти едва выглядывали словно прищуренные глаза. Она искоса посмотрела на Володю, и только силой воли он подавил желание показать ей спину.

— Так вот я и говорю, — продолжал Раджаб, — чем такое животное отличается от человека?

— Каким бы умным и полезным ни было животное, — с надежной рассудительностью бухгалтера заметил сосед Шаймардона Саид, колхозный счетовод, — сравнивать его с человеком нельзя, как нельзя сравнить тыкву с пятницей, — это просто разные вещи.

— Не такие уж разные, — обиделся за свою собаку Раджаб, — если собака, как зоотехник, ухаживает за больной овцой.

— Все животные, кроме человека, не знают, что они смертны, — сказал Саид. — И поэтому человек отделен от всех живых существ на земле.

— Человек знает, что он умрет, — ловко выбирая неочищенный рис, заметил старый Шаймардон, — но живет всегда так, словно ему предстоит жить вечно. Хотя рассказывают, что так было не всегда. Вы интересовались нашими старыми историями, — вежливо обратился он к гостю — Володе. — Так вот, рассказывают, что в те времена, когда пророк Мусса (Моисей) еще ходил по земле, люди знали срок своей жизни. Зашел однажды Мусса в один кишлак и видит, как человек построил дом без крыши. «Почему ты не делаешь крыши?» — спросил Мусса. — Ведь когда пойдут дожди, промокнешь и ты и твоё имущество». — «Я не доживу до осени», — ответил человек, — потому что срок моей жизни кончается летом, и что будет с моим имуществом, мне безразлично». Пошел Мусса дальше и видит, что другой человек отрубил саблей голову прекрасному арабскому коню. «Для чего ты это сделал?» — спросил его Мусса. «Я завтра умру и не хочу, чтобы на моем любимом коне ездили другие люди». Увидел Мусса в кишлаке этом, как какой-то человек сложил в кучу свои халаты и жжет их, как другой человек режет баранов и мясо бросает собакам, и взмолился Мусса аллаху единому, всемогущему: «Сделай

так, чтобы не знали люди срока своей жизни, ибо знание это творит несправедливые дела на земле». И сделал аллах по слову его. И я, старик, перебираю рис и выбираю из него камешки, которые могут сломать немногие оставшиеся у меня зубы, в то время как, может быть, следовало бы мне готовить для себя саван.

«Притча,— подумал Володя.— Это только притча. Хотя действительно человек знает, что смертен, а животные не знают. Но ведь к людям, а не к собакам обращался Конфуций, когда писал: «Если ты не знаешь жизни, что ты можешь знать о смерти?»»

Глава сорок четвертая, в которой не происходит ничего такого, что меняло бы ход повествования

И вот я одна-единственная запаслась
у вас таким грузом печали, что никто не
понесет его вместе со мной.

Калила и Димиа

Больше всего он боялся этой встречи. Однажды осколок снаряда на излете, тот, что летит со страшными завываниями, похожими на гудение большого жука, и совершает иногда самую неожиданную траекторию, влетел в окоп и вонзился в живот политрука Еременко. Политрук упал на спину, охнул и закричал: «Помогите!» «Фельдшера!» — приказал Шарипов. Но пока бегали за фельдшером, он склонился над политруком, взял осколок за край — он торчал наружу, зазубренный, оборванный, — и потянул его. Осколок рвал тело, а он тянул его, и до сих пор помнил особое ощущение, которое осталось у него и после того, как он вытянул осколок и перевязал политрука, — он почувствовал, что у него словно отвердели скулы, стали жесткими и чужими. А люди, которые при этом присутствовали, говорили, что у него тогда было такое спокойное лицо, словно он всю жизнь был хирургом.

И вот теперь снова не покидало его это странное ощущение, хотя прошло уже больше двух часов, как он ушел от Зины.

Станный это был разговор.

— А, Давлят,— сказала Зина так, словно он только что вышел и сейчас же вернулся.— Ты не волнуйся. Я вполне нормальная. Все думают, что я сумасшедшая, а я нормальная, хотя очень бы хотела сойти с ума. Мне бы тогда было легче. Но я просто не могу.

— Я хотел спросить,— сказал Шарипов с трудом,— не нужно ли чего-нибудь, не могу ли я чего-нибудь сделать?

— Нет,— сказала Зина и улыбнулась как-то странно, застенчиво и вместе с тем проникательно.— Мне и прежде немного нужно было. А уж теперь...

Шарипов молчал. Зина смотрела на него спокойно, все так же улыбаясь своим мыслям. Плоское лицо ее с подглазьями цвета синеватого пепла сегодня казалось удивительно похорошевшим, и в этом было что-то особенно неприятное и страшное.

— Странно,— сказала она вдруг,— вот как ты думаешь, все люди знают, что когда-нибудь обязательно умрут?

— Думаю, что все,— нерешительно ответил Шарипов.

— Но ни один человек не знает, когда это должно случиться. Если бы я знала, что ему осталось так мало, я бы его освободила.

— От чего освободила? — не понял сразу Шарипов.

— От себя. Чтоб он устроил свою жизнь так, как ему хотелось. Как он мечтал...

Шарипов пожал плечами.

— И все-таки,— спустя минуту продолжала Зина.— Вася — это было самое лучшее из всего, что я видела в жизни. Ах, Давлят,— усмехнулась она,— разве ты понимаешь, что это значит — держать в руках самое дорогое для тебя из всего, что есть на свете, и чувствовать, что его нужно отдать... Освободить...

Зина вдруг строго и внимательно посмотрела на Шарипова и спросила:

— Ты женишься на этой своей Ольге?

— Очевидно, женюсь.

— Мне она не нравится. Не такая, по-моему, должна быть жена. Она полов как следует не вымоет, белья не постирает — будет в прачечную носить или женщину наймет, которая в три раза старше ее и в пять раз слабее. А может, это и зависть во мне говорит — молодая, красивая, в детстве нужды не знала, не пережила войны. Живы ее родные и близкие. Но я тебе так скажу: если женишься, постарайся, чтобы сразу был ребенок. Это дело не мудрое, а для человека иногда самое важное. Жив был бы сейчас мой Сашка, легче мне было бы.

— Какой Сашка? — не понял Шарипов.

— Был такой человек,— ответила Зина.

— Хорошо,— сказал Шарипов.

Молча он наблюдал за тем, как Зина взяла носовой платок, сложила его в несколько раз и стала ножницами вырезать на нем узоры, как это иные делают на бумажных салфетках.

— Этот человек целился ему в голову или случайно попал?

— Целился,— ответил Шарипов.— Их там обучают стрелять по звуку.

— А ты бы стал стрелять в людей, если бы было так безвыходно, что решил покончить с собой?

— Не знаю,— ответил Шарипов.— Могло случиться и так, что стрелял бы.

— Лучше все-таки не стрелять.

Она разложила на столе платок так, что сквозь прорезанные ею отверстия проглядывала темно-синяя скатерть.

— Больше никого не нашли? — спросила Зина.

— Нет. Пока не нашли.

Эта смерть сделала его таким подозрительным, каким он еще никогда не был. Он становился подозрительным, как Степан Кириллович. И боялся этого в самом себе.

Когда он проходил по вестибюлю гостиницы после обыска номера, он услышал, как человек, сидевший за столиком в ожидании, пока ему оформят документы, сказал своей собеседнице, молодой, нарядной женщине: «Ну и денек же сегодня. Кто умер, пожалеет».

Он резко повернулся и потребовал у этих людей документы. С каким негодованием предъявили они ему свои паспорта. Нет, они ничего не знали о событиях, которые здесь произошли. Это было случайное совпадение. Как говорили в таких случаях юристы: «Ошибочное умозаключение о причинной связи явлений на основании их совпадения во времени».

— Остались какие-нибудь чертежи или записи? — спросил Шарипов.— Новой конструкции пистолета? Которой Вася занимался?.. Перед этим?

— Нет,— сказала Зина.— Ничего не осталось. А если бы осталось, я бы не дала. Хватит пистолетов. Старых конструкций.

— Это не так,— строго сказал Шарипов.— Оружие нужно. Нам. Самое лучшее.

— А они сделают еще лучше,— глухо ответила Зина.— То они, то вы. А пока убивают.

— Пистолет не игрушка,— сказал Шарипов.— Пистолет — это средство в борьбе. Вася понимал, что это средство в борьбе. Хоть относился к нему, как к игрушке.

— Игрушка,— повторила Зина.— Но почему ему так разнесло голову?..

— Так всегда бывает,— сказал Шарипов.

Медицинский эксперт Суматров долго распространялся о том, что в соответствии с законом Паскаля, который говорит, что в жидкости давление расходуется с одинаковой силой во все стороны и пропорционально площади, удар пули в жидкость равносильна взрыву внутри нее. Поэтому если выстрелить в наполненный жидкостью сосуд, или в арбуз, или яблоко, они разлетятся на куски. А при попадании в мозг разбивается черепная коробка. Раньше это явление объясняли гидравличе-

ским давлением, возникающим при ударе пули в жидкость, но известный немецкий баллистик Кранц доказал экспериментально, что пуля придает частицам тела, в которое попала, значительную кинетическую энергию. Эти частицы становятся сами как бы маленькими пулями и, в свою очередь, передают энергию соседним частицам...

— Так всегда бывает, если пуля попадает в мозг,— повторил Шарипов.

Зина молчала. По лицу ее прошла странная судорога — такая, словно щеки сдавили ладонями и оттянули книзу, к подбородку.

— Врач приходил? — спросил Шарипов.

— Приходил. Другого не надо присылать, потому что и другой, так же как этот, признает меня нормальной. Только напишет в справке, что я пережила тяжелое потрясение. Так ты это и без него знаешь. Послушай, Шарипов,— сказала она с неожиданной силой,— почему так получается? Почему, как только убили вашего товарища, вы все стараетесь посадить в сумасшедший дом его жену? Чтоб не возиться с ней? Так со мной не нужно возиться. Дайте мне только немного прийти в себя.

— Зачем ты выдумываешь такую чепуху? — сурово сказал Шарипов. Прежде он обычно избегал говорить ей «ты». — Никто не собирается от тебя избавляться. И если тебе в голову приходят такие мысли, то это в самом деле мысли нездоровые и страшные. Тебе нельзя быть одной. Если хочешь, давай я пока здесь поселюсь. А потом, когда женюсь, будем жить вместе.— И, предупреждая ее возражения, продолжал: — А если это не годится, давай придумаем что-нибудь другое. Может быть, пойдешь работать в больницу, чтобы быть как-то с людьми.

— Ты никогда не замечал, что у меня дрожат руки? — спросила Зина.

— Нет, не замечал,— ответил Шарипов резко.

— А они дрожат. Ты бы хотел, чтобы тебе сделала укол медсестра с дрожащими руками?

— Значит, нужно пойти санитаркой,— сказал Шарипов.

— Я уже была санитаркой,— улыбнулась Зина.— Я уже два раза была санитаркой. Выходит, что придется пойти в третий. И вот потому-то не нравится мне твоя Ольга. А может быть, я ей и завидую... Завидую, что если бы в тебя выстрелил человек, который умеет точно попадать по звуку, то она бы в санитарки не пошла.

Глава сорок пятая, в которой друзья едят форель и справляют поминки по Ведину

Передавал нам Абу Бекр Мухаммед ибн Исхак, со слов Яхьи ибн Али ибн Рифаа, известного в обоих Иранах своей правдивостью, ссылавшегося на Абу Али аль-Хасана ибн Касима-египтянина, который ссылался на Мухаммеда, сына Закирии аль-Алляни, говорившего со слов своих наставников, а последний из них опирался на Самду ибн аль-Мусаяба и сына его Абдаллаха, да будет доволен аллах ими обоими, что оставил Абу Убейд аль-Касим ибн Аббас, да благословит его аллах и приветствует! — для людей восемнадцать мудрых изречений, среди которых есть такое: «Мало, очень мало знаем мы о людях, о причинах их поступков, слов и мыслей. И в этом большое счастье для людей и милость аллаха. Ибо если бы мы знали больше, мы не смогли бы осудить ни одного человека».

Абдаллах ибн Юсуф аль-Азди

Степан Кириллович взял из багажника автомашины саперную лопатку и прокопал перпендикулярно к крутому глинистому берегу речки длинную узкую канавку глубиной в руку до локтя. Он накрыл ее сверху прутьями и дерном, а в конце устроил круглую яму. В канавку сложили сухой хворост вперемежку со свежими ветками, затем из заполненной водой ямы, которую они вырыли на самом берегу, он вынул с десяток отливающих радугой форелей. Он сам выпотрошил их, и, убедившись, что форели хорошо просолились в яме на берегу, куда они высыпали пачку соли, он натывал рыбу на прутья и развесил ее на стенках круглой ямы.

Лоза загорелась, и по канаве, как по дымоходу, в круглую яму потянулся горячий и густой дым свежей лозы.

Он сделал все, как учил его когда-то этот анархист Лопес, который вначале хотел его расстрелять, а затем стал его другом. Даже лоза была похожей и та же самая чудесная рыба горных ручьев — форель.

Да, это уже было, думал Степан Кириллович. Так же сверкала река и точно так же на дорогу выбежал такой же белый осленок с большими черными глазами, длинными ушами и сморщенным лбом.

Но вино было другое, не «Гурджаани», но очень похожее на «Гурджаани» — «Вельдепеньяс» из Сюдад-Реале. И еще

они пили тогда дешевую водку «Манцанилла» из Хереса. И кусывали они тогда козьим сыром, белым хлебом и еще укусным соусом, в который был густо, как рис, крошен лук.

«Да,— думал он,— и такое же палящее солнце, и ослики, которые паслись невдалеке, пощипывая своими мягкими, бархатными губами колючки, вонзающиеся в человеческие руки, как иголки. И не потому ли меня всегда так тянуло в Таджикистан, что это во многом похоже... И так же мы готовили рыбу, когда шальная, а может быть и не шальная пуля — не знаю до сих пор — попала в шею Бернардо. Только рыбу натыкал на прутья Лопес, а я перчил, и он все требовал побольше перца...

И все-таки,— подумал Степан Кириллович,— когда говорят «история рассудит», это не громкие слова, а только подтверждение человеческого опыта, который показывает, что история впоследствии все довольно точно расставляет на свои места...

И только иногда... Не могу понять, до сих пор не могу понять, каким образом этот высокий, смешной человек в пыльном шерстяном костюме цвета пакли, с большой флягой на боку, этот Хемингуэй мог сразу понять... Ведь он знал меньше нас и не сталкивался с Андре Марти, а все-таки написал, что Андре Марти — негодяй и предатель, а мы узнали об этом чуть ли не через двадцать лет после того, как он написал это, прямо и беспощадно написал это в своей книге...

Да,— думал он, поворачивая рыбу,— но история так или иначе все расставила по своим местам. А что же скажет она, эта история, о нашей жизни? Посмеется ли она над тем, что мы сидели на берегу и готовили по-испански форель и справляли поминки по Ведину в то время, как воры разгуливали в нашем доме, или подивится тому, как сложно, как непросто было нам оберегать свой дом и сохранять мир с соседями...

Он всегда требовал от своих сотрудников, чтобы они, занимаясь самыми запутанными и сложными делами, вовремя завтракали и обедали и, если этого не требовали особые обстоятельства службы, вовремя ложились спать, и читали газеты и книги, и ходили в гости.

«Не горячитесь,— часто повторял он.— У нас не горячатся. Мы у себя дома. Это они к нам пришли. Не мы их, а они нас боятся. Не нам, а им нужно прятаться. Поэтому не горячитесь. Нужна свежая голова. Пусть они горячатся».

Вот и сегодня, в воскресенье, он собрал нескольких своих сотрудников и предложил поехать ловить рыбу. «Ведина поймаем»,— говорил он тем, кого приглашал с собой.

Вчера вечером перед тем, как сдать в архив, Степан Кириллович просмотрел личное дело Ведина, и сейчас вспомнилась ему одна из первых характеристик, полученных Вединым по окончании специального училища.

«Лейтенант Ведин высокого роста, отлично сложен, крепок, здоров; любит спорт, отличный стрелок, хороший фехтовальщик. Ездок верхом средний. Умственно развит хорошо, способностей отличных, читает мало; в фактах разбирается медленно, но глубоко — умеет в коротких выражениях выразить суть дела. По натуре человек своенравный и самовольный, самостоятелен и решителен. При мягком обращении более податлив, при резком делается строптивым и упрямым. В последний год в характере лейтенанта Ведина заметно улучшение, стал выдержанней и спокойнее. Воспитан, с товарищами живет дружно, сходится скоро, но ни с кем не переходит на «ты». С начальством корректен. Образ жизни ведет умеренный, вино пьет, но знает меру и место. В служебном отношении талантлив, работник настойчивый, обладает способностью поправить работу. К занятиям чисто канцелярского свойства относится без любви. Предан делу партии, не болтлив, умеет хранить военную тайну. Заслуживает присвоения звания старшего лейтенанта».

Там, в этом училище, очевидно, у Ведина командиром был человек, способный «в коротких выражениях выразить суть дела». Но как переменялся с тех пор Ведин, как сильно отличались от этой все последующие характеристики. Все чаще и чаще встречались в них слова: «Крайне замкнут. Молчалив. Безукоризненно исполнительен». Не потому ли он так странно погиб? Так странно, что в первую минуту у Степана Кирилловича мелькнула мысль — а уж не самоубийство ли это?

«Поминки,— думал Степан Кириллович.— Не для того, как говорилось в церковной службе: если мертвые не встанут снова, то будем же есть и пить, ибо завтра мы умрем. А для того, что это мужественный обычай, что погиб наш товарищ и каждому тяжела его смерть, но мы не лицемеры, не ханжи, мы знаем, что жизнь продолжается. И вот мы собрались и действительно едим и пьем, и почтили этим его память, но не потому, что «завтра и мы умрем», а потому, что мы делаем общее дело и знаем, что в этом деле не бывает без жертв».

«Лучше синица в кулаке, чем журавль в небе»,— говорила пословица. Он тоже так считал. Лучше синица в кулаке. Но теперь он думал обо всем этом совсем по-другому. Лучше журавль в небе, чем синица в кулаке. Пусть недостижимый,

пусть далекий журавль общего счастья, общего процветания, чем маленькая, зажата в кулак синица личного успеха. Только слишком поздно ты к этому приходишь, генерал, думал Степан Кириллович. У каждого человека в молодости бывает своя ахиллесова пята. Но в старости иногда случается так, что эта ахиллесова пята оказывается со всех сторон, куда бы ни ткнуть человека. И тогда главным делом его жизни становится желание скрыть, уберечь эту пята.

С первого класса его сын Сеня учился с сыном директора школы Виктора Михайловича, с Ваней Ивановым. И вдруг Виктора Михайловича арестовали. И вот тогда Степан Кириллович, глядя прямо в глаза сыну, сказал: «Больше туда не ходи. Не маленький — сам понимаешь».

Но неужто он, кавалер ордена «Лавры Мадрида», так держался за свое незначительное лицо и сказал Семену не ходить больше к Ивановым только потому, что боялся за себя, а не за дело? Неужели это была забота не о деле, а о себе?..

«Ты уже не будешь генералом! — твердил Косме Райето. — Ты уже не будешь генералом!» — повторял он, вгоняя ему под ноготь швейную иголку.

Его тогда звали «генералом». Это было его прозвище. Возможно, потому, что он меньше всех был похож на генерала со своим незаметным, незначительным лицом. И Косме Райето твердил: «Ты уже не будешь генералом». Но вот он стал генералом, и не хуже, чем другие.

«...Поминки, — подумал Шарипов. — Я не мог не прийти. Но буду всегда жалеть и никогда не прощу себе, что пришел. Что может быть хуже, подлее этого обычая? Ни одному животному, собаке не придет в голову жрать сразу после того, как убили ее щенка. К чему это? Чтобы еще больше ощутить преимущество живых перед мертвыми? Чтобы показать самим себе — вот нам все нипочем, даже смерть близкого. Как это гадко, как это бесстыдно и цинично! И неужели они все не понимают этого? Или так же, как я, пришли потому, что генерал предложил, потому что таков обычай, а самим так же стыдно? И так же, как я, давятся каждым куском?..»

Поминки... Станные поминки, на которые не была приглашена даже жена покойного.

«Она бы в санитарки не пошла», — вспомнил Шарипов слова Зины.

«А зачем ей идти в санитарки? — думал он, наблюдая за

тем, как рассекает на мощные струи воду большой камень, торчащий у самого берега. — И что бы изменилось от того, пошла бы Ольга или не пошла в санитарки, если бы «человек, умеющий точно попадать по звуку», выстрелил бы не в него, а в меня? Ничего. Это ничего не меняет. Ольга осталась бы такой же, как была. И все-таки то, что сказала Зина, как заноза. Мешает. Не имеет никакого значения, а мешает так, что я уже не могу смотреть на Ольгу прежними глазами».

Ведин только что погиб. Еще кабинет его был кабинетом Ведины, и конь — конем Ведины, еще звонил телефон и спрашивали Ведины, и приходили в его адрес бумаги, а уже он был далеким, далеким, и эти поминки устроены словно для того, для чего кладут на могилу тяжелую надгробную плиту — словно из страха, что мертвый вернется к живым, словно из желания придавить его камнем...

И странное дело, думал Шарипов, Зина, которая прежде казалась ему эдаким довеском, нелепым и ненужным довеском к Ведину, сейчас в его представлении слилась с его покойным другом, и то, что она говорила, звучало для него голосом Ведины и словами Ведины.

Слушали они когда-то вместе с Вединым грустную и смешную песенку о двух друзьях, которые были в одном полку и постоянно ссорились. «И если один из друзей грустил, смеялся и пел другой». Но вот один из этих друзей был ранен в бою, другой ему спас жизнь, а затем, как это часто бывает на военной службе, их послали в разные стороны — одного на север, а другого на Дальний Восток.

«Друзья усмехнулись: ну что ж, пустяк.

Пой песню, пой.

— Ты мне надоел, — сказал один.

— И ты мне, — сказал другой».

А затем оба тайком прослезились.

В песенке не говорилось о том, кто же из этих друзей первым сказал: «ты мне надоел». Но и Шарипов и Ведин единодушно решили, что сказал это именно тот человек, которому другой спас жизнь. Тот, который спас товарища, никогда бы себе этого не позволил. Даже в шутку.

«И Зину сюда не пригласили. А если бы поминки были по мне, то Ольгу можно было бы позвать, и ее бы, наверное, позвали. Потому что она была бы как все и думала бы как все. И в санитарки она бы не пошла».

Недалеко от Шарипова, на камне, заменявшем стул, сидел Аксенов — человек, который легко мог оказаться на месте Ведины при выстреле из сарайчика и на месте Шарипова рядом

Глава сорок шестая, в которой автор разоблачает убийцу человека в афганском халате

Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни.

Б. Спиноза

с Ольгой. Шарипов посмотрел на Аксенова и снова подивился про себя его странно переменившемуся лицу с высоким лбом и четко очерченными губами, с постоянным выражением твердости и холодной вдумчивости. Это был теперь совсем другой человек, недобрый, скорее плохой, чем хороший, и все же, как это ни удивительно, вызывавший значительно большее чувство уважения, чем прежний Аксенов.

«А каким был в молодости генерал Коваль?» — спросил у себя Шарипов и посмотрел на Степана Кирилловича. Он сидел на таком же камне, как и все остальные, в своем новеньком генеральском кителе. На левой ладони он держал лист лопуха с только что вынутой из ямы форелью горячего копчения, а правой рукой разбирал рыбу, отделял мякоть и липкими пальцами подносил ее ко рту, бережно и спокойно. Его плечевая короткая шея стала тоньше и словно длиннее. На лбу у него появились высокие залысины, а волосы за последнее время сильно поредели. И Шарипов вспомнил, как Ведин однажды рассказывал о том, кто и как лысеет. По словам Ведины, в сибирском селе, где он родился, говорили, что умные люди лысеют с затылка, потому что перед тем, как что-нибудь сделать, на что-нибудь решиться, обязательно почешут в затылке, подумают, все взвесят, а волос, понятно, при этом на затылке вытирается. Глупый человек наоборот: сначала делает, а потом жалеет: «Ах, зачем я так поступил», и все хлопает себя ладонью по лбу, волос вышибает.

Но жалел ли когда-нибудь Степан Кириллович, хоть ночью, хоть наедине с собой, с собственной совестью, о том, что он делал в жизни? Трудно сказать. Залысины на лбу — слишком слабое доказательство.

Но ведь это Степану Кирилловичу принадлежали слова: «Если увидишь гадину, не раздумывай о том, что отец ее был гадом, а мать — гадиной, что всю жизнь обращались с ней гадко, что вокруг себя она видела преимущественно гадов, а просто раздави ее». И лишь в последнее время он стал добавлять: «Если сможешь...»

У него уже давно было то состояние, которое психологи называли абулией, — состояние, при котором безвыходность ситуации порождала убеждение в бесполезности всякого действия.

«Но неужели инстинкт самосохранения, инстинкт жизни во мне настолько силен, — думал мулло Махмуд, — что именно он направил мою руку? Нет. Я думал о себе меньше, чем обо всех остальных. Это просто было то самое движение, которое заставляет человека задавить скорпиона или убить ядовитую змею. Независимо от того, угрожает ли она тебе, угрожает ли она другому или даже вообще никому не угрожает».

Мулло Махмуд приподнял край циновки, на которой сидел, и сплюнул на глиняный пол слюну, зеленую от жевательного табака.

Людям значительно чаще случается видеть собственную смерть, чем они это предполагают, думал он. Алкоголик, который стоит перед витриной магазина, заполненной бутылками с прозрачной жидкостью, вбирающей свет ламп. Сапер, который, усевшись на mine, как на придорожном камне, закусывает сэндвичем с беконом. Или, как помнил он с детства, их служанка Элизабет. Она купила веревку и хвалила ее — такая прочная, такая белая, — а после повесилась на этой веревке на чердаке, когда моряк, пообещавший на ней жениться, утащил все ее сбережения и сбежал.

Он тогда тоже увидел собственную смерть. И надо сознаться, выглядела она совсем не страшной и довольно симпатичной. Человек лет тридцати пяти — сорока, с руками хлопко-роба, в одежде афганского крестьянина, вежливый и нервный, с хорошим произношением как в таджикском, так и в английском языке. С очень хорошим произношением, хотя, несомненно, и тот и другой язык не были его родными языками, и очень трудно было догадаться, на каком же языке говорил он в детстве.

Ему был искренне интересен этот человек, направленный сюда для того, чтобы лишить его, мулло Махмуда, жизни. Странно, но он не собирался сопротивляться. Жизнь он прожил не так. Начинать сначала было поздно, и ко всему, когда он увидел этого человека, он почувствовал страшную усталость.

Как это ни нелепо, но мулло Махмуд отметил про себя, что такой человек может понравиться. Это был неразговорчивый и исполнительный человек. Раздражала только его нервозность. Мулло Махмуд за эти годы привык к тому, что он всегда сидит на почетном месте, в центре, против двери. А приезжий не мог сидеть спиной к двери, он садился так, чтобы видеть того, кто войдет, рядом с мулло Махмудом, и это мулло было неприятно.

— Так вы собираетесь вернуться? — спросил он у мулло Махмуда.

Мулло ответил не сразу. Он знал, что после того, как он скажет «нет», раздастся хлопок бесшумного пистолета, и все будет кончено.

— Нет, — сказал он. — Я останусь здесь.

Выстрела не последовало.

— Что ж, это правильно, — ответил приезжий. — Вы уже пожилой человек, и начинать жизнь сначала вам будет трудно.

«Как же все-таки это произойдет? — думал мулло. — Очевидно, не пуля. Возможно, нож? Тоже едва ли. Скорее всего яд».

Они молча сидели на ватном одеяле против двери. Мулло Махмуд заварил чай, затем налил его в пиалы. Приезжий, по-видимому, очень проголодался — большими кусками, почти не разжевывая, он глотал куски лепешки, холодную бараину. Вдруг он пристально и испуганно посмотрел на дверь. Мулло машинально оглянулся и сейчас же заметил, как отдернулась рука приезжего.

«Значит, действительно яд», — понял мулло Махмуд.

Ну что ж, это было гуманней, чем он даже мог рассчитывать. Нужно было только выпить пиалу. А может быть, достаточно и одного глотка. В таких случаях работают без промаха.

Он взял пиалу в руки, но затем снова медленно, бережно опустил ее на достархан.

Только на минуту. Только для того, чтобы не тряслись руки. Чтобы выпить ее сразу. Залпом. Чтобы сразу подействовало.

Не стоило даже ждать этого человека. Такую пиалу он должен был приготовить для себя сам. И уже давно. Кому он нужен? Никому... Совсем никому.

И вдруг он подумал о том, что утром к нему придет кузнец усто Кадыр за травами — мулло лечил его от ревматиз-



ма — и найдет мулло уже мертвым. И неизвестно, избавился ли сын Саида от глистов... И он выпьет эту пиалу и навсегда уйдет, а такие люди, как этот Смит, или, как там его звали, хищник и убийца, или этот исполнительный негодяй в афганском халате останутся...

На краю достархана лежал широкий, тяжелый, изумительно сработанный нож, который мулло получил в подарок от своего пациента усто Кадыра. И неожиданно для себя мулло Махмуд, в свою очередь, пристально посмотрел в окно за спину человека в афганском халате, а когда тот нервно оглянулся, схватил нож и неумело, неловко ударил им, как саблей, по затылку приезжего.

За всю свою жизнь он не зарезал и цыпленка. Он очень испугался, когда увидел, что человек этот ничком, лицом вперед упал на циновку, а из затылка густо полилась кровь. Он пытался перевязать раненого, но не мог остановить кровь. Очевидно, лезвие задело какой-то жизненно важный центр. Приезжий умер у него на руках. Тогда он с трудом — где только взялись силы — перетащил приезжего до коня — это было какое-то странное и острое проявление инстинкта жизни, думал он впоследствии, — усадил в седло — судьба помогает убийцам, думал он, — и он никого не встретил и в поводу повел коня к Мухру. Конь очень сопротивлялся, он не хотел входить в воду.

«И все равно,— думал мулло Махмуд,— я не жалею об этом. Я не радуюсь этому, но и не жалею. Я только не хочу, чтобы это продолжалось. Чтобы это продолжалось для меня и начиналось для этого толстого и смешного русского ориенталиста. Глупо думать о долге человеку, который всю жизнь не делал того, что нужно, и делал то, что не нужно. И все-таки — это теперь не желание, а долг».

Перед тем как переступить порог, Володя присел на глиняный пол, снял ботинки, с сомнением посмотрел на свои не слишком свежие носки и лишь затем вошел в комнату мулло Махмуда.

Обратив лицо к Мекке, мулло Махмуд произносил четвертую из пяти обязательных молитв — намази шом.

Не обращая внимания на замершего у порога Володю, стоя, подняв руки до уровня плечей, мулло сказал: аллах акбар — аллах превелик. Затем, вложив левую руку в правую, он прочел первую суру корана — фатиху. После этого он склонился так, что ладони коснулись колен, выпрямился, поднял руки и произнес:

— Аллах слушает того, кто воздаст ему хвалу.

Володя подивился про себя легкости и даже грации, с какой старый мулло опустился на свой узкий молитвенный коврик, сначала став на колени, затем приложив к земле ладони и, наконец, распростершись так, что коснулся пола носом. «Это как зарядка,— подумал Володя.— Пять раз в день. Зимой и летом. Без выходных».

Мулло сначала вправо, а потом влево произносил традиционную формулу: «Да будет на вас приветствие и милосердие аллаха», не вставая с колен, присел на пятки и снова растянулся на коврике.

Володя молча, затаив дыхание замер у порога, но не уходил, так как мулло просил его прийти по поводу какого-то важного и срочного дела. Мулло Махмуд закончил молитву. Он провел руками по бороде, обернулся к Володе и предложил ему войти в комнату и сесть.

Володе показалось, что мулло смущен его приходом. И не потому, что мулло ничего не говорил о деле, по какому он пригласил Володю,— Володя уже привык к этому, а потому, что мулло был как-то особенно озабочен.

Он незаметно взглянул на часы. Прошло уже более часа, с тех пор, как он пришел сюда, а они по-прежнему перебрасывались незначительными фразами о здоровье и погоде. Не-

сколько раз он порывался уйти, но мулло снова и снова наливал ему в пйалу зеленый горьковатый ароматный чай.

— От чая нельзя отказываться,— без улыбки сказал мулло Махмуд.— Как говорил поэт Кози Курбон-хон:

Кто чай зеленый пить из пйалы не рад,
Того ни проза, ни стихи не вдохновят.

И Володя медленно жевал аджилъ — фисташки, изюм и жареный горох и пил зеленый чай.

— Ва куллю гариб лильгариби насиб,— негромко, словно про себя, по-арабски сказал мулло Махмуд.

Володя насторожился. Это были известные стихи доисламского поэта Имру л-Кайса и обозначали они, что «всякий чужой для чужого родной». Сейчас в этих словах Володе почему-то послышалось что-то неприятное и угрожающее. Но он не удержался от того, чтобы не подчеркнуть своего знания стихов этого поэта, и сказал:

— Имру л-Кайс?

— Так,— подтвердил мулло Махмуд.— И вдруг спросил:— Вы с Давлятом Шариповым хорошо знакомы?

— Хорошо,— ответил Володя.— Мы с ним часто встречались... в одном доме.

— И вам нравится этот дом?— странно усмехнулся мулло.

— Нравится. Очень нравится,— повторил Володя, ожидая дальнейших расспросов, но мулло помолчал, а затем сказал неожиданно, тихо и медленно:

— Я хочу сделать вам один подарок. Я хочу, чтобы ценный предмет, полученный мною во зло, вы обратили в добро.

Он встал, вышел в переднюю комнату и вскоре вернулся оттуда с чем-то свернутым в трубку. Предчувствуя что-то особенно неожиданное и важное, Володя развернул пергамент и увидел перед собой лист куфического корана первого века хиджры. Он знал, что экземпляры такого корана насчитываются единицами во всем мире. Впервые в жизни он держал в руках этот большой лист пергамента с типичным старинным куфическим шрифтом. Наклон верхушек букв направо говорил о глубокой древности пергамента, о том, что он относится примерно к концу восьмого века, а в крайнем случае к началу девятого.

— Воистину, в ваших руках снова сверкает бесценное сокровище,— по-арабски сказал Володя.— Я не вправе принять такой подарок... Но был бы очень вам признателен, если бы вы поведали мне о его происхождении.

— Именно за этим я вас и пригласил,— странно усмех-



нулся мулло.— Этот пергамент не подделка. Это подлинник. И принадлежал он прежде Британскому музею.

— Вот уж действительно «и книги имеют свою судьбу»! — воскликнул огорошенный Володя.— Каким же образом попал этот лист из Англии в Таджикистан?

— Не удивляйтесь,— сказал мулло Махмуд.— Я сам его привез. Я не таджик. Я англичанин. Я сотрудник английской разведки. Я хочу, чтобы вы это знали.

Володя молчал. Он сидел на полу против мулло Махмуда, красный, потный, с выпученными глазами.

— Я ничего не понимаю,— сказал он наконец.— Вы не шутите? — Он надул щеки и поправил очки.

— Этим не шутят.

— И вы думаете,— сказал Володя по-русски,— что я буду молчать?.. Что я об этом никому не скажу? — все более волнуясь, перешел он на таджикский.— И поэтому подарили мне монету, а теперь лист куфического корана?..

— Нет. Я знаю, что ваша служба не позволит вам молчать.

— При чем здесь служба? И почему вообще вы сказали об этом мне? Вам нужно в милицию...

— И без милиции будет сделано все, что нужно. Сюда недаром приехал ваш коллега Шарипов.

— Вы ошиблись,— сказал Володя.— Я не работаю в разведке. И Шарипов, сколько мне известно, тоже. Он просто военный. Но должен вам сказать, что никогда не видел в лицо живого шпиона. И представлял себе их совсем другими. И мне очень жалко, что им оказались вы.

— Я не худший из них,— усмехнулся мулло Махмуд.

— Это неважно,— ответил Володя.

— Да, вы правы, это теперь не важно. Но этот лист корана вы все-таки возьмите себе. На память.

— Нет,— сказал Володя.— Мне это будет неприятно.

— Воля ваша... Что ж, в таком случае пойдем вместе к Шарипову? Или я подожду, пока вы его приведете сюда?

— Да, пойдем вместе,— сказал Володя, вставая с пола.

Глава сорок седьмая, о поисках места, где нет небес над головой

Те, кто умеет читать, сами заметят, что наиболее крупные недостатки этой книги нельзя ставить в вину ее автору, те же, кто не умеет читать, вообще ничего не заметят.

Скаррон

Многоцветные горы, смятые тектоническими движениями в причудливые складки, высились со всех сторон. Кое-где вверх по склонам карабкались корявая арча и кусты жимолости.

Дорога вилась в каменном ущелье, поднимаясь все выше и выше. Время от времени звонкое цоканье подков о камни сменялось глухим звуком. Конь попадал ногой на панцирь черепахи, которых тут, в ущелье, было очень много.

«Странно,— думал Шарипов,— но если вдуматься, то окажется, что на этой узкой и глубокой дороге, выбитой ногами поколений коней и ишаков, дороге, предназначенной лишь для верховых и пешеходов,— она была такой уже тысячелетия назад и останется такой же еще не один десяток лет — странно, но на этой дороге в эти дни сошлись прошлое, настоящее и будущее. Это по ней ехал к кишлаку Митта Неслюдов, для которого малоизвестный эпизод из жизни не слишком известного широкой публике героя средневекового Востока Бабека представлял самый горячий и самый глубокий жизненный интерес; я, Шарипов, который должен найти человека, передавшего за границу сигналы, крыващие страшную угрозу для жизни людей; и Ноздрин, который в поисках насекомых искал решение проблем теории поведения, проблем, связанных с жизнью, с радостями и огорчениями будущих поколений.

...Но если бы это было нужно, и Неслюдов и Ноздрин уступили бы мне дорогу. Потому что они, как и все остальные люди на земле, обеими ногами стоят в настоящем. В нем их жизнь, для него они думают над прошлым и трудятся над будущим...»

Но над будущим трудился и Ведин, весь перешедший в прошлое. Это он нащупал, что именно в кишлаке при лепрозории мог получить коня человек в афганском халате. И вот владелец коня был найден. Бек-Назар. Бригадир. Человек, у

которого при обыске в старом ковровом худжине нашли почти миллион рублей.

Длинные и узкие рукава красного с черной полоской туркменского халата скрывали кисти рук Бек-Назара. Но когда он вынул из-за поясного платка тыквочку с жевательным табаком и насыпал порцию на ладонь, Шарипов увидел на этих руках белые бесформенные пятна. Из-за них еще в юности Бек-Назар попал в селение при лепрозории, хотя, как засвидетельствовал Маскараки, он был совершенно здоров.

— Значит, вы продали своего коня неизвестному вам человеку? — спросил Шарипов.

Узкие глазки Бек-Назара с эпикантусом — характерной для монголоидов особой кожаной складочкой, закрывающей слезный бугорок во внутреннем углу глаза, — еще больше прищурились.

— Да, я получил за него деньги.

— Вы слышали, что у Раджаба из кишлака Митта стоит найденный им конь, который прежде принадлежал вам?

— Нет, не слышал.

Бек-Назар медленно провел рукой по своей реденькой, клинышком монгольской бородке.

— Для чего вы в таком случае ездили в кишлак Митта? — спросил Шарипов.

— Я ездил в Савсор. Я только проезжал через кишлак Митта.

— Вы видели коня, которого нашел Раджаб?

— Видел. Но это был не мой конь. На нем было мое седло. Но конь это был совсем другой.

Да, этому Бек-Назару было достаточно одного взгляда, чтобы отличить чужого коня от своего, хотя эксперт-коневод гарантировал полное тождество.

— Расскажите еще раз о том, как к вам пришел этот человек в афганском халате, о чем разговаривал с вами, почему он обратился именно к вам.

— Я вам уже два раза рассказывал об этом.

— Расскажите еще раз. И будете рассказывать до тех пор, пока не скажете правды.

Бек-Назар снова и снова повторял свою версию. Он ничего не знает. Этого человека он видел впервые. Тот проходил по кишлаку, увидел коня Бек-Назара и попросил продать. Бек-Назар продал.

«Но почему Бек-Назар все-таки помогал этому человеку? — думал Шарипов. — Что ему нужно было? Деньги? Как Волинскому — слава?»

«Но как это писал Шохин? — вспомнил вдруг Шарипов. — Почему так много лет тому назад он подумал, что небо может стать для людей самым опасным и страшным местом? Что подсказало ему эти строки:

Любой тропой, хотя б и роковой,
Туда, где нет небес над головой...

Нет такого места. И государственная безопасность — это действительно безопасность государства. И в этом Степан Кириллович прав. И в том, что важнее всего отличать главное от второстепенного, как говорил он о партийности, он тоже прав. Но нужно отличать. И просто сказать: «Если увидишь гадину, не думай, что отец ее был гадом, а мать гадиной, и обращались с нею гадко, и вокруг себя она видела преимущественно гадов, а просто раздави ее...» Но нужно точно знать, точно отличать: гадина ли это? И еще неизвестно, к чему относятся слова Степана Кирилловича «если сможешь». К тому, сможешь ли раздавить, что всегда проще, или к тому — сможешь ли отличить...»

Слева круто вниз опускалась почти отвесная стена ущелья, и шума реки внизу не было слышно, а справа поднимался крутой глинистый склон, конь жался к этому склону, и Шарипов не знал почему: то ли потому, что это он, Шарипов, незаметно для самого себя машинально подтягивал повод справа чуть-чуть сильнее, то ли потому, что сам конь остерегался края узкой каменистой дороги.

«Может быть, и тот, за кем я еду сейчас, — думал Шарипов, — тоже умеет точно попадать по звуку... Но нет иного пути, иного выхода...»

В этой поездке его не ждало ничего, кроме трудной работы и огромной ответственности. Он должен был ехать в кишлак Митта один. Чтобы не вспугнуть. Чтобы не сорвать дела, которое налаживалось с таким трудом. Все следы вели в этот кишлак, где жил его старый дедушка Шаймардон, и оставалось только определить, кто же в этом кишлаке убил человека в афганском халате.

«Кто это?» — думал Шарипов. Он знал в Митта каждого человека. Там жили его родственники и друзья. Люди, которым он верил. Там не было новых людей. Следовательно, это был кто-то из тех, с кем он часто встречался, кого видел и знал. Человек, с которым он, профессиональный контрразведчик, ел с одного блюда плов, был шпионом. Убийцей. Снова и снова он перебирал в памяти соседей своего деда Шаймардона и снова и снова отбрасывал нелепые подозрения.

«Что же здесь главное? — думал Шарипов. — Что второстепенное?»

Когда он еще учился в школе, военруком у них был уволенный из армии по болезни старший лейтенант Мельников. Он казался им тогда странным человеком. Да он и был странным человеком. Когда он слышал о том, что кто-то из учеников читает книги, или огорчен тем, что получил плохую отметку по естествознанию, он в изумлении разводил руками: «Для чего это нужно? Лучше научитесь как следует располагать брестер индивидуальной ячейки или займитесь материальной частью ручного пулемета системы Дегтярева. Немецкие фашисты готовят войну. А на войне вам будет нужен не Пушкин или этот Фирдоуси, нужно будет знать, сколько патронов помещается в диск и как устранить из патронника патрон с оторванной шляпкой».

Он устраивал для школьников военные игры и походы. Он организовал стрелковый кружок и каждый день после занятий собирал старших учеников и учил их стрелять. Он учил школьников строевому шагу и сверх программы штудировал с ними БУП — боевой устав пехоты, часть первая. Он был настойчивым человеком, этот Мельников. И большинство мальчиков — старшеклассников их школы стали военными. И действительно, всем им очень пригодилось все то, чему научились они у Мельникова, и не раз вспоминали они его добрым словом. И в самом деле; в бою значительно важнее было знать, как устранить без экстрактора патрон с оторвавшейся шляпкой, чем помнить наизусть последний монолог Чацкого.

И все-таки не только военрук Мельников, который считал свой предмет главным, сделал из них хороших воинов, а сделали их такими, что они могли противостоять великолепно обученной и отлично подготовленной немецкой армии, учитель таджикского языка, который прививал им любовь к Фирдоуси, Хайяму, Руми, и учитель русского языка, который читал им Пушкина и Грибоедова, и учитель истории и географии, и математики и физики. Попробуй теперь скажи, что здесь было главным, что второстепенным?

...Старый Шаймардон священнодействовал над пловом.

— Я здоров, совсем здоров, — повторял он, — но все-таки очень хорошо, что ты приехал и навестил меня, потому что я, как это бывает у стариков, плохо сплю, и ночью мне иногда кажется, что уже немного осталось, и я думаю о тебе, и жду тебя...

Шарипову было стыдно сознаться, что он приехал сюда

не для того, чтобы свидеться со стариком, он улыбался смущенно и уклончиво отвечал, что служба мешала ему раньше навестить деда, но что вот теперь, когда у него есть дела в этих краях, он погостит у него...

— О,— смеялся старик,— я тебя никуда не отпущу.

Очень обрадовался встрече с Шариповым Володя. Шарипов улыбнулся про себя, когда услышал, что Володя сначала спросил об Анне Тимофеевне, об Ольге и Машеньке, а лишь после этого о Тане.

— Машенька здорова,— сказал Шарипов.— А Таня очень ждет вашего возвращения. У нее все хорошо. И у вас тоже,— добавил Шарипов, ощущая какое-то особенное расположение к этому человеку, у которого все в отличие от него, Шарипова, складывалось ясно, просто и славно.— Кстати, Волинский уехал в Москву. И сколько мне известно, навсегда.

Вместе с Володей Шарипов пошел в колхозный сад, чтобы свидеться с Николаем Ивановичем — целые дни профессор проводил там со своими ловушками.

— Что случилось? — встревоженно спросил Николай Иванович, когда увидел Шарипова.— Да говорите же скорей! Дома что-нибудь?

— Нет, нет,— ответил Шарипов,— все в порядке. Я просто воспомялся несколькими днями отпуска... А кроме того, у меня здесь кое-какие дела.

— Ну что ж, очень рад,— успокоился Николай Иванович.— Расскажите же, как там наши? Что делает Ольга?

— Все хорошо. У нее все очень хорошо! — сказал Шарипов.

Шарипов и Володя, беседуя, следовали за Николаем Ивановичем, который продолжал обход сада со своим энтомологическим зонтом. Большой, плоский, обтянутый холстом зонт профессор подвигал дном кверху под ветви и хлопал по ним ладонью. Каждый раз на дно зонта падало несколько жучков. Николай Иванович собирал их, вталкивал в морилку, а затем укладывал в специальные пакетики, на которых надписывал, где именно и когда было поймано каждое насекомое.

Это была простая и ясная работа, и Шарипов поймал себя на том, что завидует этой простоте и ясности. Он остерегался собственной подозрительности. Ему пришлось сделать над собой некоторое усилие перед тем, как он решился откровенно поговорить с одноруким пастухом Раджабом.

Этот разговор был решающим. Шарипов удивился: как прежде ему не приходило в голову, что мулло Махмуд при-

ехал в этот кишлак в первые годы войны — к нему здесь настолько привыкли, что всем казалось, что мулло здесь жил всегда. К нему ездят со всех концов, думал Шарипов. У него широкие связи...

Радиоприемник негромко, но настойчиво передавал твист. Старый Шаймардон время от времени с удивлением прислушивался к музыке, когда менялся ритм, и снова продолжал разговор. Они сидели втроем на белом войлочном ковре, Шаймардон, Шарипов и однорукий Раджаб, и пили разбавленное водой и сдобренное тертым перцем до розового цвета кислое молоко.

— Нужно сменить батареи,— сказал старик.— Эта американская музыка хороша только тогда, когда от ее звуков не слышишь собственных мыслей.

— Вам в самом деле нравится эта музыка? — спросил Шарипов.

— Нравится,— ответил старик.— Она напоминает памирские танцы, которые так хорошо исполнял в дни моей молодости кривой Саид... Только инструменты другие — менее совершенные, но более громкие.

Шарипов недоверчиво посмотрел на Шаймардона — он не знал, шутит ли старик или говорит серьезно, и снова направил разговор на то, какие изменения произошли в кишлаке за последние годы, кто приехал сюда, кто уехал.

«Конечно,— думал он,— лучше всего было бы просто сказать старику, что меня интересует именно этот вопрос. А не хитрить. Но я не знаю, можно ли это делать, и пусть будет так, как есть».

Старый Шаймардон отвечал на этот раз на расспросы Шарипова о кишлаке — а он был живой его историей — менее охотно, чем обычно. Очевидно, он почувствовал в вопросах Шарипова какую-то определенную цель, но цель неясную и недобрую, и разговаривал медленно и неохотно. И лицо старика не имело в этот раз того нежного, чуть иронического выражения, какое появлялось у него всегда, когда он смотрел на Давлята, а стало замкнутым и напряженным.

Приезд старинного приятеля Шаймардона из Кипчака был в этот вечер более чем некстати, но встретил его Шаймардон радостно, как самого дорогого и желанного гостя.

Что ж, подумал Шарипов, если у русских в таких случаях хоть про себя вспоминают пословицу: «Нежданный гость — хуже татарина», то у таджиков обязательно говорят вслух: «Нежданный гость — дар божий».

Мусафет Зайнутдин — седобородый Зайнутдин приехал в

кишлак Митта, чтобы посоветоваться с мулло Букротом — старик жаловался на то, что по временам без всяких причин сердце у него начинает дрожать, как овечий курдюк, и тогда бывает трудно даже пошевелиться.

Старый Шаймардон, искоса поглядывая на Шарипова и однорукого Раджаба, начал расхваливать мулло Махмуда.

— Русские врачи, — говорил он, — записывали каждое его слово, потому что они хотят овладеть его передовым опытом. И это у нас очень хорошо заведено, что передовой опыт равно пастуха и строителя или сельского врачавателя — табиба изучается, чтобы обратить его на пользу богу и людям. И воистину наступило такое время, когда все хорошее люди не прячут, а передают друг другу, а скрывать что-либо им приходится только тогда, когда задумали они что-то плохое, когда они не доверяют другим людям и боятся, что не будут доверять и им...

«Старик все понимает, — подумал Шарипов. — Или, вернее, не все понимает, но о многом догадывается, многое чувствует тонко и точно... Нет, не много найдешь сейчас таких людей, как мой дед Шаймардон, — мы все мельче его и суетливее...»

— Мы пригласим мулло Махмуда сюда, — сказал Шаймардон и, прищурясь, искоса взглянул на Шарипова. — Многие вечера провел он в этом доме, и беседа его всегда была мудрой и поучительной, и ни разу не помню я, чтобы он сказал что-нибудь такое, что можно было бы истолковать как слова, сказанные во имя личной корысти.

«Это будет очень горько старику, — подумал Шарипов. — Очень горько и обидно будет ему узнать, кто же в самом деле этот мулло Махмуд. Но я уверен, даже это не заставит его по-другому думать о мире и людях. Своим диалектическим ясным умом он и здесь сумеет отделить белое от черного, доброе от злого... И все-таки как быть? Очевидно, нужно вызваться самому пойти за мулло Махмудом. Нужно идти самому. Нужно кончать».

Глава сорок восьмая, которая называется „Если увидишь гадину...“

Мой отец, да помилует его аллах, говорил мне: «Всякую хорошую вещь, какою бы то ни было рода, можно оценить известным количеством дурных вещей такого же рода. Например, одна хорошая лошадь стоит сто динаров, а пять скверных лошадей стоят вместе сто динаров. Это относится и к верблюдам и к разным одеждам, но не к сынам Адама, так как тысяча негодных людей не стоит и одного хорошего человека». И он был прав, да помилует его аллах.

Усама ибн Мункыз

— Вот мы, наконец, и встретились, — спокойно и негромко сказал генерал Коваль, вставая навстречу мулло Махмуду. — Прощу. — Он показал рукой на круглый столик со стеклянной крышкой, проводил к нему мулло Махмуда и сам сел против него, откинувшись на спинку кресла.

Вот он и сидел перед ним, этот Причардс, граф Глуховский, мулло Махмуд. Тихий, усталый, старый человек.

«Это страх сделал его таким, — думал Степан Кириллович. — Постоянный страх, который он переживал эти годы, надел на него эту личину, постоянная боязнь попасться сделала его таким смиренным. Мне знакомо это спокойствие. Спокойствие человека, который всегда боялся, что попадется, и, наконец, попался. Когда человек очень долго ждет плохого, он часто испытывает облегчение, если это плохое совершается. Это страх сделал его таким».

«Знает ли этот человек, что он опасно болен? — думал мулло Махмуд. — Что у него плохо с сердцем. А возможно, и с почками. Что такие мешки под глазами, и такая дряблая кожа, и такая одышка бывают у людей, когда никто уже не может поручиться, что завтра утром они поднимутся с постели. Что ему нельзя работать. Трудно, видимо, ему жилось, если он стал таким. Я видел это когда-то и у наших контрразведчиков. Очевидно, все то же постоянное чувство страха — кого-то пропустил, чего-то не успел, кому-то не угодил. И высокое начальство, которого такие люди боятся больше, чем врага. Это все страх».

— Как ваше здоровье? — спросил Степан Кириллович.

— Благодарю вас, — едва заметно усмехнулся мулло Мах-

муд.— Трудно ожидать хорошего здоровья в моем возрасте и моем положении.

— Я пригласил вас для предварительной беседы,— сказал Степан Кириллович.— Это не вопрос. Мне просто хотелось поговорить с вами для того, чтобы понять не столько степень вашей вины, сколько степень нашей вины — почему мы так не скоро встретились.

Все в этих словах было неправдой. Он не приглашал мулло Махмуда. Его просто привел конвоир. И каким бы словом ни называть разговор между чекистом и схваченным им разведчиком — «беседой», «аудиенцией» или еще каким-нибудь,— это всегда вопрос. Но Степан Кириллович проводил мулло Махмуда не к своему письменному столу, а к круглому столу со стеклянной крышкой. Он не собирался включать звукозаписывающее устройство.

— Я ничего не собираюсь скрывать,— ответил мулло Махмуд.— Я готов ответить на любой ваш вопрос независимо от того, будет ли сразу или только впоследствии записан мой ответ.

Лицо его оставалось неподвижным, спокойным, усталым, но он улыбнулся про себя, соображая, где в этом кабинете может находиться магнитофон, который сейчас фиксирует каждое его слово.

— Так вот,— сказал Степан Кириллович, подвигая папиросы и пепельницу мулло Махмуду,— нашу беседу я хотел бы начать с вопроса о том, почему вы решили добровольно сообщить о себе и своей деятельности органам контрразведки.

Степан Кириллович опустил глаза на стол, чтобы не вспугнуть эту старую лису, чтобы не показать, как заинтересован он в ответе, от которого зависело очень многое. Если Причардс согласится с тем, что хотел сдать добровольно... Если не сознается, что был вынужден так поступить, потому что почувствовал, что попал в капкан,— значит он будет отпираться до конца...

— Благодарю вас, но я не курю,— ответил мулло.— Я знаю, что, хотя и ждал этого вопроса, ответить на него мне трудно... Полтора века назад честный и добрый американец Томас Джефферсон говорил о своей стране: «Наше правительство никогда не имело у себя на службе ни одного шпиона». Очевидно, нравы людей с тех пор очень переменились. Очень переменились, если шпионы стали чуть ли не одной из крупнейших статей правительственных расходов... Долгое время мне казалось, что без этого не обойтись, что это такая же неизбежная особенность современного общества, как парламент,

как автомобили и футбольные состязания. И только впоследствии я понял, что ошибался...

Степан Кириллович подтверждающе кивнул головой и поднял глаза от стола.

— Я с вами совершенно согласен,— сказал он мягко и любезно.

Ему предстояла продолжительная, трудная и ответственная работа. Он уже не сомневался в том, что человек этот будет запирается до конца, будет хитрить и изворачиваться. А впрочем, чего можно было ожидать от шпиона, способного в таком возрасте точным и сильным ударом ножа по затылку убить своего сообщника и сбросить труп в речку... Теперь уже не имели значения ни вопросы, какие он задаст, ни ответы, какие получит. Больше того, неосторожный вопрос мог только повредить...

С видом крайнего простодушия, с грубоватой генеральской прямоотой Степан Кириллович спросил:

— Желанием исправить эту ошибку и следует считать ваши письма о самонаводящихся ракетах?

На лице мулло Махмуда не дрогнула ни одна черточка.

«Значит, этот человек знал, куда попадут его письма»,— подумал Степан Кириллович.

— Для меня большая неожиданность, что письма попали к вам,— сказал мулло Махмуд.— Я не думал, что их содержание может заинтересовать вас... Но, во всяком случае, писал я их с искренним желанием помочь по мере моих сил удержать то равновесие, которое установилось в соотношении между военной мощью держав двух противоположных лагерей.

«О майн готт, варум зо гросс ист дайн тиргартен?» — произнес про себя Степан Кириллович фразу, которую часто повторял его шофер в Испании, немец со странной фамилией Карои.— «О господи, почему так велик твой зверинец?..» Если даже платный агент пытается выдать себя за спасителя.

Ему страшно хотелось спросить у этого «спасителя»: «А с какой целью вы убили своего сообщника?» Тоже во имя того, чтобы на земле воцарился мир и в человеках благоволение? Но этого нельзя было сейчас делать, прежде всего нужно было прочесть, что он сам напишет об этом. Степан Кириллович привычно удержал себя от мстительного чувства и неосторожного вопроса.

— Спасибо,— сказал он, поднимаясь с кресла.— Я признателен вам за искренность. Теперь вам дадут бумагу и перо,

и вам придется написать свою биографию. Пусть вас не смущают подробности — все они нас интересуют. Чем подробнее вы расскажете о своей деятельности на нашей территории, тем полезнее это будет прежде всего для вас...

— ...Еще раз от души поздравляю вас,— сказал Степан Кириллович, выходя из-за стола и пожимая руку Шарипову. На этом и закончилась официальная часть беседы.— Прошу,— Степан Кириллович показал рукой на низенькое кресло перед столиком со стеклянной крышкой,— выпьем же за подполковника Шарипова,— он налил полный бокал Шарипову и плеснул немного вина на дно своего бокала.— Курите, курите, хоть сам я, как вы знаете, давно не курю, а люблю запах табачного дыма в кабинете... Как-то уютней.

Шарипов опустил в кресло, приподнял бокал: «Ваше здоровье!» — отпил глоток «Гурджаани» и закурил.

— Горько, что Ведин не дожил,— продолжал Степан Кириллович,— он бы порадовался вместе с нами. Он спрашивал у меня, скоро ли вы получите подполковника.

— Ведин не успел порадоваться даже своему званию подполковника,— ответил Шарипов.

— Да, не успел. Он не успел. И никогда не забывайте о том, кто и за что его убил. Не смейте забывать!— Степан Кириллович смотрел на Шарипова пронзительно и зло.— Память человеческая так устроена, что она очень многое отбрасывает. Но мы обязаны знать, что именно следует твердо помнить...

Степан Кириллович отпил глоток вина и откинулся в кресле, вытянув ноги вперед.

— Помнить — мстить,— негромко возразил Шарипов.— А мы не можем унижаться до мести.

— До мести не всегда унижаются. До мести иногда возвышаются. И мы ничего не простим. Нет у меня — видит бог — мстительного чувства к этому Причардсу — мулло Махмуду. Но человек этот, каким бы блаженным он сейчас ни представлялся,— мой враг. А человек, которого убили его сообщники,— Ведин — мой друг. И Ведин ничем не заменить.

«Ведина ничем не заменить,— думал Шарипов, возвращаясь в свой кабинет.— Но и никого другого нельзя заменить. Потому что каждый неповторим. Ведин никем не заменить.

Я, которого поставили на его место, на этом месте, может быть, его и заменю. В чем-то я буду хуже. А в чем-то и лучше... Ну, а в жизни?.. А для Зины?..»

Он сел за свой стол, пустой, свободный, крытый зеленым

сукном, похожий на поле аэродрома,— ни одной бумажки, только высокая лампа, как аэродромный маяк.

Степан Кириллович предложил ему перейти в кабинет Ведин. И, не дав возразить, жестко добавил: «Это не пожелание. Это распоряжение».

Он последний раз сидел в своем кабинете. В конечном итоге он всегда делал то, что хотел Степан Кириллович. Во всем, даже с Ольгой. За эти годы тысячи раз — на каждом шагу — он убеждался, что думают он и Степан Кириллович по-разному. А поступают одинаково.

«Но ведь в последнее время Степан Кириллович очень переменялся,— думал Шарипов.— Это несомненно. Но не только он. Переменялся и я. И все вокруг. Но не во всем. В чем-то главном, в чем-то основном мы остались прежними. А он еще больше, чем другие. Потому что он яснее, четче, жестче, чем многие другие, определил для себя, что следует помнить. А о чем можно и забыть. И это, вероятно, и лежит в основе теории поведения, теории поступков...»

Глава сорок девятая, которая называется „И снится страшный сон Татьяне...“

Кто не помнит прошлого, осужден на то,
чтобы пережить его вторично.

Джордж Сантаяна

Тане приснился странный сон, будто бы Володя Неслюдов, совсем как гора, толстый и громадный, в генеральском мундире с такими эполетами и кистями, какие она видела на картинах, изображавших царских генералов, сидит за каким-то столом с блестящей крышкой, словно сделанной из полированного металла, и записывает что-то в толстую книгу с пергаментными листами. Он один за этим столом. Один. Но Таня видит, что он записывает в книгу и знает, что с того времени, когда она жила, прошла уже тысяча лет. Слово за словом возникало перед ней в этой книге, как титры кинофильма: «...а так как люди тогда воевали и убивали друг друга, а между тем лично друг к другу воевавшие никакой вражды не испытывали, то из этого следует логический вывод, что они были людоедами и питались, пожирая убитых, о чем также свидетельствуют кости, найденные при раскопках...»

Ей хотелось сказать, что это не так, но она никак не могла вспомнить во сне, для чего же люди действительно убивали друг друга. Она проснулась с тяжелым чувством человека, который ночью не отдохнул, — ломило в висках, и почему-то болели икры, как бывает, когда проведешь целый день на ногах.

«Какая глупая чушь», — подумала она о своем сне и повернулась к окну. Существовала такая примета, которую она усвоила от своей няни еще в детстве, — если снился плохой сон, нужно было посмотреть на окно, на свет, и сказать: «Куда ночь, туда и сон». И сон сразу забывался. Она много раз убеждалась в действенности этого способа, и, когда уже стала взрослой, даже пыталась расспросить о том, почему так получается, у видного физиолога профессора Сироткина, который был однажды у них в гостях. Но тот только развел руками и сказал, что никогда об этом не слышал.

Но сейчас сон не забывался, и вспоминались все новые подробности, и ломило в висках. Очевидно, она слишком поздно сказала «куда ночь, туда и сон».

Таня вспомнила и без того небольшие, уменьшенные стек-

лами очков; голубовато-серые, умные и добрые глаза Володи, его необыкновенную деликатность, из-за которой он даже часы носил на внутренней стороне руки, чтобы всегда можно было незаметно, так, чтобы нечаянно не обидеть этим жестом собеседника, посмотреть на них, и подумала о том, как не вяжется приснившийся ей судья с генеральскими эполетами с образом живого Володи.

«И все-таки при всей своей скромности и деликатности именно Володя и является судьей», — думала Таня.

«История — память человечества», — говорил Володя. Когда Таня была маленькой, отец ее часто повторял: «Никогда не лги, и тебе не придется ничего запоминать». Этот принцип, действительно очень хороший в быту, в отношениях людей между собой, мог бы оказаться необыкновенно плодотворным и в области исторической науки. Но, к сожалению, как заметил Володя, самая значительная, самая основная часть работы историка состояла именно в том, чтобы отделить правду от лжи, а сделать это подчас бывало не только трудно, но и почти невозможно.

Через несколько дней после смерти Ведины — Ольга плакала, и, как показалось тогда Тане, не только потому, что так трагически погиб ее знакомый Ведин, но и потому, что между Шариповым и Ольгой произошла какая-то размолвка, — Шарипов навестил их. Он был, как всегда, сдержан, улыбался, и все же в его словах часто прорывалась какая-то прежде незаметная в нем раздражительность и недоверчивость.

И вот тогда-то между Володи и Шариповым и произошел этот спор о том, могут ли историки отделить правду от лжи.

— Никто не знает и не узнает никогда, что же в самом деле думал Бабек перед смертью, — сказал Шарипов. — Никто. И когда вы говорите, что он думал так-то, то вы ставите себя на его место и думаете как вы, а не как он.

— Но ведь речь идет не о мыслях, а о поступках, — возразил Володя. — О том, чтобы отделить поступки, которые он совершал в действительности, от тех, которые ему приписывались.

— Не столько о поступках, сколько об их истолковании, — подчеркнул Шарипов. — А это далеко не одно и то же.

— Но истолкование может базироваться только на достоверном знании поступков, — ответил Володя. — Можно привести множество примеров, когда историческим личностям приписывали, а еще чаще они приписывали себе поступки, которых не совершали...

И Володя рассказал о том, как более трех тысяч лет исто-

рики считали победителем в знаменитом сражении при крепости Кадеж египетского фараона Рамсеса Второго. И только к середине столетия историкам удалось доказать, что исходом этой битвы в действительности было поражение Рамсеса. Рамсес, как, впрочем, и многие другие правители-деспоты, которые с древнейших времен обыкновенно сами определяли, что считать правдой, безмерно восхвалялся в надписях, высеченных на скале, сделанных на стенах храмов и на папирусах, надписи эти пели ему хвалу как победителю. Он очень заботился о культе своей личности. Но, как доказали современные ученые, инспирированные им сообщения являлись чистой фальсификацией истории.

— И все-таки как бы ни заставляли людей из тех или других соображений запоминать неправду, а правда становится известной,— с неожиданной торжественностью заключил Володя.

— Становится,— отрезал Шарипов.— Но чаще всего слишком поздно.

— Для истории никогда не бывает «слишком поздно» узнать правду. Да и для отдельного человека, пожалуй, тоже,— задумчиво добавил Володя.— А что до истории, то правда всегда перевесит любую, самую мощную ложь. Как это было с Прокопием Кессарийским...

И он стал рассказывать о Прокопии Кессарийском — историке Византии шестого века нашей эры, который написал классический труд в восьми книгах об истории войн Юстианиана с персами, вандалами и готами. Но в конце жизни он оставил еще одну маленькую рукопись, получившую название «Тайная история». Он начал ее такими словами: «...Описывать все как следует раньше было мне совершенно невозможно, пока были еще живы вершители всех этих дел. Ведь сделать это незаметно при том множестве шпионов, какое тогда было, для меня не представлялось возможным, а уличенный, я неизбежно должен был погибнуть самой жалкой смертью: ведь в этом случае я не мог полагаться даже на самых близких своих родных». И эта маленькая рукопись перевесила все восемь книг прославленного исторического сочинения.

«Никогда не лги, и тебе ничего не придется запоминать»,— вспомнила Таня.— Но людям нужно знать, что именно следует помнить. Знать, что именно нужно помнить из огромного, состоящего из бесчисленных подробностей свода истории человечества. И это должны сказать историки. Но при этом,— думала Таня,— необходимо, чтобы историки не боялись говорить правду, чтобы они никогда не думали, что «в этом случае

я не мог полагаться даже на самых близких своих родных». И не только историки,— думала Таня.— Все люди».

Ей снова вспомнился странный ее сон, Володя в генеральском мундире, и она подумала, что так удивительно перевоплотился Володя в ее сне, возможно, из-за этих своих слов, которыми он закончил спор с Шариповым, слов, которые звучали тогда в его устах с несвойственной ему горячностью и силой.

«Володя,— подумала Таня.— Володя. Если только действительно существует передача мыслей на расстоянии и она зависит от силы чувства, он сегодня вернется...»

Никогда в жизни и никого в жизни не хотелось ей так страстно увидеть, как Володю, никогда и ни с кем не переносила она так тяжело и нетерпеливо разлуки. Он был ей нужен. Он был ей очень нужен. И не только ей. Машеньке. Машенька вечером спросила нетерпеливо и строго: «Когда же приедет дядя Володя?» Анне Тимофеевне. «Нужно будет обязательно спросить об этом у Владимира Владимировича»,— сказала мама о чем-то таком, что легко можно было бы выяснить и без Володи. И даже Ольга, которая, как думалось Тане, вела себя в последнее время очень странно, в разговоре часто вспоминала об Аксенове и, кажется, виделась с ним, сняла и скатала ковер, подаренный Шариповым, а вчера спросила у Тани, скоро ли вернется Володя,— она хотела посоветоваться с ним по какому-то делу.

Сегодня в театре был свободный день — Таня не спеша оделась, выбрав платье поскромнее, и снова поймала себя на странном бабьем чувстве, когда не хочется надевать нового платья без него. И когда все интересное, чтобы ты ни увидела, жалко смотреть без него.

С удивлением она поняла, что уже всю жизнь, когда Володя уйдет в библиотеку, она будет ощущать разлуку и будет волноваться, если он задержится, и, когда она будет играть в спектакле, все равно она будет ощущать разлуку, и что покойно ей будет только тогда, когда Володя будет рядом с ней. Совсем рядом. На расстоянии вытянутой руки. А иногда еще ближе...

Они вернулись в город вечером, в сумерки. Они очень устали, потому что последнюю часть пути, не сговариваясь, проехали без отдыха, и Володя удивлялся про себя тому, что настрояние ослов удивительным образом совпадало с настроением их хозяев,— он прежде даже не предполагал, что ослы

без всякого понукания могут бежать так быстро и неустойчиво. «Дело в том, — думал Володя, — что все мы возвращаемся домой».

Он знал, что поездка эта была для него очень важной, что она принесла ему много пользы и что еще много раз он будет уезжать от Тани и в экспедиции и на научные конференции, но ему всегда нужно будет, чтобы она его ждала. Чтобы она всегда его ждала.

Они ехали по тихой окраинной улочке вдоль Душанбинки, затем повернули к центру. Ишаки — один за другим, впереди Кафир с Николаем Ивановичем, а за ним Дон-Жуан с Володей — бежали вдоль тротуара, и Володя подумал, что самым опасным этапом их путешествия были, очевидно, не горы, а город: мимо проносились автомашины, и Володя все время опасался, как бы коварный Дон-Жуан не понес его вдруг под самосвал. Но Дон-Жуан, по-видимому, был полон тех же опасений и жался к арыку, отделяющему тротуар от проезжей части.

На перекрестке их задержал милиционер-регулирующий — молодой высокий русский парень, в голубой рубашке с темным галстуком. Он поднял руку: «Стой!» И когда они с трудом удержали ишаков и спешили, подошел и не слишком любезно спросил:

— Куда едете?

— Домой, — добродушно усмехнулся Николай Иванович.

— Почему вы это... — милиционер не сразу сумел объяснить, что побудило его задержать странных всадников. — Почему вы верхом, на ослах...

— Так нам удобнее, чем пешком, — сказал Володя.

— Предъявите документы! — решительно потребовал милиционер.

Николай Иванович сразу достал из кармана свои документы, а Володе пришлось еще некоторое время их искать.

— Извините, граждане, — сказал милиционер, просмотрев их бумаги. И, не глядя на них, добавил: — В центральной части города вечером лучше на ишаках не ездить. Движение большое. — Слова его звучали не очень убедительно.

Николай Иванович и Володя переглянулись и продолжали путь.

«Неужели, — думал Володя, — это в самом деле результат истории с мулло Махмудом, которая успела уже докатиться и до этого милиционера и сразу же вызвала повышенную подозрительность? Может быть. Может быть, потому, что ничто не проходит бесследно. Как не прошла бесследно и для меня

встреча с мулло Махмудом. Я тоже стал недоверчивее, чем был до этого... Но все равно те, кто посылал к нам мулло Махмуда, как бы они ни старались, уже не смогут снова превратить нашу эпоху в эру недоверия. Потому что недоверие всегда зиждется не столько на внешних причинах, сколько на внутренних. И милиционер этот, который, возможно, действительно слышал о мулло Махмуде и стал подозрительнее, чем был прежде, проверив наши документы, почувствовал неловкость за свое недоверие... И в этом признак времени».

Они подъехали к дому, спешили и ввели ослов во двор. Они хотели сперва поставить животных в сарай, а потом уже объявить о своем приезде, но дверь на веранду широко распахнулась, и во двор выбежала Таня, а за ней поспешила и Анна Тимофеевна с Машенькой.

Володя шагнул навстречу Тане. Ничего не нужно было скрывать. Он вернулся домой. И он обнял и крепко поцеловал Таню, а Анна Тимофеевна сначала поцеловала мужа, а потом его. Затем он поднял и прижал к себе Машеньку. Он возвратился в свой дом.

Глава пятидесятая, которая могла бы служить эпилогом к этой книге

Придется ль мне до той поры дожиться,
Когда без притч смогу я говорить?

Р у м и

О ветровое стекло время от времени со шелканьем разбивались жуки, машина отбрасывала назад, под колеса, серый асфальт, а сбоку, как гигантское колесо, оборачивались поля.

Впереди, прямо посреди дороги, лежал кирпич — обыкновенный кирпич, свалившийся, вероятно, с какого-то грузовика, и он слегка повернул руль вправо, чтобы объехать его, и машину чуть-чуть наклонило и тряхнуло так, что жену прижало к дверце.

— Не слишком ли быстро мы едем? — спросила она. — Нам нужно теперь быть особенно осторожными.

— Почему?

— Ведь у нас будет ребенок.

— Ну как же ты не понимаешь, что это не имеет никакого отношения к скорости езды, — рассудительно возразил муж. — Дорога гладкая, тебя не трясет, а если ты в этом видишь какой-то риск, так он все равно существует, независимо от того, будет или не будет у нас ребенок.

— Нет, раз будет ребенок, значит мы должны меньше рисковать.

Они ехали из Москвы в Крым, в Ялту, в отпуск. На своей машине. На своей новенькой голубой «Волге».

Время от времени правой рукой он нажимал клавиши радиоприемника и вертел верньер.

«В последний раз тебе говорю...» — раздался дуто взволнованный голос героя какой-то радиопостановки. «Шахтеры обязались повысить производительность и за счет этого снизить себестоимость...» — последние известия. Медленно, не в лад стремительному движению машины зазвучала скрипка в первом квартете Шостаковича. Затем глухо: «Из франкистского застенка мы пишем это письмо... Они страшно спешат покончить с нами. Поэтому я хочу сообщить вам наши имена: Гомес Гайосо — рабочий, Антонио Сеоане — крестьянин... кроме того, с нами четыре женщины, мужество которых всех восхищает. Это Кармен Гонзалес Будеиро — учительница, раненная пулей в живот...»

Он выключил приемник. Он искал музыки или, вернее, того, что и он и она считали музыкой, — четкого ритма, связанного незамысловатой мелодией, подгоняющей все мысли в такие же четкие и незамысловатые рамки. Они ехали отдыхать.

Навстречу шла «Победа» по левой стороне дороги. Есть такие водители, которые, как только видят перед собой свободный участок, обязательно гонят машину по противоположной стороне, хотя асфальт на ней ничуть не лучше. Черт знает, что влечет их на противоположную сторону. Просто в чужом кулаке кусок всегда кажется больше. Он остерегался таких водителей. Он съехал ближе к обочине и слегка притормозил. Из-за дымчатого солнцезащитного козырька выпала книга.

Он разминутся с «Победой». Такси. Пожилой шофер с зажатой в губах сигаретой — и черт его знает, почему его носит на левую сторону.

Она подобрала книгу и снова засунула ее за козырек.

— Ну как, — спросил он, снова нажимая клавишу радиоприемника, — дочитала уже «Воры в доме»?

— Прочла.

— Понравилось?

— Ничего, можно читать. Только непонятно, к чему этот писатель, этот Киселев, вывел в последней главе каких-то людей, которые, как мы, едут на своей машине в Крым отдыхать. Ну, я понимаю, может быть такое совпадение. Мало ли теперь людей ездят на своих машинах в отпуск. Но какое отношение все это имеет к самой книге?..

— Трудно сказать... Но, может быть, писатель имел в виду, что вот одни люди едут отдыхать, другие заседают на конференциях по разоружению, а третьи — вот, как передавали по радио, — снижают себестоимость угля. А в это время какие-то люди, которых мы и не знаем, борются, так сказать, с «ворами в доме»...

— А как ты думаешь, войны не будет?

— Не будет.

— Потому что когда я вспоминаю, что может быть война, я думаю, как будет нашему маленькому, и он там вдруг начинает шевелиться.

— Нет, войны не будет.

— Воры в доме, — сказала она не в лад. — Только я здесь не вижу связи. И вообще много непонятного... В книге. Рассуждения какие-то непонятные — то нужно помнить, это не нужно...

— Да, — сказал он, снова выключая приемник, — это ты

верно говоришь. Как можно регулировать, что нужно помнить, а чего не нужно?.. Нет у человека такого регулятора...

Машина мчалась по шоссе, отбрасывая назад серый асфальт дороги, гигантским колесом оборачивались и оборачивались поля, перелески, села, а сбоку у самой дороги стремительно, как реактивный самолет, летели назад деревья, кусты, столбы, и он думал о том, как удивительно устроены и связаны между собой человек и эта мчащаяся машина, о том, что если бы смотреть вбок или назад, то управлять машиной было бы совершенно невозможно, потому что все мчится и мгновенно меняется, и ничего нельзя ни разобрать, ни рассмотреть, но, когда глядишь вперед, все меняется значительно медленней, и можно рассмотреть и объехать лежащий на дороге кирпич, и заметить машину, которая мчится навстречу тебе по левой стороне, и что водитель всегда должен глядеть вперед, что именно в этом и состоит принцип вождения машины.

А она думала о том, что вот она уже на шестом месяце, а живот совсем незаметен, и что напрасно она шила себе летнее курортное платье не у Изабеллы Борисовны, которая всегда ей шила, а у соседки с первого этажа — соседка взяла дешевле, но сиреневое платье она совсем испортила, и сейчас еще не нужно такого просторного платья, а когда оно понадобится, платье это все равно не будет скрадывать живота, потому что она проверила, подложила подушку, и подушка торчала нелепо и уродливо, и платье ничуть не помогло.

И еще она подумала, что вот он — она не знала, как никто еще не знает, родится сын или дочь, и думала о нем, — он, ребенок, сейчас толкнет ее ногой в бок. Она всегда заранее знала, что он сейчас толкнет, и он толкнул резко, сильно, и она снова удивилась тому, что он там живой и толкается.

Хорошо, подумала она, очень хорошо. Но не нужно было все-таки шить платье у этой соседки, хотя это не очень важно, но лучше было бы сшить, как всегда, у Изабеллы Борисовны. Но то, что сделано, то уже сделано...

А машина мчалась и мчалась, отбрасывая назад серый асфальт дороги, и сбоку, как гигантское колесо, оборачивались поля.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая, которая могла бы служить прологом к этой занимательной книге	5
Глава вторая, в которой коня нашли за километр от таинственного всадника	15
Глава третья, в которой герои сражаются в присутствии дам своего сердца	20
Глава четвертая, в которой за окнами раздается леденящий душу крик	25
Глава пятая, в которой хирург решает жениться в компенсацию за причиненный ущерб	31
Глава шестая, о том, почему старший сержант Кинько включил сигнал тревоги	39
Глава седьмая, из которой можно узнать, сколько ног у насекомых	44
Глава восьмая, в которой пристально рассматриваются судьбы истории	51
Глава девятая, в которой заходящее солнце бросает свои прощательные лучи	55
Глава десятая, которая называется «Что они думали», как, впрочем, следовало бы назвать всю эту книгу	64
Глава одиннадцатая, из которой следует, что человек в афганском халате вовсе не утонул, а был убит	72
Глава двенадцатая, в которой Шарипову построили сапоги	78
Глава тринадцатая, о таракане, мученике науки	84
Глава четырнадцатая, из которой становится известно, какие же слова были пропущены в письме	90
Глава пятнадцатая, содержащая биографические сведения	94
Глава шестнадцатая, которая называется «Ход конем»	103
Глава семнадцатая, в которой сообщается о том, почему устояла Англия	109
Глава восемнадцатая, в которой убедительно доказывается, что наполовину пустая бутылка ликера опаснее стартового пистолета	116
Глава девятнадцатая, о том, как любовь ученого зарождалась на кухне	123
Глава двадцатая, повествующая об ангелах в белых свитерах и с членистыми крыльями	129
Глава двадцать первая, из которой становится известно, как бы хотел умереть майор Ведин	134
Глава двадцать вторая, в которой рассказывается о том, что говорилось в не дошедшей до нас книге «Ахбар ал-Багдад» на основе сочинения «Мурудж аз-Захаб ва маадин ал-джавахир», принадлежащей перу несравненного Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хусейна ал-Масуди	143
Глава двадцать третья, о том, как и за что был арестован майор Шарипов	151
Глава двадцать четвертая, о главном принципе, который необходимо знать каждому человеку, — главном принципе устройства автоматического оружия	156
Глава двадцать пятая, о любви и науке и о науке любви	163
Глава двадцать шестая, о том, как скачет птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего гибельных последствий	173
Глава двадцать седьмая, в которой генерал Коваль лежит на диване, прикрыв стул журналом «Огонек»	181

Глава двадцать восьмая, из которой читатель узнает, сколько листов было в деле старшего сержанта Кинько	187
Глава двадцать девятая, в которой Ольга отвергает историческую науку	194
Глава тридцатая, в которой снова появляется загадочный граф Глуховский	198
Глава тридцать первая, в которой Владимир Неслюдов тоже конструирует и изготавливает оружие	204
Глава тридцать вторая, в которой генерал Коваль ведет допрос без протокола	211
Глава тридцать третья, служащая вдохновенным гимном ослам	216
Глава тридцать четвертая, такая же, как и во всех остальных шпионских романах	226
Глава тридцать пятая, которая заканчивается чтением шестой главы корана	233
Глава тридцать шестая, которая называется «А в это время...»	238
Глава тридцать седьмая, о монете, украшенной изображением безбородого царя вправо	243
Глава тридцать восьмая, в которой Шарипов остается бесстрастным	248
Глава тридцать девятая, в которой мулло Махмуд встречается с лордом Расселом	255
Глава сороковая, в которой не происходит ничего такого, что влияло бы на ход повествования	261
Глава сорок первая, в которой заведующая райздравотделом Ашурова разоблачает мулло Махмуда	266
Глава сорок вторая, в которой говорится о перипатетиках и траурном марше	276
Глава сорок третья, в которой Владимир Неслюдов спасает свои зубы	280
Глава сорок четвертая, в которой не происходит ничего такого, что меняло бы ход повествования	289
Глава сорок пятая, в которой друзья едят форель и справляют поминки по Ведину	293
Глава сорок шестая, в которой автор разоблачает убийцу человека в афганском халате	299
Глава сорок седьмая, о поисках места, где нет небес над головой	306
Глава сорок восьмая, которая называется «Если увидишь гадину...»	313
Глава сорок девятая, которая называется «И снится страшный сон Татьяне...»	318
Глава пятидесятая, которая могла бы служить эпилогом к этой книге	324